АНДРЕЙ И ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИ СОВЕТАХ

НЬЮ-ЙОРК

1955

COPYRIGHT 1955
BY THE AUTHORS

Printed in U. S. A.
by RAUSEN BROS.
142 E. 32nd. Street
New York 16, N. Y.
317

Памяти наших учителей и коллег — советских филологов и лингвистов, замученных, сосланных, умолкнувших, посвящаем наш скромный труд.

АВТОРЫ

Мой верный друг, мой враг коварный,
Мой царь, мой раб, родной язык...

В. Брюсов

...безразличие к языку объясняется полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего народа.

К. Паустовский

ОТ АВТОРОВ

Книга эта написана бывшими питомцами одного из крупнейших университетов Советского Союза. Обширный иллюстративный и критический материал, собранный в результате кропотливой работы, также как и личные наблюдения, помогли авторам осветить наиболее показательные и характерные моменты русского языка советского периода.

Однако, в связи с тем, что данная книга является попыткой посильно разрешить филологическую задачу, которой должна была бы заняться целая группа научных работников, авторы отчетливо сознают неизбежность ряда погрешностей и недоработанностей.

Поместив в предлагаемой вниманию читателей книге многочисленные примеры лексики и фразеологии русского языка советского периода, авторы продолжают работу над составлением словаря неологизмов. Этот словарь, выйдя отдельным изданием, сможет дополнить и завершить как данную работу, так и вышедшие до сих пор словари советских сокращений, почти совершенно не уделяющие места неологизмам неабревиатурного характера.

Пользуемся случаем с глубокой благодарностью отметить неизменное и дружеское внимание к нашей работе покойного В. М. Зензинова, а также выразить искреннюю признательность В. Г. Гаевскому за ценные и существенные замечания.

I. ВВЕДЕНИЕ

Данная работа отнюдь не претендует на полноту освещения развития русского разговорного и литературного языка при советах. Необъятность русского языка и быстротечность его форм в указанный период приводят к тому, что всесторонняя систематизация новых явлений в русском языке оказывается исключительно трудной. Относительно капитальными можно назвать работы А. Селищева — «Язык революционной эпохи» (1928) и Г. Винокура — «Культура языка» (1928), посвященные этому вопросу, но изъятые в скором времени по выходе в свет.

Ряд ценных указаний и замечаний содержится в книге М. Горького «О литературе». Под этим названием Государственное издательство художественной литературы выпустило в 1935 г. сборник статей маститого писателя, включающий и статью «О языке», а также знаменитые письма начинающим писателям.

Остальная же литература—в основном журнальные статьи, объем которых сам по себе не дает возможности широко осветить проблему, хотя подчас и там можно найти содержательный и ценный материал, к которому, в первую очередь, следует отнести статью проф. Л. Щербы «Современный русский литературный язык» (Русский язык в школе, № 4, 1939). Безусловно заслуживает внимания ряд статей Л. Борового под общим названием «Новые слова», помещенных в «Красной Нови» (1938-40). Их автор оригинально и глубоко освещает некоторые явления советского языка, как, например, популяризацию и дооосмысление многих техницизмов и профессионализмов, руссификацию технической терминологии и др.

Как бы дополняющей по неизвестным причинам оборванную работу Л. Борового, является статья видного советского лексикографа С. Ожегова — «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», помещенная в Известиях Академии Наук СССР за первый квартал 1951 года. В этой интересной статье отмечаются разнообразные специфические черты русского языка советского периода, но все они, конечно, рассматриваются в подчинении партийному критерию, т. е. «закономерным» считается всё, согласующееся с генеральной линией партии, и отходящим от литературной нормы всё, стихийно творимое народом.

Интересен, хотя и несколько пуристичен, «Фельетон о русском языке и критике» Константина Федина, помещенный в «Звезде», № 9, 1929. В статье Н. Степанова «О словаре современной поэзии» (Литературная Учеба, № 1, 1934) находим анализ форм советской поэзии, являющейся одним из факторов литературного языка. Определенные темы по советскому языку нашли свое отражение и в отдельных книгах: Гус, Загорянский, Коганович «Язык газеты» (1926), П. Верховской

«Письменная деловая речь» (1930), «Язык литературы» В. Гофмана, вышедшая в 1936 г., а позже «Язык газеты» — практическое руководство для газетных работников, вышедшее под ред. Н. Кондакова в 1943 г.

Из более ранних работ следует назвать книгу А. Горнфельда «Новые словечки и старые слова» (1922), где автор осуждает крайности «молодого» русского языка революционной эпохи, подобные крайностям породившего их режима. Критика таких новых явлений в языке, как бытовые и политические штампы, сатирическая расшифровка абревиатур и многое другое, не могла найти отражения из-за цензурных условий. Дерзавшие же быть объективными авторы подвергались репрессиям, а их книги — изъятию (Селищев, Винокур).

Не в обиду будь сказано русским людям, наиболее систематической работой по освещению русского революционного языка в течение долгого времени являлась книга француза Андре Мазона «Lexique de la guerre et de la révolution en Russie» (1914-18), изданная в 1920 г., в Париже. Согласно общему положению, что нет пророка в своем отечестве, Мазон оказался пионером в исследовании новых языковых моментов, появившихся в начале революции 1917 г. Несмотря на недостаточность материала — только за два года революции — и на небольшое количество литературных источников (преимущественно пресса) Мазон смог, даже при формально-грамматическом подходе, наметить главнейшие особенности революционного языка: абревиацию, как характернейшее морфологическое явление, роль иностранных заимствований и имен собственных. Им даже затронута область сатирического в языке.

Как бы дополнением к работе Мазона явилась объемистая статья E. Mendras: «Remarques sur la vocabulaire de la Révolution russe», помещенная во втором томе Трудов института славяноведения (Париж) за 1925 год. Не претендуя на какую-либо оригинальность трактовки, французский ученый попытался систематизировать те особенности в русском языке, которые были привнесены в него за первые годы Революции. Mendras удалось отметить многие моменты, а именно: 1 — наиболее продуктивные элементы абревиации; 2 — уродство многих абревиатур; 3 — нагнетение варваризмов; 4 — наиболее распространенные окончания; 5 — совмещение русских и иностранных морфем; 6 — усиленную деривацию имен собственных; 7 — переименование городов и 8 — наименование новорожденных в честь вождей революции.

Если у Mendras абревиация являлась только начальной темой его исследования, то у шведской лингвистки Астрид Бэклунд она оказалась самодовлеющей. Именно изучению советских абревиатур посвящена ее диссертация «Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache» (Uppsala, 1940).

Эта работа выдержана в классическом духе компаративизма и в ней даны многочисленные параллели из западно-европейских языков. Но, хотя А. Бэклунд очень старательно исследовала многообразные русские сокращения и попыталась дать им стройную

классификацию, она, как иностранка, допустила, например, утверждение, что в русском языке отсутствуют «выщербленные» абревиатуры типа немецкого слова Sonnabend (из Sonn*tag*abend), тогда как в действительности подобными являются в о е н к о м а т, н а р к о м а т, сокращенные из «военный, народный к о м и с с а р и а т» и др. Нельзя также согласиться с мнением автора, находящегося под влиянием польского лингвиста С. Яшунского, и считающего, что изначальные русские алфавитные абревиатуры восходят к польским.

Следует также остановиться на небольшой, но интересной и насыщенной материалом статье Эгона Бадера «Die russischen Neuwörter», помещенной в третьем номере журнала «Osteuropa» за 1952 год. Автор, издавший словарь русских сокращений, давно интересуется вопросом советских новообразований. К сожалению, в упомянутой статье немало неточностей и ошибок. Так, Бадер зачисляет в разряд советизмов такие слова, как «сессия», «айсберг», «багажник», «пылесос», «флотоводец» (кстати, приведенный еще Далем) и многие другие, считая даже «Чебоксары» советским наименованием.

Говоря о переименовании городов в память революционных событий Бадер, как один из примеров, приводит наименование бывшего Надеждинского прииска. Этот поселок городского типа в Бодайбинском районе Иркутской области носит теперь название Апрельска не в честь Апрельских тезисов Ленина, как утверждает Бадер, а в память жертв так называемого «Ленского расстрела», произведенного 4 апреля 1912 года.

Интересной работой, вышедшей заграницей, но написанной уже нашим соотечественником, следует назвать небольшую, в семьдесят страниц малого формата, книгу Сергея Карцевского «Язык, война и революция», Берлин, 1923. Не проводя резкой грани между языком России до революции 1917 г. и после нее, автор пытается выявить элементы русского языка, вообще характерные для революционных периодов, и таким образом включает в поле своего зрения войну и революцию 1905 г., давших образцы лексики, а главное «механической» морфологии (имеем в виду абревиацию), очень развившихся в эпоху Первой мировой войны и, особенно, революции 1917 г.

Кроме труда Карцевского, нам известны отдельные заметки в периодической прессе и две статьи: Л. Ржевский, «Живое и мертвое слово» (Г р а н и, Лимбург, № 5, 1949) и Л. Тан, «Запечатленный язык» (Н о в ы й Ж у р н а л, Нью-Йорк, XXIII, 1950). Обе увлекательные статьи написаны, очевидно, одним и тем же лицом. В 1951 г. вышла в свет брошюра того же Л. Ржевского — «Язык и тоталитаризм», являющаяся, по сути, вариантом указанных выше статей.

Если работы Мазона, Карцевского, Селищева и Винокура посвящены, главным образом, новому в лексике и в незначительной степени новому в морфологии русского языка послереволюционного периода, то о чём-либо новом в области синтаксиса нет вообще никаких исследований. Что касается син-

таксических изменений в пределах советского периода, то хотя мы и находим в редактированном и частично составленном акад. В. Виноградовым специальном труде «Вопросы синтаксиса современного русского языка» в качестве рабочего материала советскую литературу, но без какого-либо акцента на ее исключительности или обособленности по отношению к синтаксической структуре русского языка дореволюционной эпохи.

В пределах Советского Союза изучению современного русского языка, особенно его последнего — советского периода, уделялось исключительно мало внимания. Здесь можно усмотреть две основные причины. Первая — это слишком большая рискованность темы, именно из-за ее крайней актуальности, постоянная опасность не угодить кремлевским законодателям, высказаться не в унисон с генеральной линией партии. Показательно, что только двое из языковедов (проф. А. Селищев и проф. Г. Винокур) отважились, как мы упоминали выше, создать более или менее капитальные труды по этому вопросу, и оба оказались жертвами своей «дерзости». Впрочем, из-за недостатка кадров, оба этих видных ученых были позже «прощены» и привлечены к работе.

Вторая причина — это общее направление советского языкознания, санкционированное до войны Кремлем и шедшее под знаком палеонтологического анализа, введенного с «тяжелой» руки акад. Н. Марра и ограниченного в своих исследованиях преимущественно древнейшими стадиями языка.

Совершенно справедливо многие ученые-лингвисты Советского Союза[1] жаловались на отсутствие в советских вузах факультативных курсов по русскому литературному языку или хотя бы кружков любителей живого русского языка, а самое главное в СССР до войны даже не было ни одного научного центра, занятого специальным изучением русского языка. Так, например, имевшийся в Москве Институт языка и письменности народов СССР не включал в свою программу... русский язык.

В последнее время интерес к изучению русского языка значительно повысился. Так уже в 1944 г., параллельно существовавшему с 1930 г. в системе Академии Наук СССР Институту языка и мышления, был создан специальный Институт русского языка. Правда, в 1950 г., после знаменитой сталинской дискуссии о советском языкознании и «разоблачения» старого марровского руководства обоих институтов (акад. И. Мещанинова и проф. Ф. Филина), последние были слиты в единый Институт языкознания, во главе которого был поставлен крупнейший советский лингвист в области русского языка акад. В. Виноградов[2].

---

[1] См., напр., акад. С. Обнорский «Заметки о культуре речи», Т. Косых и проф. И. Устинов «О преподавании русского языка» (Известия, 23 июня 1940 и Правда, 29 июля 1938 г.).

[2] Во второй половине ноября 1950 года состоялась Объединенная сессия Отделения языка и литературы Академии наук СССР и Академии педагогических наук РСФСР, посвященная трудам И. Сталина по языкознанию и вопросам преподавания русского языка в советской школе. Была подвергнута критическому анализу вышедшая за последние

Говоря о возрождении интереса к родному языку в «послемарровский» период, нельзя обойти молчанием и книгу Галкиной-Федорук, «Современный русский язык: Лексика» (1954). В этой работе, как и в других лингвистических работах послевоенного времени попрежнему не выделяется специфика русского языка советского периода, за исключением момента абревиации.

Всё же курс университетских лекций Галкиной-Федорук по лексике интересен для нас тем, что он свидетельствует о некоторых сдвигах в рассмотрении русского языка в целом, а таким образом и в определении его движения в последний период.

Вопросу специфики русского языка советского периода посвящена последняя, очень незначительная по размерам (всего 10 страниц), глава книги А. Ефимова «История русского литературного языка» (1954).

Выдержанная в стиле дифирамба советскому языку эта глава, игнорируя отрицательные моменты, дает в искаженном ракурсе якобы образцовый «новый большевистский стиль речи».

Совершенно естественно, что размер главы не позволяет читателю познакомиться основательно с такими характерными особенностями советского языка как формальные и смысловые неологизмы, явление абревиации, распространение профессиональных диалектизмов и многие другие. Все они только намечаются автором.

Касаясь, опять таки, недостаточности изучения русского языка именно советского периода, кроме вышеуказанных моментов следует отметить и разницу во взглядах на составные элементы русского языка при советах. Это в свое время было сделано Л. Успенским в его статье, помещенной в чешском журнале «Slavia», за 1931 г. (стр. 270):

> «Наиболее важными факторами в деле организации современного русского языка отдельным авторам кажутся: 1) интеллигентская речь, 2) жаргон войны и армии, 3) язык городского «дна» (в частности, воровской арго)».

Конечно, есть немало людей, которые вообще не желают признавать какой-либо специфики русского языка советского периода и всё, не только навязанное языку сверху, но и органически развившееся в нем за время от 1917 года, расценивают как нечто чужеродное. Близорукость такой точки зрения очевидна.

С другой стороны, нельзя разделить и взгляда виднейшего советского лексикографа и лексиколога С. Ожегова, пытавшегося в своей статье «К вопросу об изменениях словарного состава русского языка» (стр. 76) наметить периодизацию развития современного русского языка в пределах самой советской эпохи:

> «...от Октябрьского переворота до ликвидации эксплуататорских классов...»

годы литература по вопросам преподавания русского языка в школе, а также журнал «Русский язык в школе».

Учителя поставили задачей восстановить в правах морфологию, усилить внимание к упражнениям по выработке орфографических навыков, а также навыков правильной устной и письменной речи.

«...от ликвидации капиталистических элементов города и деревни до полной победы социалистической системы хозяйства и принятия новой Конституции в 1936 г....»

«...период выявления результатов величайшей культурной революции, ...период сформирования монолитной советской интеллигенции, ...период перехода от социализма к коммунизму...»

Больше тридцати лет прошло со времени написания первой работы о революционном русском языке; многое в языке изменилось, многое прибавилось, многое бесследно исчезло. Конечно, советские писатели стараются уверить своих читателей в вечности «советизмов», как это делает, например, Л. Хаустов в своем стихотворении «Родной язык» (сб. «Дорогой мира», Ленинград, Сов. писатель, 1952, стр. 93):

Величьем океану сродный
Весь — воплощенье наших сил,
Он жизни опыт всенародный
В своих глубинах отразил.

И слово давнего былого,
Войдя в богатство языка,
Стоит в соседстве с новым словом,
Рожденным нами на века.

(Подчеркивание наше — Ф.).

Естественно, что обобщающее заявление Хаустова о рождении новых слов (т. е. «советизмов») на веки вечные является больше, чем преувеличением. Прочно утвердиться в языке может только закономерное для него, случайное же сметается со столбовой дороги языка.

Еще Гегель говорил, что для более глубокого познания вещи следует отойти от нее. Возможно, вырвавшись за пределы Советского Союза легче подметить некоторые особенности русского языка советского периода, ускользающие от внимания тех, кто непосредственно приобщается к нему.

Но, при любых обстоятельствах систематизация имеющегося языкового материала осложнена спорностью трактовки многих смысловых неологизмов, т. е. слов в старой морфологической оболочке, доосмысленных по-новому. В них иногда ощущается еще метафоричность и они рассматриваются в школе как омонимы. В действительности же они являются паронимами, т. е. словами, не случайно совпавшими в своей форме, но ответвившимися от одного ствола, причем ответвление происходит по законам семантической деривации — от частного к общему и наоборот, видовому сходству, смежности и, наконец, функциональности.

Конечно, потеря метафоричности, автономизация нового паронима, его быстрое становление, как совершенно самодовлеющего слова, зависят от частоты употребления и удельного веса этого паронима. Так, например, если над шутливым молодежно-студенческим словом «капелла» (компания друзей, приятелей) еще явно довлеет непосредственный образ хоровой капеллы, то уже между словами «ударник» в его первоначальном значении детали ружья и «ударник» в его производном значении

работника-энтузиаста потерялась непосредственная связь даже в пределах одного поколения. Во всяком случае, она давно перестала ощущаться в повседневном быту, и для ее восстановления нужен специальный экскурс, как мы видим из приводимого ниже примера:

«— Кондраша, Давыдов тебя повеличал... вроде-бы в похвальбу... А что то такое — ударник?

Кондрат много раз слышал это слово, но объяснить его не мог. «Надо бы у Давыдова разузнать?» — с легкой досадой подумал он. Но не растолковать жене, уронить в ее глазах свое достоинство он не мог, а потому и объяснил, как сумел:

— Ударник-то? Эх, ты, дура-баба! Ударник-то? Кгм... Это... Ну, как бы тебе понятнее объяснить? Вот, к примеру, у винтовки есть боек, каким пистонку разбивают — его тоже самое зовут ударником. В винтовке эта штука — заглавная, без нее не стрельнешь... Так и в колхозе: ударник есть самая заглавная фигура, поняла?» (Шолохов, «Поднятая целина»).

Большую трудность представляет также нормализация литературного языка в его отношении к разговорному, при учете того, что переход слов из разговорного языка в литературный очень облегчился за последнее время. Это несет в себе положительность свободного обогащения лексики полезными и удобными неологизмами, как, например, в области техники. Одновременно следует отметить и отрицательную сторону такого свободного внедрения разговорного языка в литературный: мы имеем в виду, в первую очередь, засорение последнего бесчисленными арготизмами и «блатными» словечками.

С этими фактами нельзя не считаться, как правильно отмечает В. Гофман («Язык литературы», стр. 57):

«Изучая современную действительность писатель должен изучать и ее язык, и это изучение нельзя заменить знакомством с языком классической литературы. Ни один писатель не сможет обойтись даже самым образцовым языком самых образцовых, самых близких нам по духу классиков, если только не захочет ограничиться бесплодным стилизаторством».

При составлении работы мы руководствовались не хронологическим порядком в представлении развития русского языка советского периода (не считая ретроспективной главы «Предвестники советского языка»), а принципом постепенного ознакомления с наиболее значительными факторами русского языка советского периода, выделенными в самостоятельные главы. Конечно, их удельный вес не одинаков, но все они преломляют не только ход советской жизни, прослеженный по языку, но и устанавливают изменения в нем самом.

Наиболее тесно переплетаются вышеуказанные моменты в третьей главе «Некоторые особенности русского языка советского периода». Здесь собран материал, не затронутый вовсе, или затронутый, но в ином разрезе в других главах.

Здесь же в «Введении» следует предупредить читателя, что хотя вся работа построена на языковом материале, она часто вырастает за рамки чистой лингвистики, что обусловлено, в основ-

ном, тремя соображениями. Первое из них можно было бы найти уже ранее у кн. С. Волконского в сборнике статей, изданном в 1928 г., в Берлине, под названием «В защиту русского языка» (стр. 27):

«Вопрос о большевицком[3] влиянии на русский язык вопрос большой и сложный и не только филологический. Для того, чтоб о нем говорить, нужны документы, да и их недостаточно для вывода всех принципов мыслительных, которые оказывают воздействие на язык; тут уже вопрос не филологический, тут явная отрава мыслительных путей, это предмет тяжелого, сложного и скорбного изучения».

Второе соображение относится к тому общему положению современной науки, при котором методологической доминантой является синтез, а не анализ (вряд ли теперь можно указать на какое-либо лингвистическое исследование, посвященное, например, исключительно фонетическим законам, что могло быть когда-то самодовлеющим предметом изучения школы «младограмматиков»). В наблюдении и осознании как непосредственных, так и опосредствованных связей языка с порождающими его явлениями мы видим ключ к пониманию состояния и развития русского языка последних бурных десятилетий, а также и той действительности, которая оказалась творцом его современных форм.

Третье соображение, тесно связанное со вторым, имеет чисто практический характер. При существовании «железного занавеса», очевидно, далеко небесполезным окажется ознакомление обширного и всё расширяющегося круга лиц, интересующихся данным вопросом, не только с различными моментами русского языка советского периода, но и с тем вскользь упоминаемым его историческим фоном, который далеко не всегда ясен людям Запада.

Наконец, авторы, руководясь собственным печальным опытом, учитывают исключительную трудность получения литературы по данному вопросу. При том, что многие читатели-педагоги, находясь вдали от книжных центров и крупных библиотек, хотели бы использовать эту книгу, как пособие, дающее прямые ссылки на общепризнанных авторитетов, мы решили, часто даже в ущерб представлению собственных мыслей, ввести в текст значительное количество цитат, отражающих взгляды крупнейших современных языковедов, критиков, писателей и вообще компетентных лиц. Мы надеемся, что это в какой-то мере поможет глубже понять специфику того периода развития русского языка, началом которого мы полагаем революцию 1917.

Иллюстративный материал в данной работе представляет собой образцы живой речи, цитаты из советской прессы, а также из широкоизвестных произведений советской литературы. В отношении послевоенного периода цитаты взяты, главным образом, из книг лауреатов сталинских премий.

Авторы ссылаются и на русскую эмигрантскую литературу — газеты и журналы, выходящие в Германии и США, так как

[3] Автор настаивает именно на таком правописании.

в них часто помещаются статьи бывших советских граждан. Приводя примеры из таких статей, мы иллюстрируем многие моменты, которые не могут быть отображены в советской печати.

Что касается технических моментов, то в ссылках на ту или иную работу или художественное произведение, мы даем только автора, название цитируемой статьи или книги и страницу, тогда как издательство, год издания и пр. указаны в «Библиографии». Если же цитата взята из книги, не имеющей прямого отношения к данной работе, и потому не упомянутой в «Библиографии», то все необходимые сведения об этом источнике помещены нами в тексте.

В иллюстративном материале, подобранном из произведений художественной литературы, номер страницы дается непосредственно после названия, без сокращенного указания «стр. ...».

Следует также подчеркнуть, что весь иллюстративный материал подобран нами. В тех редких случаях, когда какой-либо удачный пример уже фигурировал в той или иной ранее опубликованной работе, мы неизменно ссылаемся на автора статьи или книги, в которой он был впервые приведен.

II. ПРЕДВЕСТНИКИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА

Говоря о предвестниках советского языка, интересно привести слова известного датского лингвиста О. Иесперсена:

> «Если мы наталкиваемся на какой-либо период, особенно богатый лингвистическими изменениями (фонетическими, морфологическими, семантическими или всеми ими одновременно), то вполне естественно, что нам следует обратить внимание на социальные взаимоотношения в обществе, существовавшие в то время, для того, чтобы, по возможности, установить какие именно причины наиболее благоприятствуют этому явлению. Я считаю, что существуют, главным образом, два подобных фактора.
>
> Во-первых, влияние родных и вообще взрослых сказывается меньше, чем обычно, в такие времена, когда родные отсутствуют в доме, как, например, при затяжных войнах, или же если они погибли, как при сильных эпидемиях.
>
> Во-вторых, могут быть периоды, в которых обычные нормы языковых изменений становятся менее ощутимыми, так как всё общество воодушевляется острым чувством независимости и стремится разорвать всякого рода социальные узы, в том числе и узы, накладываемые школой или литературной традицией.
>
> ...В истории английского языка периодом, наиболее богатым изменениями были четырнадцатый и пятнадцатый века: войны с Францией, чума (унесшая, как говорят, около трети населения) и аналогичные бедствия, восстания, подобно поднятому Уотом Тайлером и Джеком Кейдом, такие гражданские

войны, как война Алой и Белой Розы, опустошили страну, унеся мужчин и женщин, и сделали семейную жизнь трудной и неустойчивой». (O. Jespersen, Language, its Nature, Development and Origin, 1934, p. 260-261, перевод наш — Ф.).

Всё, о чём говорит знаменитый датский ученый, полностью применимо к русскому языку советского периода, особенно в первые годы Революции[1], когда народ был охвачен стремлением «разорвать все узы, в том числе и накладываемые школой или литературной традицией».

Наконец, и в России была война с внешним врагом, продолжавшаяся четыре года и перешедшая в войну гражданскую; в различных концах страны, раздираемой этой гражданской войной, вспыхивали восстания, долго не утихавшие и после официального окончания братоубийственной распри. И так же прошли по стране голод и страшная эпидемия — сыпной тиф, унесшие неисчислимые жертвы и оставившие миллионы беспризорных детей. Зловещие всадники — Война, Мор и Глад пронеслись по необъятной ниве русского языка и долго заростали плевелами следы их коней...

Несомненно, что уже на полях Первой мировой войны взошли ростки нового языка, вскоре почти заглушившего язык классиков, создававшийся в течение столетий путем тщательного отбора и культивирования речевого материала. Понадобились десятилетия, чтобы многое из этого словесного бурьяна либо засохло само, либо было выкорчевано при очередном извиве «генеральной линии» партии, когда большевикам, для достижения своих целей, понадобилось снова ввести русский язык в очерченное классиками русло (см. гл. VII).

Еще М. Горький в одном из своих писем начинающим писателям (сб. «О литературе», стр. 289) отмечал:

«...материал ваш говорит мне только о том, что великолепнейшая, афористическая русская речь, образное и меткое русское слово — искажаются и «вульгаризируются».

Этот процесс вульгаризации крепко и отлично оформленного языка — процесс естественный, неизбежный; французский язык пережил его после «Великой революции», когда бретонцы, нормандцы, провансальцы и т. д. столкнулись в буре событий; этому процессу всегда способствуют войны, армии, казармы» (Подчеркивание наше — Ф.).

Известный знаток романских языков, соотечественник Иесперсена, датчанин Кристофер Нюроп совершенно справедливо считает, что введение христианства и походы викингов внесли больше изменений в языки народов, вовлеченных в эти исторические события, чем это могла сделать Великая Французская революция в отношении французского языка. Это и естественно,

[1] Слово «революция» в данном и во всех последующих случаях условно пишется с большой буквы («Революция»), так как, по сути, является именем собственным, подразумевающим начавшийся в феврале 1917 года период социально-политических потрясений и изменений государственного строя России.

так как трансформации в языках, произошедшие в результате смены религии целой Европой или завоевания последней пришельцами из-за моря, были длительней, глубже и разносторонней, чем те, которые способна была создать какая-либо революция.

Все же для того, чтобы лучше уяснить себе особенности русского языка после революции 1917 года, во многом преемственного языку Великой Французской революции, следует хотя бы вскользь упомянуть о роли последней во французском языке.

Отдельные замечания в работах по французскому языку, специальные дополнения к словарям, сами словари, посвященные языку революции, наконец, работы более обобщающего характера — все они свидетельствуют об изменениях только словаря французского языка этой эпохи.

Несмотря на роспуск Французской Академии и учреждение Национального Института, в 1798 г. был переиздан Словарь Академии; однако, этому (пятому) изданию было предпослано специальное предисловие и он был дополнен. Это дополнение (Supplement) было составлено уже не академиками, а особой двенадцатичленной комиссией, допустившей в состав французского литературного языка 338 новых слов. Хотя и такое скромное нововведение вызвало ряд нападок со стороны консерваторов и пуристов, не говоря уже о реакционерах, все же следует признать, что в это незначительное число неологизмов вошли только слова, действительно не существовавшие до 1789 года и к тому же выдержавшие испытание временем (1789-1798 г.г.).

Если это официальное «Дополнение» оказалось слишком ограниченным и не учло ряда доосмыслений формально-старых слов, то словарь — Дополнение 1831 г. впал в другую крайность и охватил 11.000 слов, якобы появившихся со времени первого года Республики, т. е. 1794. Здесь легко можно найти слова, употреблявшиеся и до этого времени. Очевидно, ближе к истине был известный в свое время французский литератор Себастьян Мерсье, выпустивший в 1801 г. «Неологию», насчитывавшую всего 2.000 слов.

Обобщая опыт предыдущих авторов, сверяя словари, вышедшие до[2] и после Великой Французской революции, швейцарский лингвист Макс Фрей издал в 1925 г. книгу, как бы дополняющую М. Гоэна[3], и состоящую из двух частей: первой — с разбором морфологических элементов, — суффиксов, префиксов и сложения слов как основных формантов языка времен Великой Французской революции; второй — с толкованием слов, сгруппированных по тематическому принципу, и трактующей возникновение тех или иных слов-понятий в историческом раккурсе. В общей сложности М. Фрей разобрал около 1400 неологизмов.

Как мы указали выше, все исследователи языка Великой Французской революции сходятся на том, что изменения французского языка этого периода затронули только лексику, но

---

[2] Как, например, Schwan, Nouveau Dictionnaire, 1787.

[3] M. Gohin, Les transformations dans la langue française pendant la deuxième moitié du XVIII siècle, 1903.

отнюдь не морфологию или синтаксис. Что касается фонетики, то здесь иногда отмечается утверждение (после 1789 г.) ранее зародившейся тенденции произносить дифтонг, изображаемый графически «oi» вместо «oe» — «wa», например, в слове «roi» (Если мы обратимся к русскому языку, то найдем аналогию в утверждении всё более частой замены после 1917 г. ударного «е» — «ё» (см. гл. VIII, стр. 162).

Итак, ошибочно было бы предполагать, что французский язык в эпоху революции изменился до неузнаваемости и приобрел необычные, чуждые установившейся традиции, формы. Конечно, в периодическую литературу проникли слова, считавшиеся раньше «непечатными»; они временно возобладали правом литературности. Виртуозности в этой области достиг популярный в те времена среди парижской черни, рассчитанный на грубые вкусы журнал «Père Duchesne»; однако новыми эти слова не оказались, как не была новой и брань, захлестнувшая после революции 1917 г. советскую печать.

Что касается новых, главным образом политических терминов, то они широко использовали обычные элементы уже имевшихся слов. Наиболее обширным оказался круг слов, в которых старые основы соединились со старыми префиксами и суффиксами, только в ранее отсутствовавших комбинациях.

Самыми распространенными формантами, естественно, оказались те, в которых исключительно рельефно отразились противоречия революционного времени, политическая борьба, дух отрицания, демагогичность, бюрократизм и т. д.

Очень продуктивными можно назвать соединения с приставками anti-, contre-, de- или des-. Возьмем для примера:

antiaristocrate, democratique — (ср. с рус. «антисоветский», «антиленинский» и т. п.);

contrerévolutionnaire — (слово, полностью перенесенное в русский язык, и после 1917 г. часто сводившееся к одной приставке-вульгаризму «контра»);

decentraliser — (ср. с рус. «децентрализовать»);

demarquiser — (ср. с аналогичным русским «раскулачивать»);

desorganisateur — (ср. с рус. «дезорганизатор»).

Исключительно активным как в отношении лексико-семантического охвата, так и в отношении охвата всевозможных грамматических категорий, проявили себя новообразования с суффиксами -ier, -iser, -isme, -isation, -iste и множеством других, например:

classifier, democratiser, journalisme, fraternisation, alarmiste — (что касается последних двух слов, то в русском языке революционного периода наблюдаются калька «братание» и синоним «паникёр»).

Много старых слов доосмысливались новыми понятиями; возьмем хотя бы следующие:

réaction — ранее только физический или химической термин, после 1789 г. — синоним контрреволюции;

régime — ранее только «ordre, régle, administration», после 1789 г. — политический режим;

citoyen — ранее житель города, после 1789 г. — вытеснившее «monsieur»;

lanterner — ранее «быть нерешительным, колебаться», после 1789 г. — вешать на фонарном столбе.

В связи с последним словом можно указать и на чисто грамматический сдвиг, — некоторые глаголы перешли из непереходного состояния в переходное. Наряду с «lanterner», ставшего требовать объекта, назовем и «moraliser», до Великой Французской революции означавшего «говорить о морали», а позже приобретшего значение «делать моральным», напр., «moraliser la société».

Эта полисемия, как мы знаем, перешла и в другие языки, и в аналогичные революционные эпохи, в частности в революцию 1917 г., отодвинула старые значения, сделав именно эти новые почти монопольными в широком массовом употреблении, как, например, в слове «ударник».

Для языка Великой Французской революции очень характерно и сложение слов — имен существительных с именами прилагательными, как, например: anglo-chouan, aristo-felon, предвосхитившее образование в русском языке таких слов, как «белофинн», «социал-предатель» и даже «чехо-собака» (последнее отмечено С. Карцевским в его книге «Язык, война и революция», стр. 64).

Конечно, после 1789 г. во французском языке появились и совершенно новые слова, такие как tutoyer (обращаться на «ты»); se monsieriser (обращаться с приложением Monsieur вместо «citoyen»); sociétaire (ср. с рус. «общественник»); англицизмы — session, jury; décade (‿philosophique ср.: «декада советской музыки», «декадник помощи беспризорным»); названия месяцев, — некоторые из них вышли за пределы языка Великой Французской революции, как, например, thermidore и brumaire из-за ассоциации с определенными политическими событиями — падением Робеспьера и приходом к власти Наполеона (вспомним, что троцкисты называют сталинцев «термидорианцами»); наконец множество слов, указывающих на категорию лиц — последователей того или иного политического деятеля, где проявилась исключительная склонность к синонимике:

babeufien, babouvier, babouviste;

brissotin, brissotier, brissotiste (в русском же, в аналогичных случаях, за каждой лексемой закрепляется определенный суффикс: ленинец, троцкист).

Касаясь словообразований от имен собственных, упомянем, что Феликс Дзержинский называл русских чекистов «якобинцами», проводя этим параллель между последней русской революцией и первой французской. И действительно, между якобинцами и чекистами нашлось много общего, включая и язык. И у одних, и у других оказался общим лексикон: «террор», «трибунал», «комитет», «комиссар» и т. п., хотя все эти слова не являлись порождением революций, а были заимствованы у древнего мира.

В процессе Великой Французской революции происходила борьба между отдельными синонимами, и одни исчезали, а дру-

гие утверждались в языке, обладавшем чувством меры, и изгонявшем худшие формы, задерживая лучшие: так из двух равнозначных слов contre-revolutionnel и contre-revolutionaire победило последнее, как более отвечающее структурной гармонии языка (ср. как в русском языке более ранняя форма «Высовнархоз» была вытеснена равнозначным «ВСНХ»).

Язык предал забвению слова или слишком тяжеловесные по своей конструкции, вроде «canaillarchie», «sanguinocratie», или отображавшие частности революции, незначительные в общем ходе истории: «fréroniste», «maurytiste», как правило, слова, обозначавшие последователей мало популярных общественно-политических деятелей.

Популярность неологизмов, созданных во французском языке после 1789 г., обязана, главным образом, тому, что каждый из них рождался жизнью, оформлялся кем-либо из политических вождей и через Конвент бросался в толпу, моментально подхватывавшую его. Так, известный политик Грегуар, которому приписывается создание слова «vandalisme», заявлял: «Я создал слово, чтоб уничтожить явление».

Одной из характерных особенностей языка Великой Французской революции, роднящей его с русским революционным языком, явилось не только создание новых слов, но и уничтожение, вернее бойкотирование, старых[4], доходившее иногда до фальсификации классической литературы. Так «...якобинская цензура заменяет в мольеровском «Мизантропе» стих

Et mon valet de chambre est mis dans la gazette

стихом

Et l'homme le plus sot est mis dans la gazette

Valet понимается как слово, связанное с рабством и общественным неравенством. Даже в карточной терминологии валеты переименовываются в les braves (молодцов) или в les égalités (равенства). Исчезает из обращения слово la populace (чернь). Низкими и подлыми считаются слова manant и paysan имевшие при старом режиме значение нашего «мужик». Вместо них вводится античный неологизм agricole или agriculteur. (К. Державин, Борьба классов и партий ... стр. 39) (см. о подобных словах и их судьбе в русском языке послереволюционного периода на стр. 50).

Возвращаясь к проблеме русского языка революционной эпохи, следует повторно отметить, что специфика этого языка подготовлялась многими факторами. Кроме чисто революционных лексики и фразеологии, роднящих русский язык этого периода с языком Великой Французской революции, здесь наблюдается и совершенно новый момент, характерный для XX-го века —

[4] В отличие от Октябрьской революции 1917, Великая Французская революция в первые годы своего развития (примерно до казни короля) допускала проявления духовного сопротивления. Так в противовес демократизации и вульгаризации языка был выпущен Словарь, составленный некиим А. Бюэ, содержание которого раскрывалось в самом названии: Nouveau Dictionnaire pour servir à l'intelligence des termes mis en vogue par la Révolution, dédié aux amis de la religion, du roi et du sens commun, Paris, 1792.

это склонность к абревиации, сокращению слов и даже целых предложений.

Темпы нашей жизни породили в широком масштабе такую словесную форму, как абревиатура — сокращенное слово, явление в основе своей вполне положительное, характерное, кстати, и для западных языков. Сокращение названий фирм, промышленных объединений или общественных организаций чрезвычайно характерно для двадцатого века с его убыстренными темпами любой деятельности. На Западе давно уже распространились сокращенные слова (AEG в нем., FAI во франц., CIO в англ.) и, по свидетельству А. Горнфельда («Муки слова», стр. 153), «...задолго до революции... были у нас и «Рускабель» и «Сотим» и «Вочето» и «Катопром», только не столь властные и не столь известные».

Идя в ногу с веком, русский язык охотно вбирал в себя такие сокращенные наименования, как «Лензото», «Продамета», «Продуголь», «Ропит», «Юротат» и т. д., но это явление достигло во многих случаях абсурда в революционной России и заслужило порицание самих вождей революции, в том числе и Ленина, считавшего, например, такое сокращение как «Высовнархоз» (Высший совет народного хозяйства) антиэстетическим, непопулярным и недолговечным.

Корни советского языка уходят в партийный жаргон («эсер» — социалист-революционер, «эсдек» — социал-демократ, «кадет» — конституционный демократ, «октябрист» и т. д.) и в просторечие низших слоев населения, участвовавших в революции («даешь», «контра», «офицерье» и т. д.).

По этому поводу С. Карцевский, в своей уже упоминавшейся книге «Язык, война и революция» (стр. 3) предупреждает:

> «Языковые изменения последних лет не могут рассматриваться вне связи с предыдущей волной новшеств, восходящей к эпохе около 1905 г., ибо и события наших дней есть только одно из звеньев в цепи социально-политических потрясений, начало которой надо полагать около 1905».

Интересно отметить, что первые попытки абревиации в русском языке явились многовариантными, а основы сокращаемых и слагаемых слов очень продуктивными. Так, например, партийные обозначения в эпоху революции 1905 г. встречаются в следующих формах: с.-р., эс-эр, эсэр, они же дают производные: эсеровский, эсэровство, эсэровствовать и т. д. Аналогичное наблюдается и с абревиатурами и их производными от «социал-демократ» и «конституционный демократ». Особенностью основных из этих абревиатур является то, что они используют буквенный или алфавитный принцип сокращения, в то время как (см. ниже) в дальнейшем возникает борьба этого типа сокращений со слоговым.

Во время Первой мировой войны новое в русском языке создавалось двумя путями. Зародыши революционного языка зрели в тылу, на митингах, устраиваемых партийными агитаторами, ошарашивавшими слушателей «умными» и непонятными иностранными словцами: «социализация», «национализация»,

«перманентная революция», «экспроприация» и пр. В свою очередь фронт создавал свои упрощенные языковые формы. Инициатором таких сокращений в армии нужно считать генеральный штаб, вводивший их, главным образом, в целях облегчения телеграфных сообщений. Нужно отметить, что армия поначалу очень неохотно принимала такие новшества, как «военмин» (военное министерство), «дарм» (действующая армия), «генштаб» (генеральный штаб), «штарм» (штаб армии), «штакор» (штаб корпуса), «штадив» (штаб дивизии), «главком» (главнокомандующий), «командарм» (командующий армией), «начдив» (начальник дивизии) и т. д. Некоторые из них отнюдь не отличались благозвучием, как, например, «дегенарм» (дежурный генерал по армии), «главковерх» (верховный главнокомандующий), «генкварверх» (генерал-квартирмейстер при верховном главнокомандующем), «наштаверх» (начальник штаба верховного главнокомандующего) и более позднее — «Румчерод» (Совет солдатских, матросских и рабочих депутатов Румынского фронта, Черного моря и Одесского округа).

Однако то, что с трудом прививалось в армии, давно проложило себе дорогу во флоте. Такие сокращения, как «каперанг» (капитан первого ранга), «кавторанг» (капитан второго ранга) прочно вошли в лексикон моряков, охотно воспринявших «эсминцы», «линкоры», «минзаги» и «подлодки». Позже всё это переплавилось в горниле гражданской войны, а дальше, через прессу, беллетристику и живых людей вошло в обиход русского языка.

III. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Рассматривая развитие русского языка в период большевистской диктатуры, нельзя не согласиться с замечанием А. Горнфельда о том, что этот язык растет «в стране с притупленным личным почином, жизнь которой искони в значительной степени определяется начальством» («Новые словечки и старые слова», стр. 14). Отсюда проистекает и то, что некоторые моменты в языке не являются результатом свободного народного творчества, а привнесены извне, навязаны языку «сверху». Правда, многое, втиснутое в него насильно, со временем выбрасывается им как ненужный и вредный сор.

По утверждению самих же марксистов, пришедших к власти в России, их учение создано не народными массами, а кучкой ученых интеллигентов, язык которых часто находился ближе к латыни, бывшей в средние века международным языком, чем к родной речи и пестрел выражениями вроде: «финансовая олигархия», «аграрная реформа», «капиталистическая эксплоатация», «классовая дифференциация», «диалектический материализм», «оппортунизм», «оппозиция», «индустриализация» и т. п. Отсюда и непонятность его для человека из народа, к которому направлялись слова вождей революции, строивших свою речь на интер-

национальной политической терминологии, часто вывезенной из эмиграции.

Попытка в слишком большой мере интернационализировать русский язык привела к тому, что последний засорился варваризмами, вдобавок искажавшимися малознающими людьми (часто, к сожалению, обладавшими духовным и административным влиянием на массы)[1].

Так слово «констатировать», например, восемь раз употребленное в одном только постановлении СНК РСФСР от 12 июня 1925 года, всё же не освоено массами как орфоэпически, так и орфографически. И до сих пор не то по ассоциации с именем «Константин», не то по созвучию со словом «станция» очень многие упорно говорят и пишут «константировать». То же можно сказать и о слове «проблема», искажаемой порой в «промблема», очевидно, по ассоциации с часто встречающимся элементом аббревиатур — слогом «пром» (промышленный).

О неудачном применении слов иностранного происхождения достаточно резко высказывался и сам Ленин:

«Русский язык мы портим. Иностранные слова употребляем без надобности. Употребляем их неправильно. К чему говорить «дефекты», когда можно сказать «недочеты» или «недостатки» или «пробелы».

Конечно, когда человек, недавно научившийся читать вообще и особенно читать газеты, принимается усердно читать их, он невольно усваивает газетные обороты речи. Именно газетный язык у нас, однако, тоже начинает портиться. Если недавно научившемуся читать простительно употреблять, как новичку, иностранные слова, то литераторам простить этого нельзя. Не пора ли нам объявить войну употреблению слов без надобности?

Сознаюсь, что если меня употребление иностранных слов без надобности озлобляет (ибо это затрудняет наше влияние на массу), то некоторые ошибки пишущих в газетах совсем уж могут вывести из себя. Например. Употребляют слово «будировать» в смысле возбуждать, тормошить, будить. По-французски слово «bouder» (будэ) значит сердиться, дуться. Перенимать французско-нижегородское словоупотребление значит перенимать худшее от худших представителей русского помещичьего класса, который по французски учился, но, во-первых, недоучился, а во-вторых, коверкал русский язык.

Не пора-ли объявить войну коверканью русского языка?»

Цитированная нами статья была посмертно напечатана в «Правде» от 3 декабря 1925 года.

Примерно за сто лет до Ленина, но с еще большей резкостью о вреде варваризмов высказался Пушкин. Он, призывавший

---

[1] Это в свое время было отмечено в пражском журнале «Slavia» Л. Успенским в его статье «Русский язык после революции»:

«Уже в 1923 году деятелями советской прессы была замечена малая доступность их продукции пониманию рабочего и крестьянина. Разница в языках «руководящей верхушки» и «широкой массы» оказалась столь резкой, что стала грозить самой возможности сгладить ее в будущем...» (т. 10, 1931, вып. 2, стр. 256).

учиться русскому языку «у московских просвирен», полностью признавал преимущества народной речи перед искусственно насаждаемой иностранной лексикой. Пушкин сам, хотя и воспитанный на французской культуре, чувствовал, что подлинным творцом русского языка является народ с его простой речью; он отмечал, что «разговорный язык простого народа, не читающего иностранных книг, и, слава Богу, не искажающего, как мы, своих мыслей на французском языке, достоин также глубочайших исследований».

Позже, бывший директор Института Маркса-Энгельса-Ленина Д. Рязанов вынужден был признать:

«Мы разучились говорить на хорошем ядреном русском языке. Мы до сих пор еще злоупотребляем советским птичьим языком».

Как бы это ни звучало парадоксально, но именно Революция создала в России исключительно благоприятную почву для засилия всякой канцелярщины, бюрократии и соответствующего им языка.

«К сожалению наш аппарат, страдающий до сих пор бюрократическими извращениями, среди прочих изъянов сохранил и канцелярский бюрократический язык».

(Гус, Загорянский, Коганович, Язык газеты, 225).

В «Литературной Энциклопедии», т. II, 1929, в статье «Газета», мы читаем:

«Язык наших газет характеризуется резолютивно-тезисными оборотами, канцеляризмами, архаизмами, ничем не оправданными инверсиями, ненужными варваризмами и неологизмами... Бедны наши газеты и поэтическими приемами: тропы, фигуры и эпитеты не блещут здесь оригинальностью, шаблонны».

На это же указывает и В. Гофман («Язык литературы», стр. 63), говоря, что «Михаил Презент в своей небольшой книге «Заметки редактора» (1933 г.) ...справедливо восстает против канцелярско-бюрократической фразеологии, засоряющей газетно-журнальный язык, против обедненного словаря...».

То, что указанные авторы отмечали, как уродливое явление в 20-ых годах, оставалось типичным для партийно-бюрократического языка и через двадцать с лишним лет, как это отмечает Б. Галин в своем нашумевшем очерке «В одном населенном пункте» (Новый Мир, № 11, 1947):

Но была одна особенность в его речи, которая поразила меня. Он почему-то любил вводить в свою свободно текущую речь тяжелые бюрократические обороты, вроде: «в данном разрезе», «на сегодняшний день»...

Я остался с ним один-на-один и спросил:

— Откуда, Герасим Иванович, вы взяли эти никчемные слова? — Он удивился и даже обиделся.

— Ведь так говорит мой сын (второй секретарь райкома — Ф.), так говорит Василий Степанович Егоров (первый секретарь райкома — Ф.), так говорите и вы, товарищ Пантелеев (штатный пропагандист райкома — Ф.).

Такую тяжеловесность и нескладность речи, на этот раз младшего поколения партийных работников — комсомольцев, отмечал и В. Викторов в статье «Язык великого народа» (К о м с о м о л ь с к а я П р а в д а, 16 окт. 1937):

«...Неприятно и странно слышать из уст многих комсомольских работников исковерканную, нестройную речь, уснащенную дикими выражениями, вроде «на сегодняшний день мы имеем», произвольными ударениями в словах, неимоверными по длине периодами, в которых нет ни складу, ни ладу... Многие комсомольские работники бесконечно злоупотребляют местоимением «который»...

В своей статье «Назревшие вопросы» (Предсъездовская трибуна: Лит. Газета, 23 ноября 1954) Н. Задорнов также признает, что «...канцелярщина въедается у нас в народный язык и местами сушит его. Не раз приходилось мне слышать, что молодежь в деревнях и на заводах, да и в высших учебных заведениях подражает в разговоре выражениям деловых бумаг. Часто канцелярские обороты речи считаются чем-то вроде хорошего тона»[2].

Такой бюрократический язык, хотя и бытует в революционную эпоху, но полон архаизмов, еще церковно-славянского происхождения: с е й, к о и, к о е г о, к о е м у, к а к о в о й, т а к о в о й, д а б ы, и б о и множество других.

Но всё же основным процессом в советском языке, конечно, явилась не архаизация[3], а политизация его при широком применении сокращений. Если Ленин пытался определить новый общественный строй формулой:

советы + электрификация = коммунизм,

то говоря о состоянии русского языка в начальный период существования советской власти можно для образности воспользоваться аналогичным построением:

политизация + абревиация = советский язык.

Насколько новые формы жизни, а с ними и соответствующая лексика были по началу чужды народу, так как в значительной степени, создавались не им самим[4], а где-то в правительствен-

---

[2] «Однако, — здесь же оговаривается Н. Задорнов, — я глубоко убежден, что язык наш далек от того, чтоб обеднеть, в массах он очень ярок, образен, сочен и звучен. В народной речи, как в зеркале, отражается вся жизнь страны».

[3] Любопытное мнение о якобы революционном языке высказал Е. Поливанов («За марксистское языкознание», стр. 169), усматривавший именно в революционной фразеологии общность ее с архаичными церковно-славянизмами:

«...Трафаретные выражения, фразеологическая рутина вроде «хищных акул империализма» и «гидры контрреволюции» — вот что является, по моему мнению, славянским языком революции и заслуживает этого названия, ибо по безжизненности и недвижности своей эти «акулы» и «гидры» вполне сравнимы с церковно-славянскими речениями в церковном языковом обиходе».

[4] Уже упоминавшаяся А. Бэклунд правильно отмечает на стр. 12, что «это был язык коммунистического актива и подрастающего поколения — особенно комсомола...»

ных кругах, свидетельствует небольшой диалог, данный Ф. Гладковым в его нашумевшем и в свое время очень популярном романе «Цемент»:

— Кто ехал с тобой в фаэтоне?
— Товарищ Бадьин... предисполкома...
— Предисполкома? Это по каковски?
— По таковски. По русски.
— Врешь. Русский язык не такой. Это ваш жаргон... (105).

Но этот «жаргон» неумолимо утверждался и даже развивался, охватывая живую речь и литературу. Так, у того же Гладкова находим целые фразы, построенные на советской терминологии, которые нашим предкам показались бы совершенно чуждыми и непонятными, даже не русскими:

Мы об этом говорим на каждой партконференции, на съездах советов и профсоюзов: производительные силы, экономический подъем республики, электрификация, кооперация и прочее. (Там же, 83).

«Говорили, и многие не понимали», — могли бы мы добавить.

Не менее показательным в смысле насыщенности литературной речи советской спецификой является и отрывок из романа Шолохова:

Процент коллективизации по району — 14,8. Всё больше ТОЗ. За кулацко-зажиточной частью остались хвосты по хлебозаготовкам. (Шолохов, Поднятая целина, 8).

Если в этой фразе найдутся еще «нейтральные» русские слова: «всё больше» и «остались», то, например, в следующем предложении, разбитом по отдельным словам и словосочетаниям:

«...райпартком/по согласованию с райполеводсоюзом/выдвигает на должность/председателя правления колхоза/уполномоченного райпарткома/двадцатипятитысячника/товарища Давыдова. (Там же, 111).

всё является непрерывной вязью советских выражений, и только в конце к ним примыкает нейтральная, вневременная русская фамилия «Давыдов».

Следующие фразы из книг, написанных уже после Второй мировой войны, также говорят о множестве существующих в языке советизмов:

Он читал вывески: «Приемный пункт Заготживсырье», «Сберкасса», «Ларек Сортсемовощь». (Вс. Кочетов, «Под небом родины», З в е з д а, № 10, 1950).

Геннадий служил в экспедиции Союзпечати, по автотранспорту — в Заготзерне, снабженцем в гостинице, опять по автотранспорту в Главрыбсбыте... (В. Панова, Времена года, 76).

Николай Николаевич снял телефонную трубку и стал звонить в крайплан, в крайсельпроект, в крайзу, в крайснаб, в крайсельэлектро... (Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды, 197).

Известный английский писатель Джордж Орвелл, автор блестящих сатир на советскую действительность — «Скотский хутор» (The Animal Farm) и «1984» (Nineteen Eighty Four), раз-

рабатывает в этой своей последней книге вопросы языка будущего, который, якобы, воцарится при победившем «ангсоце» (Ingsoc), т. е. английском социализме, и посвящает этой проблеме специальный раздел: «Appendix — The Principles of Newspeak». Совершенно очевидно, что проницательный автор пародирует русский язык советского периода, заявляя, между прочим:

«Новоречь была построена на английском языке, как мы теперь знаем, хотя много фраз в новоречи, даже если они не содержали новообразованных слов, были бы едва понятны человеку, говорившему на английском языке нашего времени.

...Название всякой организации или группы людей, доктрины или страны, учреждения или общественного здания, неизменно сокращалось, пока оно не принимало обычной формы, а именно, не превращалось в одно легко произносимое слово с возможно меньшим количеством слогов, которое сохраняло бы связь со своим первоначальным происхождением». (Перевод наш — Ф., р.р. 304, 309).

Жизнь, сведенная согласно марксо-ленинской доктрине к борьбе классов, партийной бдительности и трудовому энтузиазму масс, привела к тому, что литературный и разговорный язык был также сведен к унылому перечню или набору стандартных словосочетаний, замкнувших политический горизонт и серый быт советского гражданина.

Этот гражданин, иногда малограмотный, не всегда разбирающийся в подлинном смысле исконных слов родного языка, должен был оперировать множеством непонятных ему слов политической терминологии, созданной не потребностями его личного «я», а государственными формами, заране заготовленными большевистской кликой.

В основном, эту фразеологию можно разбить на ряд семантических гнезд, с постоянными элементами (класс..., маркс..., ленин... и т. д.) иногда иностранного, иногда местного происхождения, но всегда в каком-то новом словесном соединении, чуждом дореволюционному русскому языку:

«беспартийный большевик», «блок коммунистов и беспартийных», «буржуазная агентура», «буржуазное загнивание, перерождение», «буржуазные предрассудки», «великодержавный шовинизм», «водительство партии», «восстановительный период», «враг народа», «врастание кулака в социализм», «выкорчевывание остатков эксплуататорских классов», «генеральная линия партии» (термин, вошедший в широкое употребление со времени борьбы сталинской клики с троцкистской оппозицией в 1926-27 гг.), «гнилая идеология», «гнилой либерализм», «движущие силы революции», «заклеймить пособников классового врага», «идейная перестраховка», «идейно-политический уровень», «идеологически-(не)выдержанный», «империалистическая война», «капиталистическая эксплуатация», «капиталистический мир», «капиталистическое накопление, окружение», «классики марксизма-ленинизма», «классовая бдительность, группировка, прослойка», «классовое самосознание», «классово-чуждый элемент», «кулацкая агентура, идеология, опасность», «левый (левацкий) загиб,

заскок, уклон» (так партийная печать окрестила выступления в конце 1928 и в начале 1929 гг. партийцев-«леваков» — Шацкина, Ломинадзе, Стэна), «ленинские дни», «ленинский призыв, уголок», «ликвидация кулака как класса», «марксистский подход», «марксистско-ленинский», «марксо-ленинский семинар», «массовая литература», «массово-политическая работа», «международная реакция, солидарность», «мелкобуржуазные замашки», «мелкобуржуазное перерождение», «меньшевиствующий идеализм», «меньшевистское охвостье», «местный национализм», «мировая буржуазия, революция», «мировой пролетариат», «на основе сплошной коллективизации», «обобществленный сектор», «основоположники марксизма-ленинизма», «партия-авангард рабочего класса», «партийно-массовая работа», «поджигатели войны», «построение социализма», «правый оппортунизм», «пятилетка в четыре года» (лозунг, выдвинутый Комсомолом в 1929 г.), «раскрепощение женщины», «революционная бдительность, законность, солидарность, целесообразность», «реконструктивный период», «ровесники Октября», «социальный заказ», «строители социализма», «тихой сапой», «третий решающий» (название 1931 г., третьего года первой пятилетки, который должен был решить вопрос об успешности осуществления пятилетнего плана социалистической реконструкции народного хозяйства), «четвертый завершающий» (1932 г., последний год первой пятилетки), «целевая установка», «энтузиазм масс» и множество им подобных.

Естественно, что в большевистской печати сталинского периода нельзя найти какой-либо критики политических штампов, но всё же в книге проф. А. Н. Гвоздева «Очерки по стилистике русского языка» (стр. 71) имеется общая отрицательная характеристика штампов, под которую нетрудно подвести и чисто-советскиие их образцы:

«Речевые штампы теряют образность вследствие их привычности, вследствие того, что словесное выражение остается застывшим, примелькавшимся, в него перестают вдумываться...»

Говоря о советских речевых шаблонах, надо иметь в виду именно словосочетания, а не отдельные составляющие их слова (ровесник — октябрь; поджигатель — война и т. п.), известные и дореволюционному языку. Об условности этой фразеологии убедительно говорит упомянутый выше Л. Ржевский (Язык и тоталитаризм, стр. 27):

«Таковы сочетания типа «революционная законность», «революционное право», «социалистическая этика» и т. д.

Нетрудно проследить, что эти, казалось бы, «уточняющие» определения на самом деле, выполняя пропагандную задачу, опустошают определяемые ими понятия. Понятие з а к о н н о с т и, несмотря на абстрактность, всегда поддавалось логически четкому раскрытию. Но что такое «законность революционная»? Каждому, конечно, понятно, что это — нечто, допускающее, скажем, возможность совершенно по-разному судить двух подсудимых, обвиненных в одинаковых преступле-

ниях: одного отправить в ссылку, другого же, принимая во внимание пролетарское происхождение и партийный билет, оправдать».

Здесь же будет уместно упомянуть и о двух новых видах штампов, существовавших под знаком культа Сталина и гигантомании. Отсутствие внутренних связей между Сталиным и народом привело к тому, что правительственные круги и подхалимы «на местах» требовали от рядовых граждан ежедневного, чуть ли не ежечасного подтверждения их преданности партии и правительству, персонифицированных в «гениальнейшем» Сталине. Подобная «преданность» должна была проявляться в безудержном и лицемерном славословии, направляемом по всякому поводу «отцу народов», «мудрому вождю и учителю», «лучшему другу» (колхозников, доярок, артистов и т. д.), «великому вождю прогрессивного человечества», «гениальному продолжателю дела Маркса-Энгельса-Ленина», «гениальному кормчему страны социализма», «великому полководцу революции», «организатору великих побед», «знаменосцу мира во всем мире» и т. д. и т. п.

Эпитет «сталинский» стал узаконенным синонимом всего *положительного, первоклассного, наилучшего*: «под солнцем сталинской конституции», «сталинский блок коммунистов и беспартийных», «сталинская забота о человеке», «сталинская закалка» (школа, выучка), «сталинская премия», «сталинский лауреат», «сталинский стипендиат», «сталинские соколы», «сталинское племя», «сталинский урожай», «сталинский маршрут», «сталинский план преобразования природы», «сталинские стройки коммунизма», «великие сооружения сталинской эпохи» и пр.

Оказывается, что даже сухое слово «бюджет» в совмещении с эпитетом «сталинский» приобрело совершенно необычайные свойства, судя по выступлению В. Лебедева-Кумача на Второй сессии Верховного Совета РСФСР 1-го созыва (цит. по «Известиям» от 30 июня 1939 г.):

Бюджет. В коротком слове этом
Ничего как будто чудесного нет.
Но оно загорится чудесным светом
Если мы скажем «Сталинский бюджет».

В своих восторгах по поводу чудесных свойств этого эпитета от Лебедева-Кумача не отстал и Александр Бек (Зерно стали, Профиздат, 1950, стр. 182):

— А наша авиация? — продолжал товарищ Серго. — Разве зря она зовется сталинской? И разве зря мотор, над которым вы работаете, мощный советский авиационный мотор... разве зря мы его тоже будем называть сталинским мотором?

...Сталинский мотор! Вот награда нам...

В свое время, выступая на VII Съезде советов, писатель А. Авдеенко, автор нашумевшей книги «Я люблю», в своей речи, напечатаннной в «Правде» от 1 февраля 1935 г., заявил, обращаясь к Сталину:

«...Люди во все времена, всех народов, будут твоим именем называть всё прекрасное, сильное, мудрое, красивое. Твое имя

есть и будет на каждом заводе, на каждой машине, на каждом клочке земли, в каждом сердце человека».

Но уже непосредственно после смерти Сталина началась «переоценка ценностей», убедительные примеры которой приводит Е. Юрьевский в своей статье «Вторые похороны величайшего полководца» (Новое Русское Слово, Нью-Йорк, 20 и 21 июля 1954 г.).

Готовясь к новой войне советское правительство вынуждено развеять миф о якобы гениальном полководце, единолично спасшем Россию от гитлеровского нашествия. Отмечая те или иные даты, связанные со Второй мировой войной, советские газеты уже не заикаются о сталинской артиллерии, о сталинских принципах ведения боя, о десяти пресловутых сталинских ударах. «Нынешние правители, — говорит Е. Юрьевский, — признали, что так называемая «сталинская эпоха» была проникнута порочным «культом личности». Стараясь доказать, что они были отнюдь не «мальчиками на посылках» у «вождя и учителя», а «соратниками, значение которых лишь искусственно затемнялось тем, кто считал себя великаном», лица, стоящие сейчас у власти в СССР, вынуждены опровергнуть легенду о всесторонней гениальности Сталина, а параллельно с этим уничтожить и еще недавно старательно насаждавшиеся речевые штампы, отражавшие культ Сталина. Так, в 4 издании «Философского словаря» 1953 г., в сильно сокращенной биографии Сталина он уже не именуется ни творцом Октябрьской революции, ни другом Ленина, ни даже творцом конституции.

* * * * *

Неприглядность советской жизни, расхождение многообещающей пропаганды и невеселой, подчас трагической действительности вызвали у властей необходимость в словесном одурманивании, правда, часто разоблачавшемся в народе. Самолюбование и самовосхваление являются ширмой, прикрывающей безотрадное существование советских республик, за которыми установились казенно-восторженные эпитеты: цветущая Украина, солнечная Грузия и т. п.

Одной из отличительных черт сталинской политики являлась и гигантомания — не так само стремление ко всему самому большому, грандиозному, дотоле недосягаемому, но, что значительно хуже, назойливое уверение в существовании всего этого в «стране победившего социализма».

Француз Мерсье, побывавший в 1935 г. в СССР, в своей книге URSS; réflexions par Ernest Mercier, Paris, 1936, правильно отметил:

> «Тенденция создавать всё в колоссальных, сверхамериканских масштабах, без всякой к тому необходимости, проистекает из стремления внушить гражданам чувство гордости за свою принадлежность к самому передовому народу в мире, в социальном и техническом отношениях. Этим объясняется, между прочим, и план постройки в Москве Дома Советов, вышиной в 450 метров».

В тон ему один наблюдательный русский в брошюре «Большевизм — враг русского народа» (1944 г.) удачно заметил, что в СССР вместо хлебопекарень — «хлебозаводы», вместо столовых — «фабрики-кухни», вместо обычного спортивного соревнования — «спартакиада», вместо курсов — «учебный комбинат», вместо сел.-хоз. имения — «фабрика зерна», вместо водохранилища — «Московское море», вместо дома пионеров — «дворец пионеров»[4], вместо дороги — «магистраль» или даже «сверхмагистраль» и т. д.

Отсюда и гиперболические обороты:

огромные достижения,
небывалый (колоссальный) рост,
невиданные перспективы,
неслыханный расцвет,
на недосягаемую высоту,
великие стройки (сооружения) коммунизма и т. п.[5]

Правда, надо сказать, что опыт пятилеток доказал нежизненность многих громоздких «гигантов». Они были обречены на «разукрупнение», согласно резолюции всесоюзного партийного съезда:

> «XVIII съезд ВКП(б) требует решительной борьбы с гигантоманией в строительстве и широкого перехода к постройке средних и небольших предприятий во всех отраслях народного хозяйства Союза ССР».

«Разукрупнению» подверглись не только производственные, но и административные единицы страны, что повлекло за собою и увеличение бюрократического аппарата. Очень показательно в этом отношении появление незадолго до войны бесчисленного множества новых мелких народных комиссариатов, а вместе с ними ряда новых уродливых абревиатур, употребление которых часто делало речь просто косноязычной:

Наркомобщмаша, Наркоммясомолпрома, Наркомпромстроймата, Наркомместтопа и др.

Если отдельные самостоятельно-мыслящие личности в СССР критически воспринимали советские штампы, то основная масса населения усваивала их, иногда не совсем понимая, иногда же не понимая их вовсе (по специально проведенным тестам, о которых сообщают в своей книге «Язык газеты» Гус, Загорянский и Коганович, 25% предложений, встречающихся в газетах, широкой публикой не понимаются). Недаром «Правда», за № 86, за 1926 г., в незамечаемом ею противоречии с политикой партии,

---

[4] Так, новые здания Московского университета на Воробьевых горах именуются «Дворцом науки».

[5] Я. Фоменко в своей статье «Лед не тронулся» (Литературная газета, 18 мая 1954) жалуется на то, что «уж очень многие факты и жизненные явления наши публицисты именуют «историческими», «небывалыми», «выдающимися», «эпохальными»...

Даже в чисто грамматическом отношении советский гиперболизм нашел свое характерное отображение во всё более интенсивном распространении превосходных степеней прилагательных: «первейшая задача», «почетнейшее задание», «ярчайший пример» и т. д.

органом которой она является, вынуждена была заявить, что «бич нашей культработы — штамп».

Л. Тан справедливо отмечает в своей интересной статье «Запечатленный язык» (Новый Журнал, Нью-Йорк, XXIII, 1950, стр. 282), что:

«...Советский человек, читая передовицы, слушая радио, посещая собрания, испытывает такое воздействие речевых шаблонов, которому не в силах противостоять самое яркое индивидуальное словоупотребление...

Советский человек начинает «с воодушевлением» писать и говорить о «своей беззаветной преданности партии Ленина-Сталина», «беспредельной любви к социалистическому отечеству» — «новом» качестве «партийных и непартийных большевиков», он «клеймит презрением» преклонение перед «гнилостной буржуазной культурой», «решительно изживает» из своего сознания «пережитки старого», «активно включается в...», «торжественно заверяет... в том, что...», «изыскивает», «выявляет» и «ликвидирует», «мобилизует все силы на...», «добивается рекордных успехов в...», «приходя к новым очередным победам», «возможным только под руководством...» и т. д. и т. п.».

Подобная убогая стандартность советской фразеологии подчеркивается не только в эмигрантской прессе, но она привлекла внимание и советских сатириков — поэта М. Слободского и известного фельетониста Г. Рыклина:

К словам ярлыки приколоты, —
Готовы определения:
— Как «уголь»?
— Черное золото.
— А «хлопок»?
— Белое золото.
— А «лес»?
— Зеленое золото.
— А «нефть»?
— Здесь «жидкое золото».
Имеется для сравнения...
Он в раздумьи не застынет:
Нет ни трудности, ни тайн.
Кто верблюд? — «Корабль пустыни»!
Кто «корабль степей»? — Комбайн.
Кто ткачиха? — «Мастер пряжи».
Слесарь? — «Мастер молотка».
У него доярка даже
— «Знатный мастер молока»...

(Цит. по «Новому Русскому Слову», 30 янв. 1951).

«...Это было очень оживленное собрание и о нем стоит рассказать... За городом на веселой весенней лужайке собрались имена существительные...

...К нам, например, [промолвили Прения] журналисты прикрепили на всю жизнь глагол «развернулись» и нам из-за него дышать невозможно. Как только газетчик упоминает о прениях, сейчас же его перо уже само выводит «развернулись»...

— У меня тоже нелады с глаголом, — сказала хорошенькая Окраина. — За мной как тень бродит глагол «преобразилась». И обязательно в таком сочетании: «преобразилась до неузнаваемости»...

— А я упорная, — сказала Борьба. — Чудесная характеристика, что и говорить! Но нельзя же всю жизнь одно и то же! Ведь русский язык красив, богат и разнообразен!

...Многие журналисты [произнесла Речь] привыкли называть меня взволнованной, и нет мне в жизни другого прилагательного. Иногда на одной странице я восемь раз взволнована...

— А нам на двоих, на меня и на Образ, выдали одно прилагательное, — грустно сказал Факт. — Вы его хорошо знаете: это прилагательное «яркий». Яркий образ. Яркий факт. Так и ходим со столбца на столбец, сияя своей яркостью...

— А вот я всегда целый, — заявил Ряд. — Так у нас и шпарят: «целый ряд домов», «целый ряд людей»...

В общем, как видите,... на лужайке, недалеко от окраины, которая за сравнительно небольшой отрезок времени до неузнаваемости преобразилась, широко развернулись прения, и целый ряд ораторов выступил со взволнованными речами, где были приведены яркие факты упорной борьбы имен существительных против шаблона». (Подчеркнуто автором). (Совещание имен существительных, Крокодил, 30 мая 1951).

Стандарность словосочетаний в языке советской литературы вызывает не только улыбку, но и возмущение. Так, выступая на Втором всесоюзном съезде писателей К. Чуковский взволнованно вопрошал:

«Как можно, например, поверить, что мы восхищаемся художественным стилем Некрасова, если об этом самом Некрасове мы пишем вот такие слова:

«Творческая обработка образа дворового идет по линии усиления показа трагизма его судьбы»... Что это за «линия показа»? И почему эта непонятная линия ведет за собой пять родительных падежей друг за дружкой... И что это за надоедливый «показ», без которого в последнее время, кажется, не обходится ни один литературоведческий опус («показ трагизма», «показ ситуации» и даже «показ этой супружеской четы»)? И что это за такая «линия», которая тоже вошла в жаргон литературоведческих книг так прочно, что мелькает чуть ли не на каждой странице...

Если ты написал «отражают», нужно прибавить «ярко»; если «протест», то «резкий», если «сатира», то «злая и острая». Десятка полтора таких готовеньких формул зачастую навязываются учащимся еще на школьной скамье...

Каждое из них (словосочетаний — Ф.) вполне законно и правильно, и почему же не воспользоваться ими при случае. Но горе, если они в своей массе, в своей совокупности определяют стиль наших книг и статей». (Литературная Газета, 25 дек. 1954).

Бездушное употребление слов, превращенных в ничего не говорящие штампы высмеивалось еще значительно раньше В. Маяковским в его уничтожающем стихотворении «Искусственные люди»:

Разлад в предприятии —
грохочет адом,
буза и крик.
А этот, как сова,
два словца изрыгает
— Надо
согласовать.

Учрежденья объяты ленью.
Заменили дело канителью длинною.
А этот
отвечает
любому заявлению
— Ничего,
выравниваем линию. —

Надо геройство,
надо умение,
чтоб выплыть
из канцелярщины вязкой,
а этот
жмет плечьми в недоумении
— Неувязка...

...Разлазится всё,
аппарат вразброд,
а этот,
куря и позевывая,
с достоинством
мямлит
во весь свой рот
— Используем. —

Тут надо
видеть
вражьи войска,
надо
руководить прицелом,
а этот
про всё
твердит свысока
— В общем и целом...

(Подчеркивание наше — Ф.)

Совмещение не к месту употребленных фраз и общая малограмотность давали комическое преломление штампов. Первым, кто литературно отобразил это явление, оказался столь популярный, позже жестоко осужденный партийной критикой, Михаил Зощенко:

Вот они и подрались.

А только надо сказать, промежду них не было классовой борьбы. И тоже не наблюдалось идеологического расхождения. Они оба два были совершенно пролетарского происхождения. («Серенада»).

В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигенции — вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена в положительном смысле, а тут, я извиняюсь, женихи. («Спекулянтка»).

Спустя много лет журнал «Крокодил» пародировал штампованную речь докладчиков на собраниях в бытовой юмореске «Критик в парикмахерской» (10 мая 1950), где на вопрос парикмахера, доволен ли клиент его работой, следовал пространный ответ:

— Видите ли, с одной стороны, будто всё охвачено, но, с другой — не всё на надлежащем уровне. Отдельные волосы явно выпирают. Положительный характер зачеса не скрывает пробела на макушке, но удачное включение одеколона вполне компенсирует общие недостатки.

Подобное же юмористическое применение штампов находим и у Л. Ленча:

...раз ты вышла замуж за руководящие кадры — должна быть культурной... (Дорогие гости, 37).

— Ну, а как тут у вас идут танцы?.. Как говорится, каков процент охвата? (Там же, 73).

Можно допустить, что в первые годы Революции штампы, насаждаемые властью, привились из-за языковой нетребователь-

ности серой массы, вовлеченной в построение советского государства. Но время шло, а уровень грамотности советского обывателя всё еще оставался низким. Некоторые писатели (в частности, Б. Пильняк) охотно обыгривали языковые ляпсусы, другие же, как К. Ф. Федин, возмущались падением культуры речи, откровенно заявляя:

«Можно было бы собрать неисчислимое множество примеров безграмотности повседневной нашей литературной действительности... Ошибки, повторяемые газетой и журналом, усваиваются всей страной. А мы ликвидируем неграмотность и насаждаем безграмотность...» («Фельетон о языке...», З в е з д а, № 9, 1929).

Через два с лишним десятилетия К. Паустовский в статье «Поэзия прозы» с горечью писал о том, что «много искаженных, испорченных слов проникает в газеты и даже в художественную литературу».

Действительно, в течение многих лет советы уделяли преподаванию русского языка самое незначительное внимание, делая упор на политическое воспитание молодежи и ее техническое образование. Неудивительно поэтому, что некая Е. Строгова в своей статье «О невежестве» (И з в е с т и я, 27 июня 1936), говоря о культурном уровне студентов Института мясной промышленности вынуждена была констатировать:

«...На диктанте студенты получили почти поголовные «неуды». Из 73 дипломников 30 человек не были допущены к дипломному проектированию, потому что обнаружили безграмотность на экзамене по русскому языку...»

Т. Косых, директор Московского государственного педагогического института и проф. И. Устинов, декан факультета языка и литературы, подтверждали, что «...с преподаванием его (русского языка — Ф.) в нашей средней и высшей школе дело обстоит крайне неблагополучно. Несомненно, за последнее время произошли сдвиги в сторону повышения грамотности учащихся. Однако, эти сдвиги далеко недостаточны. Так, например, грамотность отличников, поступивших в 1937/8 учебном году на литературный факультет Московского государственного педагогического института, оказалась не на должной высоте. В проверочном диктанте часть «отличников» сделала до 20 ошибок». (П р а в д а, 29 июля 1938).

Шли годы, а грамотность и культурность речи в СССР продолжали оставаться на недопустимо-низком уровне. Академик С. Обнорский жаловался, что «...наша средняя школа всё еще не достаточно вооружает учащихся подлинным знанием русского языка, не прививает им вкуса к культуре речи... Но работа над культурой речи не может ограничиться только стенами средней школы... Наблюдаемые сейчас в этом отношении беспечность и безразличие в вузах как со стороны студентов, так и со стороны профессуры, являются существенной помехой в общем подъеме языковой культуры нашей страны». («Заметки о культуре речи», И з в е с т и я, 23 июня 1940).

В декабре 1954 года Н. Задорнов всё еще отмечал в цитированной выше статье, что «наша учащаяся молодежь недостаточно хорошо владеет речью, а грамотно пишет, лишь пользуясь ограниченным количеством слов и выражений».

Результатом такого падения культуры речи и невнимания к изучению родного языка явилось и то, что районные газеты «полны безграмотной чепухи», по утверждению известного журналиста Г. Рыклина («О культуре слова», П р а в д а, 5 мая 1938). Он указывает, что «...в районной газете «Ленинский Путь» (Омская область) ...то и дело мелькают такие фразы:

«— Разговаривают о ликвидации неграмотных и малограмотных...

— Хужее дело обстоит...

— Тягловую силу считают только кормить овсом...»

Впрочем, и на страницах столичной прессы авторы встречали такие, мы бы сказали, странные прилагательные как «плательные ткани» или «мальчиковая обувь».

Последнее выражение встречаем и в нашумевшем романе В. Пановой «Времена года», стр. 340:

Она надела приготовленную заранее рабочую робу: мальчиковые ботинки, стеганые штаны...

Этим прилагательным пользуется и О. Берггольц в своей статье «О наших детях», помещенной в «Литературной Газете» от 25 марта 1954 г.:

В связи с этим раздельным обучением получается, что у нас отдельные мальчиковые пионерские отряды и отдельные девочкины пионерские отряды.

* * * *

Смешное от безграмотности — явление, характерное не только для советского языка, и потому мы остановимся всего лишь на нескольких примерах.

Так, «низовые» работники торговли иногда старались «культурно» обслужить покупателя, предлагая ему «детское мясо» вместо «мяса для детей» по соответствующему талону продовольственной карточки или «брачные фрукты» вместо бракованных фруктов. Сапожная артель объявляла о своем намерении шить «детские ботинки из кожи родителей», а продавцы керосина вывешивали подчас красноречивые надписи: «Гражданкам с узким горлышком керосин не отпускается», протестуя таким образом против неудобных для наполнения сосудов.

После постановления партии и правительства о проверке мер и весов в государственных магазинах, вызванного систематическим обмериванием и обвешиванием потребителя, безграмотные завмаги вывешивали иногда плакаты вроде следующего:

«Встретим покупателя полновесной гирей».

Ю. Трифонов, описывая студенческую вечеринку, показывает, как учащаяся молодежь пародирует подобную фразеологию:

— Прямо перед входом висел большой плакат: «Ударим по имяниннику доброкачественным подарком». (Студенты, 110).

Но, конечно, комические моменты в языке были порождены не только безграмотностью. Нередко народ сознательно творил слова, потешные сами по себе, или вызывающие смешные ассоциации. Так появились «фабзаяц» от «фабзавучник», «комса» от «комсомолец» (имелась в виду мелкая рыбешка), «сопляжник» от «бывающий вместе на пляже», и т. д. Эти слова не только вошли в быт, но даже проникли в поэзию. У А. Безыменского, например, мы находим стихотворение под названием «Фабзаяц-май», а в другом стихотворении, рисуя картину студенческого общежития, тот же поэт пишет:

...Народищу, что зерен в жите,
Всё комнарод или комса.

Естественно, что наряду с безобидным юмором народ создает и сатирическое отображение действительности, но с утверждением советской власти и имманентного ей террора сатира должна была умолкнуть: закрылись все юмористические журналы («Смехач», «Бегемот», «Чудак», «Бузотер» и др.), кроме официально-партийного «Крокодила». После «показательных процессов» 1936-38 гг. фельетоны почти исчезли со страниц «Правды», «Известий» и других газет, а их авторы — из числа находящихся на свободе. Полосы газет стали такими безнадежно серыми и скучными, что даже В. Лебедев-Кумач вынужден был «наивно» спросить:

«...где у нас острый сатирический фельетон? Почему он пропал? Где у нас веселая и умная стихотворная шутка? Почему не видно у нас «кавалерию острот, готовой ринуться в гике?» (П р а в д а, 6 янв. 1939).

Устное сатирическое творчество ушло в глубокое подполье, породив многочисленные и яркие антисоветские анекдоты, не являющиеся компетенцией данной работы. В обиходе же допускаются, да и то не официально, лишь хозяйственно-бытовые юморески.

Вспомним, например, что в голодные годы гражданской войны и разрухи, хозяева, приглашая гостей к столу, говорили: «Лошади поданы», а пирог с мясом вместо «кулебяки» именовали «кобылякой» (см. С. Карцевский, «Язык, война и революция», стр. 35).

В. Каверин, описывая студенческую вечеринку конца двадцатых годов, сообщал, как нечто общепонятное:

Колбаса была трех сортов — «Маруся отравилась», «За что боролись» и «Собачья радость». (Исполнение желаний, Гослитиздат, 1937, стр. 284).

В голодном 1933 г. единственным видом колбасы, имевшимся в открытой продаже, была колбаса из конины. Население непочтительно называло ее «Конницей Буденного», юмористически связывая появление этой колбасы с уходом в прошлое красной кавалерии, вытесняемой мотомехчастями.

В книге М. Соловьева «Записки советского военного кор-

респондента» (стр. 100) приводится народное добавление к знаменитой песне о коннице Буденного:

Товарищ Ворошилов, война ведь на носу,
А конная Буденного пошла на колбасу.

Запрещенная в начале революции продажа водки была вновь разрешена в бытность Рыкова председателем Совнаркома. Тогда водка стала именоваться «рыковкой», не без ехидного намека на приверженность самого предсовнаркома к «зеленому змию».

Ни одна советская женщина не может представить себе существования без «авоськи» — портативной сетки-корзинки, берущейся при каждом выходе из дому в надежде «авось что-либо дадут из товаров в одном из магазинов», т. к. снабжение населения производится чрезвычайно нерегулярно. Во время войны с Финляндией в 1939-40 году, в связи со всё более частым отсутствием товаров на рынке, «авоську» иногда называли «напраськой», но последнему наименованию не удалось вытеснить уже прочно вошедшее в быт слово:

Дарья Васильевна сунула в «авоську» банку для томата и отправилась за покупками. (К р о к о д и л, № 14, 1949, стр. 11).

Низкий жизненный стандарт советского гражданина характерен как скудостью пищи, так и бедностью одежды. Это повело к возникновению такого шутливого слова как «семисезонка», где компонент «семи...» удачно пародирует обычный «деми...» (демисезонное пальто) и подчеркивает, что рядовой советский человек должен обходиться единственной верхней одеждой в течение многих сезонов:

...В ту пору ж пальто семисезонное племяннику у Бога вымолила... (Леонов, Избранное, 472).

В период «военного коммунизма» население городов, испытывая острый недостаток в керосине и свечах, при отсутствии электричества, должно было прибегать к примитивному способу освещения — светильнику «коптилке», иронически прозванному «лампочкой Ильича» — намек на агитационное заявление большевиков, обещавших в кратчайший срок электрифицировать всю деревню. Через много лет, в годы разрухи, вызванные Второй мировой войной, с ироническим названием «коптилки» связывались уже иные ассоциации (см. стр. 124).

Для иронического выражения точности советский обыватель употребляет фразу «как часы, а часы как трамвай», намекая на расстроенное коммунальное хозяйство. В трамвае же, часто останавливающемся на неопределенное время, на объяснение кондуктора: «тока нет» пассажиры обычно едко возражают: «толка нет». Зато теплым юмором веет от названия средств передвижения, изобретенного москвичами:

Букашки — трамваи и троллейбусы, ходившие под буквой «Б» по Садовому кольцу. (М. Коряков, «16 октября», Н о в ы й Ж у р н а л, XX, стр. 215).

Многие советские жилые дома с минимальной кубатурой квартир и максимальным их количеством заслужили меткое прозвище «инкубаторов».

Также не минуло народное остроумие подписку на бесконечные займы, проводящиеся якобы по просьбе народа, но по сути навязываемые трудящимся в обязательном порядке. Отсюда возникло выражение «добровольно-принудительно», со временем перешедшее и на другие мероприятия правительства. Аналогична судьба выражения «принудительный ассортимент», порожденного советской торговлей и перенесенного в другие области жизни.

Время от времени разнообразные группы советских работников — инженеры, агрономы, доярки, артисты и т. д. осыпаются орденами, что однако не уравновешивает неизмеримо большего числа осужденных и сосланных. Так как критерием для награждения служат не только действительные заслуги в той или иной области, но и слепое выполнение директив партии и правительства и повсеместное прославление советской политики, то наряду с термином «орденоносец» возникла и ядовитая кличка «орденопросец».

Производственно-технический термин «многостаночник, многостаночница» приобрел также и юмористически-бытовую окраску:

— Я, знаете ли, многостаночница!..

На языке тети Леки это означает, что она занимается всем, от маникюра на дому до стрижки пуделей включительно... (Л. Ленч, Дорогие гости, 10).

В сатирическом плане употребляется и ряд штампов. Стоило, например, очередному мероприятию вроде увеличения рабочего дня или введения закона о тюремном заключении за незначительное опоздание на работу и пр. обрушиться на советского гражданина, как последний иронически изрекал пресловутую фразу Сталина «Жить стало лучше, жить стало веселее...». Исчезновение с прилавков государственных магазинов предметов первой необходимости, в частности жиров, объяснялось тем, что... «масло растаяло под солнцем сталинской конституции» и т. д.

* * * * *

Отступая от научного метода исследования языка, авторы всё же считают нужным показать на нескольких примерах, что советский язык является блестящим документом не только многообразия форм лингвистического развития, но и фиксирует во всех тонкостях ход развития советской жизни. Недаром народная мудрость создала такую замечательную загадку о языке как «не мед, а ко всему льнет».

Очень показательной в смысле советской специфики оказалась область торговли; развитие ее лексики отображает те уродливые формы советской жизни, где плановое распределение товаров должно было заменить свободный рынок, использующий момент конкурренции. Как происходила эта замена, при наводнении магазинов валенками в разгар летней жары и купальными трусиками в зимнюю стужу — компетенция не этой работы.

Первый период развития советской торговли отмечен созданием рабочих и сельских кооперативов, многочисленных «рабкопов» и «сельпо». Тогда же родились слова «потребкооперация», «потребсоюз», а в просторечии «потребилка», противопоставлявшаяся всячески ущемляемому и вытесняемому из советской жизни «частнику».

С кооперативами связан ряд слов с общим элементом «пром» (промышленный) — «промкоп», «промторг», «промтовар», а также и «ширпотреб» — уродливое сокращение целого выражения: «предметы широкого потребления». (В самое последнее время этот термин вышел из официального употребления и стал заменяться наименованием «предметы народного потребления»). Вследствие того, что многих из товаров первой необходимости постоянно нехватает, распространился термин «дефицитный товар». С другой же стороны, чтобы поддержать оборот, кооперативы навязывают никому не нужные вещи своим покупателям в качестве «принудительного ассортимента». В кооперациях обычно устанавливался «дифпай» (дифференциальный пай) для членов, получавших товары по «заборным книжкам» или специальным талонам.

Отсутствие конкурренции в советской торговле, отсюда и выбора, а также недостаток товаров («бестоварье») привели к тому, что советский гражданин не покупает вещи согласно своему вкусу, а берет, что попало, что ему «дают» после долгого стояния в очередях. Отсюда выражение: «Что здесь дают?», повсеместно вытеснившее «Что здесь продается?» или «Что здесь можно купить?». Это же стояние в очередях породило и крылатую фразу «Кто последний? — Я за вами...». Впрочем, многие «сознательные» граждане оскорбляются этим вопросом и придирчиво поправляют: «Последних здесь нет. Есть только крайние...»

В эпоху «сталинских пятилеток» бесчисленное множество «Сорабкопов» (Союз рабочих кооперативов), «ЦРК» (Центральный рабочий кооператив), «ТПО» (Транспортное потребительское общество) и им подобные понемногу ликвидировались. Широкие массы населения на ряд лет были обречены на полуголодное существование, тогда как при особо важных для советов предприятиях были созданы так называемые «ОРС» (отдел рабочего снабжения) и «ЗРК» (закрытый рабочий кооператив), иначе называвшиеся «закрытыми распределителями», а в просторечии «распредами». Лица, ведавшие снабжением предприятий и учреждений товарами — «снабженцы», в народе часто метко назывались «самоснабженцами».

Родным братом «снабженца» был «толкач» — одно из многочисленных уродливых явлений советской системы. Он был призван, в помощь снабженцу, добывать своему учреждению или предприятию материалы или сырье, почти всегда являющиеся дефицитными в Советском Союзе, а также проталкивать через стену советского бюрократизма любые дела откомандировавших его организаций.

«Толкачество» приняло такие широкие размеры и стало так подрывать и без того сильно хромающую систему советского

планирования, что оно было объявлено «вне закона» и с ним в порядке очередной кампании повели решительную борьбу:

«...после решения Совета Министров СССР от 29 мая 1948 г., запрещающего бесцельные командировки и закрывшего перед толкачами двери министерств... редеет в нашей стране толкаческое племя и толкачи, осевшие в Горьком, чувствуют себя, можно сказать, последними из могикан». (Литературная Газета, 8 янв. 1949).

Захватив торговлю полностью в свои руки, государство создает огромный и неповоротливый аппарат «госторговли», учреждая многочисленные учебные заведения, готовящие кадры «совторгслужащих», курсы повышения квалификации «работников прилавка», ТПШ (торгово-промышленные профшколы) и даже Торговые Академии. Возникает целая армия «завмагов», «завскладами», «завбазами» и т. д., зачастую не чуждавшихся спекулятивных операций.

Постоянный недостаток товаров в советских магазинах породил и особую категорию людей — «шептунов»:

— А что это за профессия — шептуны?

— Шептун — это тот, кто стоит у магазина и предлагает товар, которого на прилавке нет..., но он может быть под прилавком или на квартире...

— А, — догадался я, — спекулянты!

— Вот уж нет! — возмутился Гога... — Спекулянты — это перекупщики. А мы ничего не перекупаем. Мы комиссионеры. (Н. Асанов, Шептуны; Крокодил, 10 июня 1954).

Но самым крупным и узаконенным спекулянтом оказалось само государство. Через «Внешторг» (Народный комиссариат внешней торговли) и соответствующих «торгпредов» (торговых представителей) оно выбрасывало свои лучшие товары на мировой рынок по демпинговым ценам. Кстати, и само слово «демпинг» распространилось со второй половины 1930 года, когда заграничная пресса подняла кампанию по разоблачению советского демпинга, а советы выступили с резким протестом, уверяя, что это явление — вымысел злокозненных буржуазных писак. Но слово уже вошло в широкий обиход. У себя же в стране советскому потребителю изредка «подбрасывались» так называемые «экспортные товары», выгодно отличавшиеся от обычно имевшихся в ведении «Наркомвнуторга» (Народного комиссариата внутренней торговли), а, по сути, являвшихся браком, часто возвращенным заграничными фирмами.

Под маркой «Торгсина» (торговли с иностранцами), где очень редко можно было увидеть немногочисленных в СССР иностранцев, проходила беззастенчивая «выкачка» у населения последних остатков ценностей (золота и камней) в обмен, главным образом, на необходимейшие продукты питания. В больших городах открылись «Гастрономы», «универмаги» и «люксы». В последних уже можно было достать многое, но по исключительно высоким, так называемым «коммерческим» (т. е. спекулятивным) ценам.

«Выкачивание» ценностей из населения происходило и бо-

лее беззастентичивым путем, без всякого обмена на продукты, когда агенты НКВД являлись ночью к мирным советским гражданам с требованием «сдать» государству все имеющиеся у них ценности, в частности золотые монеты царской чеканки. В случае отказа упорствовавших держали под арестом, пока они не «сдавались» или-же пока не выяснялось, что у них действительно ничего нет. Такие мероприятия заслужили в народе меткое название «золотухи».

Это всё происходило наряду с «изъятием излишков», т. е. отбиранием последнего зерна у крестьян, вынужденных тащиться в далекий город, за этим недавно отобранным у них же, но ставшим уже «коммерческим» хлебом.

Именно в языке разоренного советского села очень рельефно отразилась ленинская, а потом сталинская политика сначала видимой «смычки», а позже беззастенчивой социализации — пресловутой и так дорого стоившей народу «сплошной коллективизации», сопровождавшейся исключительной пауперизацией и неслыханным террором, эвфемистически определявшимся как «перегиб», а затем цинично названным Сталиным «головокружением от успехов» (заглавие его знаменитой статьи в «Правде» от 2 марта 1930 г., свалившей всю вину на местные парторганизации).

Первый поток неологизмов, проникший в деревню — это слова, характеризующие политику классовой дифференциации, политику взаимного натравливания: «середняк», «незаможник», «батрачком», «комбед», «безлошадник» и, наконец, «твердозаданец» — синоним зажиточного крестьянина, имевшего твердое задание по сдаче продуктов.

Эпоха «военного коммунизма» принесла деревне «выкачивание» хлеба для голодающего города и фронта, происходившее путем так называемой «продразверстки» (1919-21 г.г., позже замененной «продналогом»), проводившейся специально присланными из центра «продотрядами». Для предотвращения свободной торговли и спекуляции на границе сел устанавливали контрольные вооруженные посты — «заградиловки», призванные бороться с «мешочниками» — людьми, частным образом (обычно в обмен на городские вещи) раздобывавшими в деревне продукты, необходимые для голодающего города. Подобный род занятий стал называться «мешочничеством».

С проведением «коллективизации» еще возросло разжигание классового антагонизма в деревне, в котором немалую роль сыграли присылаемые из города активисты — «парттысячники» и местные «селькоры» — сельские корреспонденты, часто занимавшиеся доносами под видом корреспондентской работы.

Старое слово «кулак» дает новые производные — «подкулачник» — так с конца 20-ых годов стали именовать середняка или бедняка, выступающего в защиту зажиточных крестьян, а также «раскулачивать», «раскулачивание» (вошедшие в широкий обиход со второй половины 1929 г.) — конфискация имущества зажиточных крестьян и ссылка их самих на далекий север, чему некоторые из них чинили вооруженное сопротивление.

С этим связана популяризация слова «обрез» — обозначения винтовки с укороченным, обрезанным стволом, удобной для ношения под верхней одеждой и служившей орудием расплаты с членами «сельсоветов», «предколхозами» и «уполномоченными из центра», проводившими «ликвидацию кулачества как класса на базе сплошной коллективизации» (эта фраза, ставшая штампом, впервые употреблена в речи Сталина на 1-ой Всесоюзной конференции аграрников-марксистов 27 декабря 1929 г.).

Социализация сел приводит к насильственной вербовке в «колхозы», переводу самостоятельных крестьян — «единоличников» в «колхозников» и «колхозниц». В первоначальную пору коллективизации понятие «индивидуальный крестьянин» (т. е. не входящий в колхоз) официально стало выражаться одним словом «индивидуальник», а в просторечии сократилось в «индус» или «индюк». Так, у А. Твардовского (Страна Муравия, Москва, Художественная литература, 1940, стр. 63) находим следующие строки:

— Бог помощь, граждане,
Колхозники, ай нет?...
И отвечают медленно,
Недружно мужики.
Один:
— Мы люди темные.
Другой:
Мы индюки.
И подхватила женщина,
Припав к щеке рукой:
— Индусы называемся,
Индусы, дорогой...
Выходит, бесколхозные...

Здесь же следует упомянуть метафору «стригун» или «парикмахер» — голодный крестьянин, срезающий колоски хлеба, часто незрелого, на колхозном поле, за что по сталинскому закону от 12 августа 1932 г. ему грозило тяжелое наказание, вплоть до расстрела.

Крупными хозяйственными единицами на селе, кроме колхозов, вначале имевших только три ступени — «ТОЗ» (товарищество по совместной обработке земли), «сельхозартель» и «коммуну», стали «совхозы», государственные предприятия разного типа («зерносовхозы», «конесовхозы», «зверосовхозы» и др.), а также молочно-товарные фермы — «МТФ». Во многих колхозах были организованы «птицефермы», а для обработки колхозной земли (кстати, широко распространились новые меры земельной площади — «га» (гектар) и «сотка» (сотая часть гектара) государство организовало машинно-тракторные станции — «МТС». С последними связаны и «политотделы» — щупальцы партии на селе, — состоявшие из рядовых «политотдельцев» и их руководителя «начполитотдела».

Большую роль при проведении сплошной коллективизации — «социалистической реконструкции крестьянского хозяйства», предпринятой партией после XV-го съезда ВКП(б), состоявшегося в 1927 г., сыграл комсомол. Специальным комсомольским бригадам было поручено взять под охрану социалистический урожай, который стал торжественно именоваться «товарищ урожай». В 1929 г. Маяковский шутливо приглашал:

Пожалте,
уважаемый
товарищ урожай!

а А. Сурков в 1937 г. всё еще повторял:

...Добро пожаловать в колхоз,
Товарищ урожай!

Основным каналом, по которому из деревни уплывал «товарищ урожай» были «хлебозаготовки», но и то, что оставалось после них отбиралось у колхозников под видом «сверхплановой заготовки», «отчисления пятилетки», «добровольной сдачи» или «подарка вождю».

С первой пятилеткой и сплошной коллективизацией связан и термин «глубинка», особо распространившийся с 1930 г. для обозначения глубинных пунктов хлебозаготовок, т. е. находящихся вдали от железной дороги и подъездных путей. Газеты запестрели призывами «во что-бы то ни стало очистить глубинку» и жалобами на то, что «на глубинке застряли тысячи тонн хлеба».

К этому же тематическому кругу относятся и такие неологизмы: «зернопоставка», «красный обоз», «ссыпной пункт», «семссуда», «семфонд», «засыпать семенной фонд», «развернуть уборку», «посевная, уборочная (кампания)», «довести план до двора» и т. д.

Даже полностью «обобществив» крестьянские хозяйства, советская власть не смогла добиться повышения урожайности, снизившейся в коллективах по сравнению с тем, что давало единоличное хозяйство. Советы попытались возместить эту потерю интенсивным внедрением (тоже новое слово!) научных методов ведения сельского хозяйства, подняв его таким образом на общеевропейский уровень. Эти мероприятия отражены в соответствующих неологизмах:

агро/курсы, минимум, пункт, техника, указания,
хата-лаборатория, яровизация, озимизация[6].

За повышение урожайности отвечали и «звенья» т. е. группы колхозников, за которыми были закреплены определенные участки и которые, в случае успеха получали дополнительные «трудодни» и различные премии, как, например, знаменитая Мария Демченко, инициатор движения «пятисотниц» (давших 500 и более центнеров свеклы с гектара) или таджикские «хлопкоробы». Правда, нашумевшие рекорды «мастеров высоких урожаев», «передовиков социалистического сельского хозяйства», «знатных комбайнеров и трактористов», «лучших доярок» и т. д. были обычно умело срежиссированы для стимулирования рядовых колхозников. Для предотвращения же «возрождения мелко-

---

6 Данные примеры свидетельствуют о смешении в новой сельскохозяйственной терминологии русских и иностранных элементов, причем мы видим, что последние часто выступают как лексоморфемные (а г р о-указания, хата-л а б о р а т о р и я) так и чисто морфемные (озими з а ц и я, ярови з а ц и я).

О проникновении в сельскохозяйственную лексику иностранных элементов говорил и проф. Ф. Филин, правда в «космополитическом» духе, который тогда еще не осуждался: «... наиболее показательным для бурного развития языковой культуры нашей деревни является широкое распространение иностранных слов, подготовляющее почву для единого мирового языка, который будет создан». (Новое в лексике колхозной деревни, Диалектологический сборник, Вологда, 1946).

собственнических тенденций» большевики начали было новую ломку деревни — «укрупнение колхозов». Весьма показательно, что закладка первого в СССР «агрогорода» была произведена в конце 1949 г. в колхозе... имени ОГПУ, под Черкассами. Насильно переселенные в такие агрогорода колхозники лишились бы своих «приусадебных участков» и превратились бы в сельскохозяйственных рабочих, слежка за которыми также была бы несравненно более легкой. Однако, советской власти не удалось осуществить эту затею.

Для управления обобществленным или огосударствленным сельским хозяйством огромной страны потребовался и громоздкий бюрократический аппарат, «спускающий» директивы, устанавливающий нормы выработки, контролирующий выполнение заданий и пр. Этим занимались Наркомзем, Наркомсовхозов, Колхозцентр, Трактороцентр, крайЗУ, облЗУ, райЗУ (краевые, областные, районные земельные управления), облземотдел или облзо, райземотдел или райзо (соответствующий земельный отдел) и множество других организаций с типичными для советской эпохи наименованиями.

Недаром Вальтер Шубарт в своей нашумевшей книге «Европа и душа Востока» отмечает, что «большевизм есть настоящая оргия слова, проникающая всюду, вплоть до последнего села».

* * * * *

Обзор специфических элементов советской лексики был бы неполным, если бы мы не затронули одну из, пожалуй, наиболее характерных ее областей — лексику и фразеологию, связанную с «советским правопорядком».

Почти всеобщая материальная необеспеченность, стимулирующая к правонарушению, беспризорничество и параллельно ему жилищная скученность, вызывающая множество конфликтов, привлечение советских граждан к суровой ответственности за самовольный уход с работы, опоздание или прогул с одной стороны, и постоянное наличие в стране «политически-ненадежных» элементов с другой, привели к развитию широкой сети судебных учреждений, а попутно и специфической лексики. Появились новые выражения: «показательный суд», «показательный процесс». Наряду с неологизмами-абревиатурами — Верхсуд, облсуд, горсуд, нарсуд, нарсудья, нарзаседатель — появилась руссифицированная форма слова «адвокат» — «правозаступник», продержавшаяся, однако, недолго: до 1922 года.

С так называемым «красным правом» (позже это выражение исчезло, т. к. прилагательное «красный» во всех словосочетаниях стало последовательно заменяться словом «советский») связаны фразы: «десять лет со строгой» (изоляцией), «высшая мера социальной защиты» (расстрел) и выражение, в первые годы советской власти автоматически входившее в приговоры, смягченные вследствие принадлежности обвиняемого к рабочему классу: «принимая во внимание пролетарское происхождение», позже иронически применявшееся в повседневной речи. Сюда

же можно отнести характеристики представителей враждебного советам класса, от разговорного «недорезанный буржуй» до официального «нетрудовой элемент» и «лишенец» (т. е. лишенный права голоса при выборах в советы).

С советским судом связаны и названия органов расследования уголовных преступлений: «угрозыск» (уголовный розыск), «губрозыск» (губернский уголовный розыск) и т. д., но особенно зловещи для советского населения термины, связанные с деятельностью «органов государственной безопасности»: «чрезвычайка» (ЧК, ВЧК, Губчека), ГПУ, ОГПУ, НКВД, МВД, МГБ. Краткая история их такова:

В декабре 1917 г. была создана ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией), реорганизованная в февраля 1922 г. в ГПУ (Государственное политическое управление), вскорости переименованное в ОГПУ (Объединенное государственное политическое управление по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом). В июне 1934 г., под предлогом того, что период борьбы с контрреволюцией в основном закончен, ОГПУ было преобразовано в самостоятельный комиссариат — НКВД (Народный комиссариат внутренних дел), охвативший управление милицией, паспортный и криминальный отделы, пожарную службу, пограничные войска, контроль над транспортом, ЗАГС и т. д. Ядро же НКВД было выделено в особое управление, так называемое ГУГБ (Главное управление государственной безопасности). В феврале 1941 г. НКВД было разделено на собственно НКВД и НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности); за первым в основном сохранились милицейские функции, тогда как «карающий меч революции» был передан НКГБ. Период раздельного существования длился недолго из-за вспыхнувшей войны, однако, после окончания войны разделение повторилось, причем в марте 1946 г., подобно другим наркоматам, они получили наименование министерств — МВД и МГБ.

Мы не будем останавливаться на дальнейших слияниях и разъединениях этих министерств, поскольку наименования их не дают дальнейших вариантов. Отметим только, что за время существования советской власти, лица, осуществляющие террор правительства над населением, много раз меняли свое название — «чекист», «гепеушник», «энкаведист», «эмведист», «эмгебист»[7], но суть оставалась всё та же.

Всепроникающая деятельность органов государственной безопасности вызвала рождение новых слов и понятий: на каждом предприятии, в каждом учреждении и учебном заведении был свой «спецотдел» или «спецчасть». В армии такой отдел именовался «особым отделом», а во время войны — СМЕРШ'ем (Смерть шпионам):

> Всё это были жертвы доносов, жертвы СМЕРШ'а. (П. Пирогов, За курс! Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952, стр. 174).

[7] Все наименования, кроме первого, употреблялись в неофициальной речи. Последнее же преобразование МГБ в КГБ — Комитет государственной безопасности — пока не дало производного.

Отсюда и названия сотрудников этих отделов: «спецотдельщик», «особняк»:

Если всё это дошло до «особняка», не сдобровать. (Там же, стр. 159).

Почти в каждой советской семье член ее или близкий друг прошел через тюрьмы и «концелагеря» то ли во времена «красного террора», объявленного в 1918 г., якобы в ответ на убийство Урицкого и Володарского и покушения на Ленина, то ли в период страшной «ежовщины» (1936-38 гг.) — еще худшего террора, охватившего все слои населения, проводившегося Н. Ежовым[8] в бытность его народным комиссаром внутренних дел, то ли как мнимый «вредитель» в той или иной области народного хозяйства, то ли как «СОЭ» (социально-опасный элемент). Те, кому посчастливилось выйти из тюрьмы, продолжительное время называвшейся ДОПР'ом (домом принудительных работ)[9] или вернуться из ссылки, являлись носителями специфической лексики, утверждавшейся в быту. Конечно, такая лексика не могла быть зафиксирована в советской литературе, кроме тех случаев, когда темой произведения служила пресловутая «перековка» лагерников (как, например, в «Аристократах» Погодина) и где автор вкраплял словечки из лексикона «социально-близких», т. е. уголовников, именовавшихся так в отличие от «социально-опасных», — политических заключенных.

Н. Виноградов в своей работе «Условный язык заключенных Соловецких лагерей особого назначения» (1927) также ограничился лексикой «у́рок», и только в эмигрантской литературе, в произведениях бывших заключенных, мы находим фиксацию слов, связанных с советскими местами заключения.

Ю. Марголин в своей книге «Путешествие в страну зэ-ка» перечисляет разновидности таких мест заключения и дает название их обитателей:

Отсюда до Белого моря располагались ИТЛ — исправительно-трудовые лагеря НКВД (стр. 10).

...сеть лагпунктов, перпунктов, трудколоний и ОЛП'ов (отдельных лагерных пунктов)... (стр. 22).

...лагерные комплексы, или в официальном сокращении Лаги, имеются в любой области Советского Союза (стр. 21).

Люди, проживающие в лагере, называются заключенными. Техническое и разговорное сокращение «з/к» — читай — зэ-ка (стр. 20).

Насколько привилось это сокращение свидетельствует и приведенная М. Розановым (см. выше, стр. 278) песнь заключенных:

От Усть-Вымь до Ухты проложили
Путь железный мильоны Зе-Ка...

---

[8] См. Розанов, Завоеватели белых пятен, стр. 231:

«Ежов выполнил свою задачу доведения террора до крайних пределов, после чего был «убран». Политбюро ЦК ВКП(б) свалило на него ответственность за безоглядочные (!? — Ф.) репрессии, подсказав народу словечко «ежовщина».

[9] Сюда же примыкают неофициальные названия принудительных работ — «принудиловка» и лица, приговоренного к ним, «принудиловец».

Там же находим и объяснение термина «спецпереселенец» (стр. 93):

Это, видите ли, особая «социально-правовая прослойка трудового советского народа». Весь европейский (а, наверное и азиатский) Север кишит такими «спецпереселенцами», вывезенными с Кавказа, Украины, казачьих областей, из Республики немцев Поволжья.

Одна часть спецпереселенцев состоит на учете НКВД и подчиняется своему коменданту, другая приписана к концлагерям и работает вместе с заключенными, получая самую низкую ставку оплаты.

Конечно, находясь в лагере или работая вне его, заключенные находились под неослабным надзором:

За ними стояли вооруженные: это был ВОХР, т. е. стрелки корпуса «военизированной охраны лагерей». (Марголин, см. выше, стр. 18).

Вохровцы защелкали затворами винтовок... (Максимов, Тайга, 137).

Значительная часть заключенных и спецпереселенцев работала на лесозаготовках, страдая не только от голода, холода и непосильной работы, но и от физических мер воздействия:

Метр десятника и был тот «дрын», воспетый в лагерной поэзии, которым не только отмеривали «уро́к», но и укрощали непокорных. (Розанов, см. выше, 10).

Применяя все, даже самые страшные способы, лагерники старались хоть не надолго попасть в «санчасть», спасти себя от полного изнеможения и истощения:

Я много слышал о «саморубах», но видел впервые. Отрубить себе руку или ногу это значит попытаться спасти жизнь... (Максимов, см. выше, 108).

Большинство же заключенных рано или поздно переходило в трагический разряд «доходяг»:

Шатающиеся от слабости «доходяги», люди, которым оставалось, может быть, всего несколько дней жизни... (Там же, 105).

Я «дошел» на 3-м лагпункте. (Там же, 53).

Как мы видим, глагол «доходить» приобрел новое страшное значение, так же как и глагол «расколоть, -ся»:

«...человек, когда-то пользовавшийся всеобщими любовью и уважением, а теперь, после пыток и нечеловеческих издевательств, «расколовшийся», подписавший страшные самообвинения, оклеветавший десятки честных людей и павший так низко, как только можно пасть, убеждал нас, чтобы как можно скорее вырваться на свободу, не сопротивляясь подписать все, что требуют следователи». (В. Левченко, Молодой советский человек на Западе, Народная Правда, Нью-Йорк, № 13-14, стр. 13).

К ряду старых слов, переосмысленных по новому в связи с деятельностью «органов госбезопасности» прибавилось и приводимое ниже слово:

...заговорили о «подсыпках». Подсыпками у нас называли тех, которых следователи нарочно сажают («подсыпают») в камеры для наблюдения, соглядатайства и провокации. И все мы уверенно считали, что в каждой камере непременно сидит такой «подсыпка»... (Н. Нароков, Рассказ «верного человека», Нов. Рус. Слово, 2 марта 1955).

Зловещее словосочетание «черный ворон» приобрело еще более мрачный смысл. Так стали называть закрытые автомобили, на которых привозили на допрос и увозили обратно в тюрьму арестованных и отправляли на засекреченные кладбища трупы расстрелянных:

Ночью, на «Черном вороне», по глухой лесной дороге отвозили их из подвалов НКВД к заранее вырытым ямам... (Розанов, см. выше, XXIX).

Ю. Марголин отмечает (стр. 278), что «...те самые слова русского языка, которые употреблялись на воле, в лагере значили что-то другое:

На ногах у него «четезэ»: эти буквы значат «Челябинский тракторный завод», т. е. нечто по громоздкости и неуклюжести напоминающее трактор «ЧТЗ» — это лагерная обувь, пошитая без мерки и формы, как вместилище ноги, из резины старых тракторных шин. (Там же, 77).

То же относится и к словам «довесок» — добавочный срок наказания, присовокупленный к первому сроку — и «тяжеловес» — человек, приговоренный к долгосрочному лишению свободы.

Иногда тюремно-лагерный арготизм становится широко употребительным не только среди заключенных:

Ричард Тадеушевич и получил свою «катушку» (десятилетний срок заключения) за упорное стремление печатать свою многотомную работу... (Б. Филиппов, Курочка. Пестрые рассказы, сборник эмигрантской прозы, Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1953).

...советское правосудие раздает направо и налево «полные катушки» — по десяти лет. (Розанов, см. выше, стр. 111).

Все эти слова и выражения являются своеобразными полуэвфемизмами, возникшими в среде жертв режима, но существует и ряд эвфемизмов, сознательно насаждаемых властью для прикрытия террористической сути большевистской системы. Так, в отношении явных сотрудников наркомата или министерства внутренних дел стал применяться эллипсис-эвфемизм — «Он работает в системе (органах)»:

С первого взгляда он вызывал во мне неприязнь, не трудно было догадаться, что он «из органов». (Соловьев, Записки советского военного корреспондента, 251).

«Сексотов» — секретных сотрудников-доносчиков именовали «информаторами» или «осведомителями»:

Сегодня сам Дяков пытается стать «информатором», как официально называют сексотов... (Розанов, см. выше, 193).

Палач-расстрельщик именуется «исполнителем», а для самих актов террора созданы такие «заменители» как «ликвиди-

ровать» (расстрелять), «репрессировать» (арестовать, сослать), а также «изъять», что может означать как одно, так и другое:

Вагон, в котором мы ехали, был построен специально для Мороза, но так как последнего давно «ликвидировали», то вагон перешел по наследству к начальнику Воркуто-Печерского лагеря...» (Розанов, см. выше, 227).

Заменители слова «расстрелять» стали применяться еще со времени гражданской войны. Максимилиан Волошин в своей «Терминологии» дает ряд эвфемизмов именно такого типа:

«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.

Здесь можно найти вульгаризмы, арготизмы и собственно эвфемизмы (два последних)[10]. Выражение к «Духонину в штаб», связанное с тем, что генерал Н. Духонин, сперва начальник штаба «Главковерха», а потом и сам Верховный главнокомандующий, был растерзан солдатами и матросами в декабре 1917 г., было довольно популярно в первые годы Революции. Так поэт А. Прокофьев, переносясь в эпоху гражданской войны, вкладывает это же выражение в уста грозящего расправой атамана:

Награжу тебя тесьмой
Крепкой, холеной.
Ты свезешь мое письмо
В штаб Духонина.
(Простор; Гослитиздат, 1945, стр. 67).

Существуют также эвфемизмы «мирного» характера, якобы восстанавливающие достоинство представителей разных профессий: «разнорабочий» (чернорабочий), «работник прилавка» (приказчик) и т. д.:

— Отчего же вы... избрали профессию торговца?

— «Работника прилавка», вы хотели сказать? — невозмутимо поправил Упеник. — А то ведь до революции торговцами называли собственников прилавка. (Авдеев, Гурты на дорогах, 20).

Некоторое время даже название «оперетта» считалось унижающим достоинство работающих в ней лиц (очевидно, по ассоциации с выражениями: «опереточная певичка», «опереточное правительство», «опереточная форма» и т. д.) и она стала называться «музкомедией». Теперь в СССР наблюдается интенсивное возвращение к старым терминам[11].

---

[10] О подобных эвфемизмах упоминается в статье К. Державина «Борьба классов и партий в языке Великой Французской революции», стр. 54:

«Вместо 'à mort' говорили 'élargissez', 'à l'Abbey', 'à Coblentz'. Обезглавление именовалось термином la détruncation».

[11] За постепенным возвращением в литературный обиход многих изъятых в первый период Революции слов, последовало теоретическое обоснование подобного явления лицемерной ссылкой на якобы нейтральность их (при том, что несколькими годами раньше они клеймились как аттрибуты «классового» общества). Подобную «реабилитацию» изгнанной в свое время терминологии находим у С. Ожегова в его

Если вышеприведенные эвфемизмы являлись якобы облагораживающей словесной оболочкой по сути старых понятий, то были области, обогащение лексики которых оказалось отображением подлинных сдвигов в них, их развития и охвата ими широких масс населения. Здесь мы имеем в виду образование, спорт и медицину. Конечно, и на них легла каинова печать большевистской политизации и сугубой утилитарности.

Всеобщее элементарное образование было необходимо для внедрения в массы основ большевистского учения, черпающего свою убедительность именно из книг, а не из самой жизни. Высшее же образование, в наибольшей степени техническое, требовалось для создания «своих» кадров молодых советских инженеров, педагогов и научных работников, способных заменить старых специалистов и поднять хозяйственный уровень страны, в частности ее военную промышленность. Организованно развиваемый спорт должен охватывать широкие массы, как мероприятие по выращиванию здоровых защитников родины. Развитие медицины, как и спорта, в значительной степени обязано желанию советов воспитать работоспособное и боеспособное поколение, — задача, выраженная в общесоюзном значке ГТО (Готов к труду и обороне).

Общим внутригосударственным стимулом к поощрению образования, спорта и медицины является и демагогическая цель — желание доказать народность и общедоступность этих трех областей повседневной жизни, которыми, по утверждению большевиков, на Западе пользуются только привиллегированные классы.

Не считая множества местных «узких» неологизмов и абревиатур, появившихся в словарях отдельных специальностей, связанных с просвещением, в общий язык вошли, например, следующие слова:

Наркомпрос, наркомпросовец; Работпрос, работпросовец; Наробраз, ОНО (райОНО, горОНО, облОНО); педперсонал, педработник, педсовет; завпед, завуч; учеба[12]; ликбез, ликбез-

---

статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32:

«...условия нашей общественной жизни позволили возродить целый ряд тех старых терминов, которые были нейтральны по смысловым оттенкам по отношению к создавшей их надстройке и которые по своей терминологической четкости (одно слово, а не сочетание) удобно было использовать в условиях социалистической государственности нашего периода («директор», «советник», «министр», «адвокат», «солдат», обозначения различных военных званий и т. п.)...»

12 Небезинтересно привести высказывания Ф. Гладкова по поводу этого слова («О культуре речи», Новый мир, № 6, 1953, стр. 234):

«Наш народ и классики никогда не употребляли вульгарного провинциализма «учёба» (из псковского и воронежского диалекта по Далю)... И хотя это слово по недоразумению распространено (как было с печальной памяти словами «будировать», «довлеть», «пара дней», «использовывать», «хужее») и не гнушаются им даже языковеды, считать его литературной нормой никак нельзя. Благородные слова: «учение», «изучение», «обучение», «просвещение» надо реабилитировать и обеспечить им свое место в литературной речи.

...это дает повод некоторым людям считать «учёбу» неологиз-

ник; всевобуч; дошкольник; юннат; кружковец; трудшкола, профшкола, спецшкола; семилетка, десятилетка; ФЗУ, фабзавуч, фабзавучник; курсант; рабфак, рабфаковец; техникум; вуз; втуз; ФОН; заочное обучение, заочник; академбригада, академзадолженность, академорг, академсектор, академуспеваемость, академчас, академчасть и т. д.; отличник; хвост, хвостист; лектура; научно-исследовательский; научно-технический; учком, школьком; студком; школькоп; школькор, студкор; Пролетстуд и др.

Сюда же примыкают неологизмы, отражающие так называемую политико-просветительную и культурно-массовую работу:

политбой (т. е. вопросы на политические темы и ответы на них, задаваемые и получаемые в процессе соревнования двух партий), политграмота, политминимум, политучеба, политчас и пр.; Пролеткульт; культпроп, культ(просвет)работа; массовик; затейник; беседчик; международник; экскурсовод; музейный городок; парк культуры и отдыха; изба-читальня, избач; красный уголок; передвижка; живгазета, стенгазета; ильичевка; многотиражка и др.

Довольно бедным оказалось новое словотворчество в области музыки, искусства и литературы. Здесь можно найти всего лишь несколько новых слов и фразеологических оборотов:

фестиваль (в частности, кинофестиваль); «малые формы» (театр малых форм; произведения малых форм, т. е. скетч, стихотворение, этюд); зрелищные предприятия; зеленый театр (театр под открытым небом); изо (изобразительные искусства); декада советской музыки, таджикского искусства и пр. (показ достижений в той или иной области); юное дарование; заслуженный артист, заслуженный деятель искусств; народный артист, поэт, художник и т. д.

Стало «модным», говоря о писателях, именовать их «инженерами человеческих душ». Эта метафора появилась в связи с политикой индустриализации страны во время первой пятилетки, когда в массы была «спущена» фраза вождя: «Техника в период реконструкции решает всё», и инженеры стали играть особо видную роль в советском обществе.

Так же, как и в области просвещения, в спортивной терминологии мы находим новые слова и словосочетания, зачастую комбинированные абревиатуры, иностранного (рекордизм, планеризм, спартакиада, кросс, кроссворд, викторина, спортсменка, футболка[13], спортзал, спортклуб, спортинвентарь), смешанного

мом. Какой же это неологизм, если это слово так же старо, как и тот диалект, из которого оно взято и пущено в обиход? Кое-кто оправдывает употребление этого слова как литературную норму тем, что будто бы сам Горький утвердил его в названии журнала «Литературная учеба». Но здесь не место вскрывать историю происхождения этого названия. Горький этого слова не употреблял и не мог употреблять ни в разговоре, ни в произведениях».

[13] Последние два слова означают разные виды спортивных фуфаек, так же как и приводимое ниже слово «майка».

(физзарядка, физкультминутка, физкультпривет, физкульт-ура [спортивное приветствие], спортдвижение, спорткружок, спортплощадка, спортсоревнование и т. д.) и отечественного происхождения (майка, водная станция, утренняя зарядка, болельщик).

Относительно последнего слова следует заметить, что оно свидетельствует о появлении нового типа зрителя при спортивных соревнованиях. Обычно это человек, сам приобщившийся к спорту, и поэтому особенно близко принимающий к сердцу победы и поражения соревнующихся сторон. Значение слова «болельщик» (точно отвечающего американскому сокращению — неологизму «fan»), раскрыто в следующих строках:

За всех и все радельщики
Толпятся у ворот
Московские «болельщики» —
Особенный народ.
По старому «зеваками»
Их звать нельзя никак...

(В. Дыховичный, М. Слободской, Московские «болельщики»; К р о к о д и л, 10 окт. 1951).

Аналогичный процесс скрещивания русских и иностранных лексических элементов наблюдается и в области медицины, где слова такого порядка, как «ветврач, дезобработка, медосмотр, медпомощь, медработник, медсестра, санобработка, санпропускник, санчасть» и т. д., т. е. содержащие сокращение иностранного слова + русское слово, встречаются наряду со словами, составленными из чисто-иностранных (дезкамера, медкабинет, медперсонал, медпункт, санэпид, тубдиспансер и пр.)[14] или чисто-отечественных элементов (главврач, горздрав, здравотдел, лекпом, охаматдет, охматмлад и т. д.).

Что касается несокращенных слов, словосочетаний и фразеологических оборотов, то они вошли в язык лишь в небольшом количестве: здравница, дом отдыха, кузница здоровья, оздоровительная кампания, декретный отпуск (т. е. отпуск, полагающийся женщине до и после родов) и др. Упомянем, наконец, новый глагол, употребляемый также и в возвратной форме, и являющийся эллипсисом целой фразы — «находиться в отпуску по болезни, получить бюллетень по болезни»:

— Он не так здоров. Бюллетенит.

— Что такое?

— Простыл. Ангина. (В. Панова. Времена года, 297).

— Да ты скажи Егорову, он тебя отпустит, а бюллетениться глупо. (И. Эренбург, Оттепель, 18).

Довольно богатой новообразованиями оказалась область общественно-производственная, имеющая в СССР огромный удельный вес и следующая по объему и значению сейчас же за политической. В советский быт прочно вошли слова — наименования представителей производственных групп: «ИТС» (инженерно-технические силы), «ИТР» (инженерно-технические работники), «итеэры», «производственник», «хозяйственник», «плано-

[14] Конечно, мы не имеем здесь в виду медицинской терминологии, почти полностью построенной на латыни.

вик», «снабженец», «нормировщик», «рационализатор», «безотрывник», «многостаночник»; должностей: «прораб», «технорук»; отделов, ранее не существовавших: «ТНБ» (тарифно-нормировочное бюро), «БРИЗ» (бюро рабочего изобретательства); профсоюзных организаций: «местком», «(фаб)завком», «рабочком»; понятий или предметов, тем или иным образом связанных с производством: «непрерывка», «политехнизация», «комбинат», «прозодежда», «спецодежда» («спецовка») и т. д.

Сюда же следует отнести и такое слово, как «смежник», т. е. завод, изготовляющий какие-либо детали, необходимые для продукции данного предприятия:

> ...прилетели толкачи
> на заводы-смежники.
>
> (А. Сурков, «Дело в гору не пойдет, если смежник подведет», П р а в д а, 29 марта 1941).

Не менее богатой оказалась и фразеология, связанная с этой областью: «бюджет времени», «довоенный уровень», «контрольная цифра», «летучее собрание», «летучий митинг», «межзаводское (межцеховое) соревнование», «многоагрегатное обслуживание», «общественная нагрузка (работа)», «общественное питание, порицание», «овладение техникой», «освоить производство», «перекрыть норму», «переходное знамя», «повышение квалификации», «проверка рублем», «рабочий от станка», «режим экономии», «сквозная бригада», «скоростная стройка», «спаренная езда», «стахановские темпы», «трудовая перекличка».

Однако, официальная фразеология, отвечающая якобы положительным сторонам советской жизни: «высокая активность», «Герой социалистического труда», «заслуженный деятель науки и техники», «знатные люди страны», «мастера высоких урожаев», «передовики сельского хозяйства», «почетный железнодорожник», «слет передовиков», «ударник учебы, производства», «образцово-показательный», «красная доска (доска почета)», оказалась беднее фразеологии, свидетельствующей о «вечных пороках» большевистской системы: «безинициативность и разгильдяйство», «бесхоз(яйствен)ные дома», «бумажная волокита», «дефицитный товар», «зажим самокритики», «ликвидаторские настроения», «объективные обстоятельства» (объяснение производственных неудач неблагоприятными условиями), «примиренчество и самоуспокоенность», «принудительный ассортимент», «разбазаривание народного (государственного, колхозного и т. д.) имущества», «расхититель общественной (социалистической) собственности», «срыв плана», «торговый голод», «трудности роста», «тянуть волынку», «узкое место», «черная доска», и т. д.

Многочисленные неполадки советского производства создали и соответствующую лексику: «самотек», «уравниловка», «обезличка», «текучка», «срывщик», «бракодел», «предельщик», «летун,‿ство», «спецеед,‿ство», «штурмовщина» и пр.

Последнее слово имеет как бы свою эволюцию. Происходит оно, конечно, от слова «штурм», что должно было метафорически обозначать напряжение всех сил данного предприятия с целью

своевременного выполнения правительственного плана (часто еще «штурм прорыва»). Так как практика подобных штурмов показала их несостоятельность, то увлечение ими стало презрительно именоваться «штурмовщиной».

Со временем появилась модификация штурма, главным образом в горной промышленности, так называемый ДПД — «день повышенной добычи», когда все рабочие и служащие какой-либо шахты спускаются под землю для «выравнивания выполнения плана». По сути остаются те же методы, та же неэффективность, так как однодневное вовлечение неспециалистов в незнакомый им производственный процесс вызывает необходимость позже затрачивать много времени и труда для исправления допущенных ими ошибок.

О том, что под новым и якобы положительным наименованием скрывается всё то же старое отрицательное явление, проговорились «Известия» (11 янв. 1945):

> ...Раньше такой стиль именовался штурмовщиной. Теперь ему дали иное название: ДПД — день повышенной добычи.

При постоянной нехватке материалов в СССР, доводящей до отчаяния инженеров и техников-прорабов, которым невыполнение плана грозит зачислением в категорию «вредителей» со всеми вытекающими отсюда последствиями, ничуть не удивительно, что «ОТС» (отдел технического снабжения) неофициально расшифровывается как «отдел, тормозящий строительство» (В. Ажаев, «Далеко от Москвы», Новый Мир, № 7, 1948).

Показателен и ряд слов с отрицательной частицей «не» (или «недо»): неподача (вагонов, воды, лесоматериалов), недовыполнение (плана, программы), недовыпуск (продукции), недовыработка (изделий, деталей), недоработанность (доклада), недопонимание (вопроса, задачи) и т. п.

Яркой иллюстрацией наводнения речи советского человека словами с отрицательной приставкой «недо...» может служить отрывок из сатирического стихотворения В. Дыховичного и М. Слободского — «Семен Данилыч Петухов», помещенного в журнале Крокодил, № 7, 1950:

...И где б ни ждал его провал,
Он тут же песню запевал:
— Я каюсь!...
— Я недоучел!...
— Я недопонял!...
— Я не дошел!...
— Недонажал!...
— Недотянул!...
— Недоглядел!...
— Недовернул!...
— Недопродумал!...
— Недовскрыл!...
— Я недопереоценил!...
— Я недо... то... Я недо... се...
— Я закругляюсь![15]
Точка.
Всё.

---

[15] Попутно упомянем, что слово «закругляться» в смысле «заканчивать» весьма часто фигурирует в речи советских людей. В качестве

Следует отметить, что слово «неувязка», столь широко употребляемое в советском речевом обиходе, существовало и до Революции, но только как технический термин в чертежном деле.

* * * *

Если в начале Революции столбовой дорогой развития языка была его вольная или невольная политизация, то со временем основным двигателем лексики стала ее технизация. До Революции техницизмы почти не проникали в общий язык, так как ни пресса, ни художественная литература не уделяли большого внимания показу деталей трудовых процессов. По этому поводу мы находим правильное замечание проф. Л. Булаховского в его книге «Курс русского литературного языка» (стр. 54):

> «В беллетристику терминологическая лексика до Октября проникала относительно редко. Ей надо было учиться, и это отпугивало от нее читателя; ее надо было объяснять, и на это не с большой охотой шел автор».

Наш век проходит под знаком развития таких отраслей техники, как авиация, кино и радио, а потому их профессиональные языки больше всего обогатились за последнее время и дали общему языку новое «питание».

Большую роль в развитии кино при советах сыграл не только прогресс техники, но и художественная специфика самого кино, по выражению Ленина, «важнейшего из искусств», наиболее эффективного в агитационном воздействии на массы. Отсюда огромные средства, отпускаемые на развитие кинопромышленности, — «кинофикацию» страны (термин, созданный параллельно «электрификации»).

Громоздкое слово «кинематограф» вытесняется кратким, но зато объемным словом «кино» (мы идем в кино, это возможно только в кино, он снимается в кино и т. д.). «Кино» становится постоянным элементом очень многих связанных с ним слов.

Без составного элемента «кино» в общий язык входит ряд слов: полнометражный, короткометражный, короткометражка, узкопленочный, звуковой (фильм), озвученный, мультипликат.

Вне связи с самим кино начинают употребляться слова: трюк, трюкачество, юпитер и фотогеничный.

Наконец, самой продуктивной в своем словотворчестве оказалась радиотехника, в лексике которой, как в зеркале, отразилась на небольшом промежутке времени обычно растягивающая-

---

примера приведем строки из одной только повести В. Некрасова «В родном городе», напечатанной в «Новом Мире» (№№ 10, 11 за 1954 г.):

> — Пей свое пиво и закругляйся.
> Парень, торопливо допив свою кружку, ушел.
>
> Сененко с трудом оторвал его от этого занятия.
> — Закругляйся, друг. Девятый час уже.
>
> Минут двадцать все сидели, разговаривая преимущественно о погоде — зима, мол, закругляется... через недельку можно будет уже и без пальто ходить.

ся на десятилетия эволюция языковых заимствований, местных переработок, скрещений и борьбы слов, теперь употребляющихся повседневно в прямом или переносном смысле. Исследование этого момента в советском языке очень удачно сделано Л. Боровым в его статьях «Новые слова»:

«Радио вошло окончательно в нашу личную жизнь уже после гражданской войны, в двадцатых годах. Оно принадлежит целиком советской эпохе, советскому обществу, росло и самоопределялось с нами.

Появилось слово «вещание» — великолепный пример второй жизни слова. Сначала говорили и писали «широковещание», по аналогии с английским «broadcasting»; потом «широко», отпало, возникло «радиовещание». Затем и слово «радио» в этом сочетании стало отпадать — лучшее доказательство уже очень большой прочности ассоциаций. Радиовещание стало просто вещанием, радиоприемник — приемником, радиопередача — передачей, а радиоволна — волной.

Утвердились и прочно вошли в язык термины радиотехники, по преимуществу иностранные: детектор, антенна, экран, «рекорд», фейдинги, диктор — это первое поколение (многие из них, как, например, детектор, уже успели умереть); затем — адаптер, динамик, кенотрон, супергетеродин или просто «супер» и т. д. Словарь радиотерминов, широко применяемых в общем языке, насчитывает уже две-три сотни названий (? Ф.). Одновременно утвердились новые русские (или старые в новом значении) слова и выражения, связанные с радио: приемник, громкоговоритель, всеволновый, коротковолновик, «земля», звучание, настройка, позывные, полное питание, перекличка, помехи, смотр по радио, поймать Милан, сидеть на коротких волнах, говорит и показывает Москва... как правило эти новые русские слова очень удачны: телефония и телеграфия в свое время с трудом подыскивали себе хорошие русские слова — они и сейчас остаются в гораздо большей зависимости от иностранных слов.

Эти радиослова постепенно стали применяться и вне сферы радио, в переносном смысле. Несомненно под влиянием радио получило такое широкое применение слово «звучание» и в политическом и в разговорном, и даже в «уличном» языке:

...тема огромного звучания...
...придать новое звучание...
...это не звучит.

Переносный смысл получил и фейдинг — мы говорим теперь о фейдингах в экономической жизни Англии или Америки, о фейдингах у оперного певца, даже о фейдингах, перебоях, разрядах в личных отношениях...» (Красная Новь, № 1, 1940, стр. 187).

Добавим, что не только в живой речи, но и в беллетристике, и даже в критическом разборе литературного произведения, мы наблюдаем теперь применение, так сказать, радио-лексики[16]:

[16] В последние годы, в связи с относительным развитием автомо-

— «Он красивый, интеллигентный», — думала она, настраивая себя на эту волну, которая называлась любовь и замужество. (Панова, Ясный берег, 154).

Его зычная ругань звучала на участках, и в горячке на нее не обижались, а только посмеивались:

— Включился наш громкоговоритель! (Кетлинская, Дни нашей жизни; Ленинград, Советский писатель, 1953, стр. 294).

Роман вдруг перестает быть «заземленным» в жизнь, в действительность. (Литературная Газета, 17 ноября 1948).

Некоторые вновь образованные очень конкретные слова «встретились в языке с давно существующими однозвучными словами, которые прежде применялись только метафорически. Это особенно заметно в сфере терминов авиации, радио или кино. Таковы, например, глаголы «облетать», «налетать». Сравним: «налетел на забор и расшиб себе лоб» и современное, очень строгое: «налетал сто часов». «Андрюша, слетаем» («Блоха» по Лескову) и какое-нибудь очень деловое: «Слетаем, Андрюша, в Москву». (Сюда же можно отнести и удачную метафору — «спор набирает высоту» — Ф.) «Слет ударников» — совсем недавно возникшее словосочетание, которое сейчас уже может иметь очень прямой смысл: не съезд, а слет; «садиться на волну», или даже шутливое — «на короткой волне со всем миром», «эфир» — не надзвездный, а очень конкретный радиоэфир с помехами, фоном, разрядами и т. д., «настроиться» — также не «психология», а радио...» (Л. Боровой, «Новые слова», Красная Новь, № 4, 1939, стр. 180).

Из-за того, что темпы современной жизни ускоряются и многие процессы в ней, в том числе и языковый, конденсируются, нам гораздо легче наблюдать за развитием языка. Остановимся хотя бы на слове «волна», уместно цитируемом Боровым. Оно взято из общего языка, применено в узко-технической сфере, где получило соответствующую окраску, и с ней вернулось опять в общий язык («на короткой волне со всем миром» — очевидно, по аналогии с выражением «на короткой ноге»...).

В журнале «Крокодил» с конца сороковых годов появилась даже специальная рубрика «На короткой волне», содержащая краткие ядовитые сообщения о тех или иных событиях на Западе.

* * * *

Особо следует остановиться на так называемых диалектизмах в советском языке. Конечно, нельзя не признать, что процесс

бильного транспорта в СССР, в литературный язык все чаще проникают и соответствующие образы:

...к дядюшке забегал изредка — заправиться домашними пирогами. (Л. Ленч, Дорогие гости, 11).

Но... не сработал какой-то винтик в мозгу, отказало «зажигание», — и вот твой творческий мотор заглох. (Там же, 58).

объединения города и деревни повел к проникновению в общий язык целого потока слов, носящих чисто местный характер. Однако, нельзя и согласиться с акад. С. Обнорским, утверждавшим в своих «Заметках о культуре речи» (Известия, 23 июня 1940), что «наиболее сильным было вкрапление в литературный язык диалектной речи», хотя, действительно, целый ряд писателей, избравших темой своих произведений жизнь деревни (Е. Пермитин — «Капкан», «Когти», «Враг», Ф. Панферов — «Бруски», Н. Кочин — «Девки», и др.) нарочито щеголяли локализмами, часто злоупотребляя ими.

В широкий речевой обиход слова эти не проникали, оставаясь достоянием самих авторов, хотя Панферов и заявлял: — «Я всё-таки за то, чтобы писатели тащили эти слова в литературу. Я ставлю вопрос так, что если из 100 слов останется пять хороших, а девяносто пять будут плохими, и то хорошо...» (Вечерняя Москва, 19 янв. 1934)[17]. Это заявление вызвало резкий отпор М. Горького, подчеркивавшего, что: «...Местные речения, «провинциализмы», очень редко обогащают литературный язык, чаще засоряют его, вводя непонятные слова». («О литературе», стр. 124).

> «И действительно, — протестовал в другом месте М. Горький, — если в Дмитровском уезде употребляется слово «хрындуги», так ведь не обязательно, чтоб население остальных 800 уездов понимало, что значит это слово... У нас в каждой губернии и даже во многих уездах есть свои «говора», свои слова, но литератор должен писать по русски, а не по вятски, не по балахонски». (Там же, стр. 284).

Предостерегая начинающих писателей от увлечения «хламом вроде таких бессмысленных словечек, как «подъялдыкивать», «базынить», «скукожиться» и т. д.» Горький с возмущением отмечал:

> «Вот в книжке Нитобурга «Немецкая слобода» я встречаю такие уродливые словечки: «скокулязило», «вычикурдывать», «ожгнуть», «небо забураманило» и т. д., встречаю такие фразы, как, например, «Белевесный был. Гогона, крикун, бабник, одно слово: брянский ворокоса безуенный...»
>
> Вот у Пермитина в книге «Враг» читаю такие же дикие словечки: «дюзнул», «скобыской», «кильчак тебе промежду ягодиц», «саймон напрочь под корешок отляшил», «ты от меня не усикнешь», «как нинабудь»...
>
> Можно привести еще десяток книг, — все «продукция» текущего года (1934 — Ф.), — наполненных такой чепухой, таким явным, а иногда кажется, злостным издевательством над языком и над читателем». (Там же, стр. 136).

Обобщая вопрос о диалектизмах, высказался и В. Жирмунский в специально посвященной этой теме книге «Национальный язык и социальные диалекты» (Ленинград, 1936, стр. 70):

---

[17] В издании 1947 г. Ф. Панферов убрал слово «скукожился», вместо «и село базынило» написал «и село горланило», вместо «Ну, пыжжай, пыжжай!» — «Ну, валяй, валяй!» и пр., значительно очистив «Бруски» от областных выражений.

«Литературный язык наводняется без нужды элементами, особенностями местных говоров, профессиональных и групповых диалектов и жаргонов и т. п., свойственных языковому сознанию пишущего, но чуждых общелитературному языку».

Впрочем, это явление имело и теоретическое обоснование со стороны ведущей в то время лингвистической школы акад. Н. Марра, стремившегося переставить русский язык «низом вверх» и призывавшего к охвату «прежде всего речи так называвшихся народных низов, крестьян и широких масс» («Избранные работы», т. II, стр. 24).

Существовавшее в то время положение с засилием диалектизмов позже было справедливо охарактеризовано, в унисон с более ранними высказываниями М. Горького, В. Жирмунского и др., Е. Сурковым (не путать с поэтом А. Сурковым!) в его статье «Вопросы языкознания и советская литература» (Новый Мир, № 1, 1951):

«Стремление перенести в литературу местные говоры — «язык кубанской, сибирской и т. д. деревни» или «оживить» литературу жаргоном одесского люмпен-пролетариата... были следствием искусственной установки на создание особого языка, принципиально-отличного от языка классиков и являющего собой ни что иное, как перенесение в литературу диалектов и жаргонов, принятых в некоторых местностях, в ущерб общенациональному литературному русскому языку. Многим это казалось тогда архиреволюционным» (стр. 220).

Е. Сурков попутно указывает, что язык классиков «объявлялся устаревшим, социально-изжившим себя» и что конструктивисты — в те годы наиболее влиятельная группа литераторов — провозгласили жаргон основным языковым материалом:

«Ближайшее будущее литературы, — решительно объявлял в программном теоретическом документе конструктивистов К. Зелинский, — введение жаргонов (местных, национальных, научных, профессиональных и т. д.) как средства смыслового уплотнения, следовательно увеличения конструктивного эффекта...»

На поверку же оказалось, что из жаргонов попал в литературу главным образом одесский «блат»[18].

Однако, введение провинциализмов и профессиональных жаргонизмов отнюдь не является особенностью русского языка советского периода. Ими пользовались не только писатели-народ-

---

[18] О некоторой дифференциации «блатных» элементов, сосуществовании локальных и, так сказать, «интернационально»-одесских арготизмов говорит Е. Поливанов (За марксистское языкознание, стр. 154):

«...когда мы можем локализовать (т. е. связать с известной территорией) процесс становления блатного термина, мы наталкиваемся на то, что термин этот имеет только местное распространение. А в качестве родины для таких «общеблатных» терминов, как «фрайер», «плашкет» и т. п. более вероятно будет предполагать наиболее крупный из интернациональных (особенно в социальных низах своих) городских центров, каким именно и является Одесса».

ники, но и классики — подлинные творцы русского литературного языка; следовательно, вопрос только в качестве и количестве таких слов, вносимых в общую речь и литературу.

Проблема чистоты языка и участия в нем простонародных элементов рассматривалась в России в разные времена и разными группами ученых по-разному. Так, например, Словарь Академии Российской, начатый изданием в 1789 году, своей задачей полагал «отделить слова в сообществе токмо благородных людей слышимые, от слов, между простонародьем токмо употребительных». Но более чем через столетие в «Предисловии» к новому изданию того же академического Словаря, акад. А. Шахматов открыто заявлял, что великие русские писатели «свободно, хотя и с выбором, включали народные, даже областные слова в стиль авторского повествования».

Эту же мысль позже подтвердил и Максим Горький, говоря, что «начиная с Пушкина, наши классики отобрали из речевого хаоса наиболее точные, яркие, веские слова и создали тот «великий прекрасный язык», служить дальнейшему развитию которого Тургенев умолял Льва Толстого». («О литературе», стр. 141).

В том же сборнике, ниже, находим конкретизацию положения с диалектизмами: «...И вообще скромные няньки, кучера, рыбаки, деревенские охотники и прочие люди тяжелой жизни определенно влияли на развитие литературного языка, но литераторы из стихийного потока речевого бытового языка произвели строжайший отбор наиболее точных, метких и наиболее осмысленных слов. Литераторы наших дней крайне плохо понимают необходимость такого отбора, и это резко понижает качество их произведений». (Там же, стр. 296).

В сб. «Язык газеты» (под ред. Н. Кондакова, стр. 157) правильно отмечается, что:

> «Обогащению литературного языка словами диалектов, и в особенности просторечия, способствовали многие писатели. В частности, Ломоносов на протяжении всей своей научной и литературной деятельности укреплял этим путем народную основу литературного языка».

Конечно, чувство меры дано только действительно великим писателям. Так, акад. А. Орлов в своей книге «Язык русских писателей» указывает на то, что «с особой смелостью вводил просторечия даже в торжественные формы Державин» (стр. 37); к подобному стремился и Сумароков, но был при этом «неэстетичен и вульгарен в самом худшем смысле слова» (например, «сертят», «встюрила» и «врютился», стр. 67). В той же книге акад. Орлов говорит о чудесном сплаве книжного языка с народным у Пушкина:

> «Здесь (в «Евгении Онегине» — Ф.) заговорили своим языком и современные автору персонажи, здесь Пушкин показал характерность разных диалектов тогдашнего общества, начиная с большого света, до помещичьего уезда и деревни. Здесь нашла себе выражение «национальность» языка в самом широком ее значении» (стр. 49) —

В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей.
(Один из рукописных вариантов VIII-ой гл. «Е. О.»)[19].

Если справедливо замечание акад. Орлова, что «создавая русский литературный язык, Пушкин основал его на всем богатстве социальных диалектов русского общества», то следует добавить, что этот язык в большой степени явился конгломератом не только диалектизмов социальных, но и территориальных (областных и локальных), а также и профессиональных. Это засвидетельствовано убедительными примерами акад. В. Виноградова, в его брошюре «Великий русский язык» (стр. 78):

«Ведь такие привычные общелитературные слова, как земляника, клубника, паук, цапля, пахарь, вспашка, верховье, задор... улыбаться, хилый, напускной, назойливый, огорошить, чепуха, чушь, очень, прикорнуть... и т. п. по своему происхождению являются областными и некоторые из них профессиональными народными выражениями».

После Пушкина над мудрым введением диалектизмов в литературную речь поработали и поэты (Крылов, Кольцов, Никитин, Некрасов и др.) и писатели — прозаики и драматурги (Помяловский, Островский, Толстой, Лесков и др.). Проф. Г. Винокур в своем историческом очерке «Русский язык» (стр. 161) замечает:

«Крестьяне в произведениях Толстого говорят точным языком деревни — в той мере, в какой это вообще возможно и допустимо в печатном литературном произведении, но в то же время тактично, — т. е. Толстой не превращает свои произведения в этнографическую выставку».

Не менее тактичен был и Лесков, который либо допускал диалектизмы, своей образностью и самим контекстом раскрывавшие заложенный в них смысл, либо давал их расшифровку в особом примечании.

Осуждая чрезмерное увлечение некоторых писателей диалектизмами и ссылаясь на Некрасова, стремившегося очистить русскую песню от архаизмов и местных речений, К. Чуковский в своей статье «О чувстве соразмерности и сообразности» (Литературная Газета № 26, от 3 марта 1951 г.) всё же подчеркивает:

«Отвергать то или иное меткое слово лишь потому, что оно не усвоено всей массой народа, писателям, конечно, не

---

[19] Лишнее подтверждение истинной народности пушкинского языка находим в словах знаменитого славянофила П. Киреевского, сказанных не менее известному русскому филологу и фольклористу Ф. Буслаеву:

«Вот эту пачку (народных песен — Ф.) дал мне сам Пушкин и при этом сказал: 'Когда-нибудь, от нечего делать, разберите-ка, которые поет народ и которые смастерил я сам...'. И сколько я ни старался разгадать эту загадку — никак не могу сладить. Когда мое собрание будет напечатано, песни Пушкина пойдут за народные». (Ф. Буслаев, Мои воспоминания, Вестник Европы, 1891).

приходится. Большой писатель обладает могучей властью вывести иное захолустное или редкое слово из его узких пределов и ввести его во всенародный обиход».

Итак, русский язык, как мы видим, в процессе своего литературного становления постоянно ассимилирует диалектальные (как социальные и профессиональные, так и территориальные) элементы. Но в разные периоды в русском языке господствует какой-нибудь один из этих типов диалектизмов. Оговоримся, что резкой грани между ними нет, так как, например, говор той или иной деревни не может рассматриваться как только локализм, но является одновременно и элементом крестьянского социального диалекта.

Упоминавшийся выше поток локализмов в произведениях советских писателей наблюдался, главным образом, до конца 30-х годов. В дальнейшем местные речения крестьянского языка стали вытесняться территориально-нивеллирующей «спущенной сверху» лексикой, характерной для нового коллективизированного села.

В согласии с этой линией языковой политики в советской литературе Ф. Гладков в 1953 году заявил в своей статье «О культуре речи», что:

> «Нельзя оправдывать областных диалектных говоров среди интеллигентных людей и литераторов ссылкой на то, что люди эти выросли и учились где-то на юге или на западе. Законы русского произношения и русская грамматика должны быть общеобязательной нормой для всех...
>
> Для литераторов прошло время стилизации областных говоров в своих книгах». (Новый мир, № 6, стр. 237).

Всё же введение диалектизмов присуще общему языку, как разговорному, так и литературному различных периодов. Говоря именно о русском послереволюционном языке, следует отметить постепенную потерю удельного веса в общем языке локализмами и приобретение его профессионализмами, конкурирующими, пожалуй, только с варваризмами, вернее интернационализмами, так тесно связанными с политической терминологией и отчасти с техникой.

Специфика советской системы, при которой широкие слои населения «бережно» ограждаются от влияния Запада, от подлинного и объективного знакомства с ним, с его положительными чертами и достижениями, приводит к тому, что СССР варится в собственном соку. Правительство, без конца повторяющее, что «труд — дело чести, доблести и геройства» (Сталин), стремится привить советскому гражданину интерес ко всевозможным проявлениям этого труда, облеченного социалистическим пафосом. Газеты и журналы заполняются приказами, сводками, репортажами о количестве свиноматок, выращенных за такой-то период, в таком-то колхозе, такими-то свинарками; о ходе ремонта тракторов в такой-то области; о подготовке к зяблевой вспашке по республикам; о литраже молока, выдоенного доярками какой-нибудь неизвестной МТФ; о весенней путине; о продукции шарикоподшипникового завода; о соревновании по угледобыче.

В последние годы газеты запестрели узко-профессиональными, непонятными широкому читателю обозначениями, отражающими процесс, который может быть охарактеризован следующим образом: переживающая духовный застой, лишенная возможности развивать не только критически, но и просто правдиво социальные и политические темы советская пресса «ударилась» в своего рода производственный натурализм. Копание в мелких производственных моментах, придание незначительным частным событиям всесоюзного значения стали обычным делом советских газет, в том числе даже и «Литературной Газеты» (!). Так, например, в последней за 26 января 1949 года мы находим:

знатный фуркист (работающий на машине Фурко для вытягивания стеклянной ленты),

стерженщица (работница, изготовляющая масляные фильтры на автозаводе) и т. д.

На первой странице новогоднего номера «Известий» (1948) находим сообщение о том, что «...одновременно с домной введены в строй турбовоздуходувка, газоочистка, разливочная машина и коксоподача».

Но надо признать, что в процессе такого часто неоправданного введения терминов «узких» профессий в общую жизнь страны, в язык всё же входят не только метафорически-воспринятые техницизмы, но и целые группы слов и выражений, становящихся, таким образом, одним из факторов обогащения общей лексики. Многие трудовые процессы и их техническая специфика раскрываются широкой публике через периодическую литературу, общеобразовательные лекции, кинохронику. Таким образом, общеизвестными стали:

из сельского хозяйства — скирдование[20], яровизация...

из тяжелой промышленности — каупер, блюминг, выдать плавку, задуть доменную печь[21]...

из нефтепромышленности — крекинг, нефтепровод...

из угледобывающей промышленности — на-гора, выход добычи на отбойный молоток...

из железнодорожного дела — оборачиваемость вагонов, спаренная езда, сквозная бригада...

из области торговли — завозить (в значении «доставлять»), завозчик, затоваривать...

О двойном процессе — исчезновении сугубо локальных профессионализмов, отображавших моменты дореволюционного производства, с одной стороны, и введении в литературный язык, локализмов, оказавшихся нужными и полезными, с другой, сви-

[20] Интересно отметить, что вхождению данного глагола в литературный язык сопутствовал или, вернее, непосредственно предшествовал процесс внутреннего обобщения, о чем говорит в своей статье Ф. Филин («Новое в лексике колхозной деревни», стр. 144):

«...В 1935 г. слово с к и р д о в а т ь стало обозначать не только складывать скирд, но и копну, стог, омет, кладушку и т. п., вне зависимости от формы складываемого материала».

[21] В данном техницизме находим не доосмысление обычного для языка слова «задуть» (потушить — «она задула свечу»), а прямо противоположный смысл: здесь «задуть» значит «разжечь».

детельствует и советский лингвист С. Ожегов («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 29-30):

«Исчезает старая производственная, очень дифференциированная по говорам, крестьянская терминология в связи с коренным изменением техники и форм колхозного производства и последовательно заменяется единой для всего языка новой производственной терминологией... Словарный состав территориальных диалектов постепенно идет к слиянию со словарным составом общенародного языка... Обогащение терминологии идет или путем усвоения готовых слов, например: «огрех» — место на пашне, оставшееся по оплошности не запаханным или не засеянным (теперь появилось и переносное значение — оплошность, недоделка), «путина», или путем создания производных слов на основе диалектных, напр.: «пропашные культуры» (из областных слов «пропашка», «пропашек»), «теребильщик» (от областного глагола «теребить» лен)».

Дальше С. Ожегов говорит об удельном весе профессионализмов в общем языке:

«По своей значимости для общенародного языка и по характеру состав слов этого рода (профессиональной речи — Ф.) очень многообразен. Здесь и новые производственные слова («высотник», «скоростник», «распиловка») и старые слова с обобщенным значением («гулять» в значении быть свободным в свой выходной день, «отгул» — отдых от работы в возмещение излишне переработанного времени)». (Там же, стр. 31).

Из позднейших наблюдений над развитием территориальных диалектов (преимущественно крестьянских говоров) и их взаимодействия с литературным языком можно вывести заключение, что среди подобных диалектов очень быстро усиливается тенденция интегрирования терминов, несмотря даже на приятие в свое время некоторых из них в общий язык. Так, напр., Ф. Филин («Новое в лексике колхозной деревни», стр. 143) говорит:

«...Казалось слово з е л е н я́ должно было бы остаться в речевом обиходе колхозников, поскольку оно является литературным термином. Но и это слово быстро выходит из употребления. Почему? Жизнь создала потребность в общем термине для всех зерновых культур (и не только зерновых). Этим общим термином стало слово в с х о д ы, частными же оказались — в с х о д ы р ж и, в с х о д ы о в с а, в с х о д ы к л е в е р а и т. д.»

Аналогичное произошло и со словом г у м н о́, превратившимся в «молотильный сарай», с подобным ему терминологическим рядом «кормовой сарай», «инвентарный сарай», «пожарный сарай» и т. п.

Кроме внутренней лексической перестройки диалектов, наблюдается и сильная ассимиляция последними общеязыковых слов, при всё более и более ослабевающем обратном влиянии — диалектов на общий язык.

К данной же теме, и даже в большей степени, относятся ранее упоминавшиеся нами термины радио и авиации, не только ставшие широко известными за пределами их специального употребления, но и применяющиеся теперь фигурально в общем языке.

Случаи перехода слов из узкого обихода в общий язык не являются чем-то специфичным для русского языка советского периода. Они встречались и раньше (см. выше замечания В. Виноградова), а также характерны и для других языков, в частности, скажем, немецкого, где многие общелитературные слова вышли из профессиональных диалектов: spüren (следить, чуять) — от охотничьего жаргонизма «чуять след»; fördern (способствовать) — от шахтерского жаргонизма «поднимать добычу из шахты» и т. п.

Следовательно, речь должна итти не о возникновении новых методов распространения слов, а об интенсификации вышеупомянутых процессов в русском языке советского периода.

В то время, как диалектизмы, принятые в общий язык, можно рассматривать как «внутренние» заимствования, варваризмы, прививающиеся в этом языке, могут быть названы «внешними» заимствованиями. Но и здесь классификация оказывается очень сложной, так как слова часто являются одновременно и варваризмами и профессионализмами, как «крекинг», «утиль» и другие. Производные от них свидетельствуют о прочной руссификации данной лексемы: крекингование, утильный. Иногда, как и в других областях лексики, техницизмы образуются при помощи новых комбинаций уже имевшихся раньше в языке компонентов: копируч ет, электровоз, светофор и т. д.

Производные от слов иностранного происхождения и комбинации заимствованных и исконных элементов явились следствием того, что подобная терминология в большой степени стала компетенцией широких народных масс.

К сожалению, наряду с полезными элементами в язык вторглись и неоправданные варваризмы, преимущественно политического характера, и узкие провинциализмы, и дотоле не вхожая в литературный язык брань, и, наконец, «блатные» словечки. Бесспорно, подобные элементы не могли оказаться движущими силами языка. Об этом образно говорит В. Гофман в своей книге «Язык литературы», стр. 57:

> «Весь процесс перестройки и обогащения языка связан с колебаниями и брожением. Это не гладкий, не механический процесс. От неумелого обращения язык портится и засоряется. На стройке валяются кучи мусора, которых не успели вывезти. Надо уметь отличать мусор от строительных материалов. Нельзя смешивать обогащение языка с его засорением. Опасность засорения — оборотная сторона широкого движения языка».

Почти через четверть века после Гофмана на аналогичную тему высказался видный советский писатель К. Паустовский, отметивший в своей статье «Поэзия прозы» (З н а м я, 1953, № 9, стр. 175):

«...сейчас в русском языке идет двоякий процесс: законного и быстрого обогащения языка за счет новых форм жизни и новых понятий, и рядом с этим заметно обеднение, или, вернее, засорение, языка.

Наш прекрасный звучный, гибкий язык лишают красок, образности, выразительности, приближают его к языку бюрократических канцелярий или к языку пресловутого телеграфиста Ять.

Каковы же признаки обедненного языка? Прежде всего засилие иностранщины. Надо наконец, решительно убрать из русского языка все эти «дезавуирования», «нормативы», «ассортименты» и всё прочее в этом роде.

Недавно в автобусе я услышал такую чудовищную фразу:

— По линии выработки продукции наше метизовое предприятие ориентируется на завышение качественных показателей и нормативов.

Что это за косноязычная галиматья! Слушая ее, я подумал: не для того жили и писали на изумительном русском языке Пушкин и Лев Толстой, Горький и Чехов, чтобы их потомки утратили чувство языка и позволяли себе говорить на этой тошнотворной и мертвой мешанине из плохо переваренной иностранщины и языка протоколистов...»

Так, протестуя против обедненного и засоренного языка советского человека, ревнители родного слова следуют примеру В. М. Протопопова, выступившего еще в 1786 году в Академии Российской с речью: — «Разсужденіе о вычищеніи, удобреніи и обогащеніи россійскаго языка».

IV. ЭТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В СОВЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Русский ученый Надеждин имел полное основание утверждать, что «земля есть книга, где история человечества записывается в географических именах». В дополнение к этому высказыванию можно упомянуть и слова акад. Я. К. Грота:

«Изучение географии и истории приобрело бы несравненно больше смысла и интереса, если бы встречающиеся в них названия мест и урочищ были бы лучше, чем до сих пор, освещены наукой».

Исследования смен географических названий в древности показывают, что периоды их существования исчисляются обычно веками, тогда как географические названия при советах, взятые в разрезе мировой истории, кажутся нам «однодневками», как и многое другое в Советском Союзе.

Говоря о новом в географических названиях русского языка в чисто-лингвистическом отношении, следует указать на то, что эти названия в частности, так, как и весь язык в целом, отразили в себе тяготение к абревиатуре. Прежде всего это касается са-

мого названия государства: «СССР» — это инициальное сокращение сочетания слов «Союз Советских Социалистических Республик», синонимом которого является фразеологическая абревиатура «Советский Союз», иногда именуемый и «Страной Советов». Образованный 30 декабря 1922 года Союз Советских Социалистических Республик первоначально включал четыре республики: РСФСР (Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику), УССР (Украинскую Советскую Социалистическую Республику), БССР (Белорусскую Советскую Социалистическую Республику) и ЗСФСР (Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику). Последняя была упразднена 5 дек. 1936 г., а республики, составлявшие ее, — Азербайджанская, Армянская и Грузинская, — вошли непосредственно в СССР. Тогда же были преобразованы в союзные республики Казахская и Киргизская АССР, входившие до того в РСФСР. Значительно раньше, 27 октября 1924 г., на территории Туркестанской АССР, также в свое время входившей в состав РСФСР, были образованы две новых союзных республики: Туркменская и Узбекская. Наконец, 5 декабря 1929 г. Таджикская АССР, находившаяся в составе Узбекской ССР, была также преобразована в союзную республику.

В 1940 г. к одиннадцати союзным республикам добавилось «пять новых сестер», по излюбленному выражению советской пропаганды: Карельская АССР, входившая до того в РСФСР, и Молдавская АССР, входившая до того в УССР, были преобразованы в самостоятельные республики с добавлением новой территории: Карело-Финскую и Молдавскую ССР. В августе того же года Литва, Латвия и Эстония «добровольно» выразили желание присоединиться к СССР. Таким образом, в данное время Советский Союз состоит из 16 союзных и 16 автономных советских социалистических республик.

Множество абревиатур — названий союзных и автономных республик, надоедливо повторявших сочетание «ССР», очевидно, повело к созданию иронического названия Советского Союза — «Эсэсэрия». В первые годы Революции довольно распространенным было и слово «Совдепия», но тогда как наименование «Эсэсэрия» было более безобидным и могло исходить и от лиц, настроенных про-советски, обозначение «Совдепия» употреблялось исключительно антисоветски настроенными людьми, к тому же в большинстве случаев находившимися не на территории, управляемой советами рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Было создано и много порой остроумных, порой грубых расшифровок абревиатуры «СССР» (см. главу III, о сатирических элементах в советском языке).

Вопреки лицемерным лозунгам о самоопределении наций, сокращенные названия национальных республик, созданные и популяризуемые советским правительством, только затемняли их национальное лицо. РСФСР, ЗСФСР, УССР, БССР или АМССР звучали совершенно отлично от гораздо более самодовлеющих названий: Россия, Закавказье (т. е. Грузия, Армения, Азербайджан), Украина, Белоруссия или автономная Молдавия. Иногда

употреблялась более полная форма: «Украинская ССР» и т. д., но чрезвычайно редко просто «Украина» в отношении современности. Однако, при изменении политической ситуации в военное и послевоенное время, при необходимости итти навстречу национальным чувствам, особенно в глазах западных демократий, и стремлении обеспечить себе лишние голоса в ООН, советское правительство санкционировало восстановление названий Украины и Белоруссии.

Говоря об абревиации в географических названиях следует отметить, что и здесь существуют три ее разновидности — инициальная, слоговая и комбинированная. К первой, кроме упоминавшихся выше названий республик, относится и слово, возникшее еще в эпоху гражданской войны — ДВР (Дальневосточная республика), по ликвидации которой появилось сокращение ДВК (Дальневосточный край). Сюда же следует отнести и ЦЧО (Центрально-Черноземная область, позже упраздненная, как административная единица).

Слоговая абревиатура встречается реже, но и для нее мы находим немало примеров: «Донбасс» (Донецкий угольный бассейн), «Кузбасс» (Кузнецкий угольный бассейн), «Турксиб» (Туркестано-Сибирская магистраль), «Гопри» (курорт Голая Пристань) и т. д. И, наконец, наиболее редкой в географических названиях является комбинированная абревиатура: «Минводы» (ст. Минеральные Воды), «Кавминводы» (район минеральных вод Кавказа), «Медгора» (Медвежья Гора — концлагерь).

Исходя из сталинского положения, что культура должна быть «национальной по форме и социалистической по содержанию», Кремль решил приблизить некоторые этно-географические названия, транскрибируемые в русском языке, к их местному звучанию. Так, например, произошли следующие изменения: Асхабад — Ашхабад, Сухум — Сухуми, Батум — Батуми, Тифлис — Тбилиси, Эривань — Ереван, Азербейджан — Азербайджан, а позже Черновицы — Черновцы, Тарнополь — Тернополь и т. д. Появилось новое произношение и правописание среднеазиатской народности — «казахи» вместо «казаки», что было вполне оправдано, т. к. раньше могла произойти путаница между «казаками» — народностью и «казаками» — военным сословием.

Несколько городов были переименованы с приданием им местно-национального характера, как, например, Ямбург — Кингисепп, Верный — Алма-Ата, Краснококшайск — Иошкар-Ола, Голодная Степь — Мирзачуль, Верхнеудинск — Улан-Удэ, Усть-Сысольск — Сыктывкар. Попутно надо заметить, что советы отнюдь не являются монополистами в замене русских названий городов местно-национальными. Молодые республики, отколовшиеся от бывшей Российской Империи — Финляндия, Литва, Латвия и Эстония оказались более последовательными в замене русских названий городов своими: Гельсингфорс — Гельсинки (Хельсинки), Выборг — Виипури, Сердоболь — Сортавала, Ковно — Каунас, Вильна — Вильнюс, Мемель — Клайпеда, Дерпт — Тарту, Ревель — Таллин и т. д. Так, например, по заявлению проф. Миртова («Лексические заимствования в русском языке в

Средней Азии»), приближая названия городов к местному звучанию, следовало бы писать не Ташкент, а «Ташкен». Однако, насаждая местные названия, советы всё же заменили старое местное название — «Дюшамбе» Сталинабадом, очевидно, желая хотя бы одну из столиц среднеазиатских республик назвать в честь «вождя». Подобное же произошло с городом Кара-су в Киргизской ССР, переименованном в Ворошилово. Но о «вождизме» в названиях речь будет ниже.

Изменению подверглись и названия некоторых народностей Советского Союза. Здесь прежние названия были главным образом заменены «самоназваниями» (термин, употребляемый Большой Советской Энциклопедией) той или иной народности. Среди них можно отметить:

вотяки	перешло в	удмурты
гиляки	„	нивхи
гольды	„	нанайцы
зыряне	„	коми
камчадалы	„	ительмены
коряки	„	нымыланы
ламуты	„	эвены[1]
лопари	„	саами
остяки	„	хантэ
самоеды	„	ненцы
тунгусы	„	эвенки[1]
черемисы	„	мари, марийцы
черкесы	„	адыге, адыгейцы
чукчи	„	луороветланы

и т. д.

С исчезновением слова «самоед» уходит и оскорбительное для ненцев представление о них, как о людях, питающихся мясом своих соплеменников, — недоразумение, возникшее из-за употребления ими в пищу сырой оленины. К положительным явлениям можно отнести и искоренение собирательного для тюркских жителей среднеазиатской части СССР (ранее Туркестана) слова «сарт» (собака). Теперь твердо вошли в речь названия «туркмен» и «узбек». Вывелись клички «хохол» или «малоросс», одно время полностью вытесненные словом «украинец»; однако, слово «хохол» возродилось во время войны (см. стр. 119). Исчезло из употребления, по крайней мере официального, и пренебрежительное наименование евреев — «жид».

Наряду с возникновением номинально самостоятельных союзных и автономных республик, краев и областей, появились бес-

[1] Внешне сходные обозначения народностей «эвены» и «эвенки» часто вызывают путаницу этих понятий. Так, героиня романа А. Коптяевой «Иван Иванович» (Москва, Сов. Писатель, 1951, стр. 194) признается:

— Я была в одном эвенском колхозе... Там эвены. Я их сначала путала с эвенками, но, оказывается, это совсем разные народности. Эвенков раньше называли тунгусами. Они кочевали по Восточной Сибири — от Енисея до Охотского побережья. А эвены — ламуты. На их языке Охотское море называется Ламским морем.

численные названия мелких народностей. Так, например, в одном только Азербайджане их оказалось около десяти, в Дагестане — около двадцати, не меньше и в Сибири, где они раньше объединялись под безличным обозначением «инородцев». Всего народностей СССР, согласно статистическим данным, приведенным в книге Терского «Этнографическая фильма», 1939 г., насчитывалось 169.

Интересно отметить и определенные сдвиги в названиях жителей городов, указанные Ф. Гладковым в уже цитированной, несколько пуристической, статье «О культуре речи»:

> ...в названиях жителей городов и областей русский язык чрезвычайно гибок, разнообразен и фонетически экономен. Окончания на ц ы, к и, ч и преобладали до сих пор над древней формой ч а н е, я н е. Мы говорили и писали: харьковцы, ростовцы, псковичи, тверяки, пензяки и т. д., а слова на ч а н е, я н е допускались в редких случаях и только наряду с другими словами (киевляне, волжане, англичане, славяне) прежде всего в смысле племени, нации и населения государственных территорий: киевляне, куряне — пережиток феодализма, как угасшее «москвитяне». Но сейчас только говорят и пишут: харьковчане, ростовчане, горьковчане, краснодарчане... По этому стандарту надо уж писать и говорить «москвачане», «пензачане», «саратовчане», «благовещенскчане»... Всё это звучит малограмотно... Плохо то, что писатели и языковеды подхватывают эти прелести и некритически узаконивают их, как норму (см. в той же академической «Грамматике» и в «Курсе» Булаховского). (Новый мир, № 6, 1953, стр. 233-34).

Конечно, сдвиги в этно-географических названиях не ограничились только переименованием, как установлено выше, наблюдаются и названия, данные впервые. Это касается не только народностей, но и республик, областей, городов и центров промышленности.

Наиболее распространенным компонентом названий республик, инкорпорированных в Советский Союз, оказался формант «стан», раньше редко встречавшийся в русском языке (Дагестан, Туркестан), а теперь фигурирующий во всех названиях среднеазиатских республик: Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Киргизстан (но чаще: Киргизия).

Слово «Биробиджан» появилось в советской прессе и в речевом обиходе после того, как 8 мая 1934 г. был издан декрет Президиума ЦИК СССР о создании особой еврейской автономной области, входящей в состав РСФСР. Особенно же часто это наименование стало мелькать с 29 августа 1936 г., после нового декрета, провозгласившего эту область первым в мире национальным еврейским государством. Однако, после создания государства Израиль и неудачи переселения запланированного числа евреев в очень слабо заселенный район Приамурья, шумиха вокруг Биробиджана совершенно утихла и, вероятно, это слово скоро почти забудется, особенно после ликвидации «еврейской автономной области» и включения ее в Хабаровский край.

Крупное промышленное строительство СССР повело к возникновению городов, а с ними и их названий, порою даже может быть имевшихся, как наименования небольших местечек и сел, на месте которых возникли эти города, или рек, протекавших вблизи них: Караганда в Казахстане, Комсомольск-на-Амуре (бывшее селение Пермское Дальневосточного края), Игарка в Заполярьи, Магадан на Колыме, Кемерово и Прокопьевск в Кузбассе, Алдан, промышленный центр Якутии (бывший поселок Незаметный), Балхаш, возникший у одноименного озера в Казахстане, где в свое время стояла одна лишь кибитка, Беломорск, возникший из с. Сороки и рабочего поселка Солунин в Карело-Финской ССР и многие другие.

Это всё — города, в период создания их носившие советское название «новостроек». Но к «новостройкам» надо отнести и сам новооткрытый Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс), в соединении с тяжелой промышленностью Урала, давший новое понятие — Урало-Кузбасс. Сюда же можно отнести и новую Туркестано-Сибирскую железную дорогу (Турксиб), строительство гидроэлектростанций: Закавказская государственная электростанция (Загэс), Днепровская государственная электростанция (Днепрогэс) и др., мрачной памяти каналы Москва-Волга и Беломорско-Балтийский (Беломорканал), построенные на костях десятков тысяч людей.

Строительство этих каналов, куда сгонялись сотни тысяч заключенных и принудительно мобилизованных строителей, объединенных общим наименованием «каналармейцев», приобрело такую широкую известность, что появились абревиатуры, распространившиеся в народе: ББК (Беломорско-Балтийский канал), БФК (Большой Ферганский канал им. Сталина):

Большим Ферганским я взращен каналом.
Я вырос там. Я строил БФК.

(В. Инбер, Путь воды).

Так как большинство промышленных центров образовалось вблизи рудоносных гор, то чаще всего встречающимся компонентом оказался формант «-горск», прилагаемый к названиям самих гор: Магнитогорск (на Урале), Мончегорск и Хибиногорск (в Мурманской области), Бокситогорск и т. д., или к имени одного из революционных вождей — Лениногорск (на Алтае), Сталиногорск (под Москвой).

В одном из своих стихотворений Демьян Бедный дал сухой перечень подобных новостроек (с характерной для него ругательной концовкой):

«От Турксиба, от всех Волховстроев,
От Днепростроев,
От Волгостроев,
Ангаростроев,
Магнитостроев,
От Кузнецкстроев,
Тракторостроев,
От гигантских Сельмашей,
От всего, что крепит мощь республики нашей,
...эта сволочь мечтает
От всего нас отбросить назад». (Темпы).

Возвращаясь к теме наименования городов, следует отметить, что переименование их в духе придания им местно-национального характера охватывало несоизмеримо меньшее количество городов, чем введение названий, связанных с революционными понятиями[2] или именами «вождей».

Наиболее распространенным было замещение (в сложных названиях) главного элемента эпитетом «Красно...»:

Екатеринодар — Краснодар,
Константиноград — Красноград,
Петрозаводск — Краснозаводск и т. д.

Встречались и полные замены, как Сорокино — Краснодон, Ольвиополь — Первомайск, ст. Великокняжеская — Пролетарская; изредка встречались и внеполитические переименования, как Александровск — Запорожье, Александровск-Грушевский — Шахты, Новониколаевск — Новосибирск.

Но, конечно, львиная доля переименований падала на придание городам имен вождей. Это являлось только частью того общего заболевания, при котором, по меткому выражению Маяковского,

Каждый день бытия земного
Профамилиен
и разименован.
(Ужасающая фамильярность),

когда не только заводы, фабрики, кинотеатры, железнодорожные станции, электростанции, совхозы, колхозы и различные общественные учреждения обязательно приобретали чье-нибудь имя, но, как указывал тот же Маяковский, можно было найти «подтяжки имени Семашки» (тогда — народного комиссара здравоохранения).

Скупо переименовав в честь основоположников марксизма два приволжских города, да и то входивших в позже ликвидированную Республику немцев Поволжья — Екатериненштадт (Баронск) в Марксштадт (после начала войны компонент «штадт» был отброшен) и Покровск в Энгельс, советы во всевозможных вариантах, нередко повторяясь, переименовали множество городов в память умершего Ленина:

Александрополь — Ленинакан
Зеленск
(в Узбекистане) — Ленинск
Кольчугино — Ленинск-Кузнецкий
Петроград — Ленинград (с 1924)
Риддер — Лениногорск
Симбирск — Ульяновск (с 1924)

---

[2] Аналогичное явление отмечено и К. Державиным в упоминавшейся выше статье о языке Великой Французской революции (стр. 38):

«...Бойкотируются и уничтожаются даже такие слова... как château, castel, châtel, châtillon. Топонимика революции пестрит примерами бойкота и вытравления слова saint... Городок Saint Lô переименовывается в Rocher de la Liberté, селение Sainte Mère-Eglise в Mère-Libre».

Ходжент	—	Ленинабад (с 1936)
Царицыно (под Москвой)	—	Ленино и т. д.

и в честь тогда еще здравствовавшего Сталина:

Бобрики	—	Сталиногорск (с 1934)
Дюшамбе	—	Сталинабад
Новокузнецк	—	Сталинск (с 1932)
Хашури	—	Сталинисси
Царицын	—	Сталинград (с 1925)
Цхинвали	—	Сталинир
Юзовка (в Донбассе)	—	Сталин (с 1924, позже: Сталино)

и т. д.

Интересно отметить, что в конце тридцатых годов имя Ленина стало «незаметно» убираться из географических названий там, где такая замена не слишком бросалась в глаза. Так, «Ленинск» в Туркменской ССР был переименован в «Новый Чарджуй», а «Ленинск» в Московской области принял старое название «Талдом».

Желание Сталина затмить имя Ленина нашло свое отображение и в том, что в «Пик Ленина» был переименован быв. Пик Кауфмана — высочайшая снеговая вершина Заалайского хребта (7.130 м.), тогда как «Пиком Сталина» названа высшая точка всего СССР — 7.495 м., находящаяся в горном хребте Академии Наук на Памире.

Параллельно можно упомянуть и города, названные в память или честь второстепенных деятелей Революции:

Алешки	—	Цюрупинск
Алчевск	—	Ворошиловск (с 1933)
Бахмут	—	Артемовск
Бежица	—	Орджоникидзеград
Бирзула	—	Котовск
Владикавказ	—	Орджоникидзе (с 1931)
Вятка	—	Киров (с 1934)
Екатеринбург	—	Свердловск (с 1924)
Екатеринослав (при Петлюре «Січеслав»)	—	Днепропетровск
Елизаветполь (с начала Революции до 1936 г. «Ганджа»)	—	Кировабад
Кадиевка	—	Серго
Каменское	—	Днепродзержинск
Лигово	—	Урицк
Луганск	—	Ворошиловград (с 1935)
Мариуполь	—	Жданов
Никольск-Уссурийск	—	Ворошилов-Уссурийск
Нолинск	—	Молотовск

Пермь	— Молотов
Пишпек	— Фрунзе (с 1925)
Прикумск (б. Святой Крест)	— Буденновск
Растяпино (Горьк. края)	— Дзержинск
Рыбинск	— Щербаков
Самара	— Куйбышев (с 1934)
Ставрополь	— Ворошиловск (1936-45)
Тверь	— Калинин (с 1932)
Терновск	— Каганович
Хибиногорск	— Кировск (с 1934)

и т. д.

Попутно отметим, что имена вождей фигурируют не только в переименованиях, но и новонаименованиях. Так, например, в одном Таджикистане возникли новые районные центры: Молотовабад, Ворошиловабад, Куйбышевск.

В своей статье о русских новообразованиях (Osteuropa, Heft 3, 1952, стр. 186) Эгон фон Бадер указывает, что «до сих пор в честь Ленина и Сталина переименовано приблизительно по 70 городов, сел, округов и городских районов, в честь Кагановича — 35, Молотова — 30, Дзержинского и Ворошилова — по 24, Калинина — 23 и т. д.» (Перевод наш. — Ф.).

В то время как советы совершенно безудержно переименовывали города и села в честь далеко не утвердивших себя в истории людей, еще более типичным оказалось повторное, поспешное и скандальное переименование, связанное с «развенчанием» многих как живых, так и мертвых революционных вождей, отнесенных сталинской кликой в пресловутую рубрику «врагов народа». Так, ранее переименованная в «Троцк» Гатчина стала «Красногвардейском», а Елизаветград, бывший с 1924 г. «Зиновьевском», стал «Кировоградом».

В этом отношении очень показательна и судьба города Баталпашинска, в свое время переименованного в «Сулимов» в честь бывшего председателя Совнаркома РСФСР (позже «ликвидированного»). Затем город был назван «Ежово-Черкесск», когда же всемогущий глава НКВД также попал в опалу, имя его исчезло и из названия этого города, ставшего просто «Черкесском».

Аналогичное можно сказать и о Гришино (в Донбассе), сперва переименованном в «Постышев», а затем в «Красноармейск» и о Енакиево, в том же Донбассе, бывшем одно время «Рыково» и переименованном в 1936 г. в «Орджоникидзе».

Что касается городов, получивших имя только что упомянутого и в свое время очень популярного наркома тяжелой промышленности, то, хотя С. Орджоникидзе и не был объявлен врагом народа, но все города, названные в его честь, были постепенно переименованы. Так Орджоникидзе (Владикавказ) стал «Дзауджикау» (древнее местное название). В отношении равноименного города в Донбассе большевики предпочли вернуться к старому названию «Енакиево», по имени одного из крупнейших шахтовла-

дельцев (!), чем оставить за ним имя члена Политбюро. Орджоникидзеграду было возвращено старое название «Бежица», а Серго (имя и партийная кличка Орджоникидзе) — «Кадиевка».

Нестойкость благонадежности политических деятелей содействовала более нейтральному переименованию городов в память героев-летчиков: Бердянск — Осипенко (с 1939), Надеждинск-на-Урале (быв. Кабаковск, с 1935 по 1939) — Серов, Оренбург — Чкалов (с 1939), Патриаршее — Водопьяново, Лосиноостровская — Бабушкин; ученых: Ораниенбаум — Ломоносов, Козлов — Мичуринск, Колтуши — Павлов, писателей: Нижний-Новгород — Горький (с 1932), Детское Село (до Революции «Царское Село») — Пушкин, с. Грешнево — Некрасово, Чембар — Белинский, Спасск — Беднодемьяновск, ст. Усть-Медведицкая — Серафимович, Середа — Фурманов и т. д.

В последнее время появилась тенденция даже возвращать к жизни старые названия. Так, например, Красногвардейск снова стал Гатчиной, а Слуцк — Павловском. В Киеве главная улица, связанная с историческим событием — Крещением Руси, долгое время называвшаяся улицей Воровского, стала опять «Крещатиком».

Г. Климов в своей книге «В Берлинском Кремле» (П о с е в, № 22, 1949) рассказывает, что «по постановлению Ленинградского Совета, все важнейшие исторические улицы и площади Ленинграда были снова переименованы (в 1944 — Ф.) — им вернули их дореволюционные имена. Невский проспект из «Проспекта 25-го Октября» снова стал Невским. Марсово Поле снова стало Марсовым (из «Площади Жертв Революции» — Ф.). Мы смотрели на всё это и только диву дивились. Наверное скоро и колхозы отменят».

Как мы видим из вышеприведенных примеров, война 1941-45 вызвала новый зигзаг и в топонимике. Возрождение исторических традиций русского народа приводило даже к унижению авторитета «вождей революции», как это мы можем наблюдать в возвращении городу Ворошиловск его старого названия «Ставрополь».

Столица ликвидированной в 1943 г. за сотрудничество с немцами Калмыцкой ССР — «Элиста» была переименована в «Степной». Однако, подобная руссификация распространилась и на «не провинившиеся» республики: так, например, среднеазиатский город «Пржевальск», в свое время переименованный в «Каракол», стал снова Пржевальском.

Еще более интенсивной оказалась руссификация географических названий в завоеванных во Второй мировой войне землях, как на Западе, так и на Востоке:

Гейнрихсвальде	— Славск
Гумбиннен	— Гусев
Инстербург	— Черняховск
Кенигсберг	— Калининград
Нейгаузен	— Гвардейск
Пиллау	— Балтийск

Прейсиш-Эйлау — Багратионовск
Тильзит — Советск
Фридланд — Правдинск
Найоси — Лесогорск
Сиритору — Макаров
Тойохара — Южно-Сахалинск
Хонто — Невельск и многие другие.

Руссификации подверглись не только названия захваченных городов, но и своих исконных. Так советы дополнили руссификацию, начатую еще царским правительством в Первую мировую войну (Санкт-Петербург — Петроград), переименовав знаменитый дворец и его окрестности из Петергофа в «Петродворец» (1944), а Шлиссельбург в «Петрокрепость» (в том же году).

Вообще советы оказались более истыми руссификаторами, чем царское правительство: так они переименовали города с нерусскими названиями во вновь присоединенных частях Финляндии и Румынии, придав им чисто-русский характер:

Кексгольм — Приозерск
Териоки — Зеленогорск
Аккерман — Белгород-Днестровский и т. д.

V. «БЛАТНЫЕ» ЭЛЕМЕНТЫ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА

Мы уже говорили о том, что основными контрастными особенностями советского языка явились: с одной стороны, нагнетение в обыденной речи и особенно в газетах массы книжных терминов, в большинстве своем варваризмов, с другой стороны, утверждение в обиходе и проникновение в литературный язык арготизмов — специальных терминов, в первую очередь воровского языка.

Первые годы Революции не ознаменовались демократизацией языка в лучшем смысле слова; нельзя сказать, что новые формы, преимущественно лексики, стали доступнее народу, больше ему сродни. Наоборот, простой человек понимал несравненно лучше язык классиков — Пушкина, Гоголя, Толстого, Чехова и др., чем набор чуждо звучащих политических фраз, в которых очень часто не разбирались и сами произносящие или пишущие их. Недаром А. Селищев, останавливаясь на этом явлении, цитирует «Правду» (№ 288, 1924):

> «Устраиваются открытые собрания, но какой в них толк? Попробуй зайти на собрание крестьянин или рабочий. Что он поймет? Ровно ничего. Только и слышны выкрики докладчиков: либералы, консерваторы, соглашатели, Керзоны, Ллойд-Джорджи. Ну, что тут поймет беспартийный рабочий или крестьянин? Тут и партийные то многие не понимают, в чем дело».

Газета «Рабочая Молодежь» (1926 г., № 113) тоже была вынуждена признаться:

«...Недаром некоторые поговаривают: — «Говорит непонятно — значит большевик...»

Но наиболее засорившим язык явился поток той словесной мути, который поднялся со дна Революции. Самое ужасное было в том, что этот жаргон не сосуществовал с добротным, созданным вековыми традициями, разговорным и литературным языком, а въедался ржавчиной в словесный обиход всех слоев населения. В оперировании жаргонными словечками можно было уличить почти каждого человека, не говоря уже о молодежи: зачастую самые простые слова и выражения умышленно или по инерции заменялись «блатными». В своей книге «Новые словечки и старые слова» А. Горнфельд брезгливо жаловался:

«...выхожу на улицу и слышу обрывки разговоров: «спекульнул...», «два лимона...», «пятьсот косых...», «реквизнул...», «на танцульку придешь...», «ну, даешь...» (стр. 5).

Особое влияние на засорение языка оказало беспризорничество (само слово возникло только при советах). Первая мировая война, и вслед за ней гражданская, породили толпы беспризорных детей, родители или родственники которых погибли от пули или тифа. Полнейшая разруха в народном хозяйстве и занятость властей, в первую очередь ликвидацией своих политических противников, содействовали распространению бездомности и безнадзорности осиротевших детей, разбросанных по необъятным просторам бывшей Российской Империи.

Подавляющая часть этих детей, а их было, по официальным данным «Большой Советской Энциклопедии» (т. V, стр. 786, 1927), до семи миллионов к 1922 г., оказалась внесоциальным элементом, обреченным на жизненную борьбу вне общества. Это вело к связям с преступным миром, по началу просто эксплуатировавшим, а впоследствии и ассимилировавшим многих беспризорников.

Беспризорные младшего возраста, ютившиеся в парадных или в котлах для плавки асфальта, служили как бы связующим звеном с обычной средой, общаясь и играя с «полунадзорными» советскими детьми, родители которых если и существовали, то, как правило, проводили весь день на работе, собраниях, субботниках, невольно предоставляя своих детей улице. Это уличное воспитание давало себя знать и в развитии языка. Не нужно забывать, что для детей, связанных законами «взрослых», грязный, оборванный, отчаянно-смелый и дерзкий, и что самое главное, свободный от каких-либо обязанностей обыкновенной жизни, часто изъездивший «зайцем» чуть ли не всю страну, беспризорник являлся романтической фигурой, достойной подражания. Некоторые ребята меняли свою относительно обеспеченную, но скучную, по их мнению, жизнь на приволье такого беспризорного существования, другие же подражали своим героям в более скромных масштабах, не порывая с семьей, но ошарашивая родителей фразами вроде:

«Его маруха шьется с нашим Валькой...»
«Чего ты так расшкерилась...»
«Пойди, спроси об этом у пахана...»

Последнее слово, обозначавшее в блатном мире главаря шайки, у советских ребят стало обозначать главу семейства — отца, наряду с тем, как слово «пацан» не только в детской речи, но и в языке многих взрослых вытеснило слово «ребенок».

Итак, мы видим, что у многих представителей молодого поколения прекрасная пора жизни — детство переплеталась со страдой беспризорничества и криминальной деятельности. Большие способности часто устремлялись в пагубное русло, о чем прямо говорил комсомольский поэт Безыменский:

О, как был смел мой шкет забитый!
О, как был нищ, и как богат!
Он —
первый кандидат в бандиты,
А может быть,
в наркомы кандидат.
(Стихи о комсомоле).

Знакомство общественности с миром «блата», его бытом и языком, происходило и через песни, распевавшиеся в трамваях, поездах и просто на улицах беспризорными, желавшими таким образом заработать себе на хлеб. Иногда эти песни были грустно-лиричными, вроде переделанной старой матросской песни:

Свеча горит дрожащим светом,
Урканы спят спокойным сном...,

иногда же явно бандитскими, как знаменитая «Мурка»:

Здравствуй, моя любка, ты моя голубка,
Здравствуй, дорогая, и прощай!
Все наши малины ты зашухерила,
А теперь маслину получай.
Разве не житуха была тебе с нами,
Разве не хватало барахла?
Для чего ж связалась с лягашами
И пошла работать в Губчека?

Однако, такая специфическая лексика не помешала этой песне стать одной из излюбленных и у не беспризорной молодежи.

Даже «Большая Советская Энциклопедия» (т. XIII, стр. 136, статья «Воровская (блатная) поэзия») вынуждена была признать, что «влияние воровской песни на песню городского и сельского населения очень велико. Многие из блатных песен или их отрывки поются рабочей и учащейся молодежью как городской, так и деревенской. Школьники через детские дома и беспризорников вобрали многое из блатных мотивов».

Популярность блатных песен обуславливалась не так распущенностью советской молодежи, как самой системой, при которой всё до тошнотворности регламентировано, всё «спущено сверху» в широкие массы, создано по пресловутому «социальному заказу», значительно больше, чем по вдохновению. Именно тяга к чему-то стихийно-возникшему, рожденному не директивой партии и правительства, а самою жизнью, пусть неприглядной, но самостоятельной, пусть преступной, но свободной, приводила молодое поколение к увлечению блатным фольклором.

Многие языковые особенности беспризорных и «блатных» дошли до советского гражданина уже в период изживания бес-

призорничества. Советская власть сумела к началу 30-х годов положить конец этому злу[1], и те из несчастных, которые не безнадежно погрузились в воровской омут, часто кончая жизнь в далеких концлагерях, стали перевоспитываться в многочисленных детских домах и трудовых колониях.

Юноши и девушки, отказавшиеся от часто глубоко укоренившихся привычек прежней бесшабашной жизни, шли на фабрики, заводы, в высшие учебные заведения, неся в них «родной», так полностью и не вытравленный жаргон, заражая им товарищей и утверждая его в толще языка.

В своей книге «Язык литературы» (стр. 150) В. Гофман указывает:

> «Еще в 1927 г. газета «Молодой ленинец» (№ 196) била тревогу по поводу языковых «следов от хулигана к фабзайцу» и предупреждала против «блатной музыки» (воровского жаргона):
>
> «В стороне, за столиком сидела группа молодежи. Один из них горячился. «Он с ней чичулится, сахарится, а меня заставили смотаться». Паренек дрожал от негодования, стучал кулаками по столу. Оказалось, что паренек говорил: «Он с ней гуляет «парой», целуется, а меня заставили убраться». Дальнейший ход разговора был совсем непонятен. Говорили на каком-то особом языке. Тут была жалоба на «стрематушек» и «фурфорсеток» (как оказалось, имели в виду девушек), угроза кого-то «оплетовать» (избить). Подошел третий... сморщился и сказал: «Глот, дерябнул, брось аноху строить». Третий оказался довольно разговорчивым и разъяснил мне смысл этих слов: «Крикун, выпил, брось дурака валять». Это были рабочие ребята».

Теме борьбы против арготизмов в языке учащихся и комсомольцев посвящена и статья Л. Якубинского «Культура языка» (Журналист, № 1, 1925).

В своем курсе лекций по лексике современного русского языка, изданном Московским университетом в 1954 г., Е. Галкина-Федорук вынуждена была признать (стр. 123), что «...после революции «блат» через беспризорных детей стал распространяться и среди учащихся, а затем через молодежь проник и в рабочую среду, и даже в художественную литературу».

Все вышеуказанные соображения о влиянии языка беспризорников подкрепляются исследованиями известного датского языковеда Иесперсена. Он проследил язык бездомных сирот, уцелевших после свирепствовавшей в Англии в XIV-XV веке чумы, унесшей две трети населения, и установил, что этот своеобразный жаргон оказал влияние на дальнейшее развитие английского языка. Не слыша речи родных, дети создали свой диалект и, став взрослыми, внесли некоторые элементы его в общую разговорную речь.

---

[1] Беспризорничество снова возродилось в годы Второй мировой войны и непосредственно после нее.

Тот же О. Иесперсен, в своей книге «Language, its Nature, Development and Origin», стр. 261, отмечает следующее:

«В скандинавских языках век викингов является, очевидно, периодом, породившим наиболее значительные лингвистические изменения. Но если я прав, то причина этого не в героическом характере эпохи и не в бурном росте самоуважения и самоутверждения, как это иногда отмечали. Более прозаическая причина заключается в том, что мужчины отсутствовали, а женщины были вынуждены заниматься иными делами, а не языковым воспитанием своих детей[2]. Я также склонен думать, что та непревзойденная быстрота, с которой, в течение последних ста лет, вульгарная речь английских городов отошла от языка образованных классов... имеет своим естественным объяснением беспримерно бедственное состояние детей промышленных рабочих в первой половине прошлого века» (перевод наш — Ф.).

Очевидно, с безпризорничеством связано и чрезвычайно распространившееся после Революции слово «шамать» (есть) и его производные. Слово это существовало и раньше в русском языке, но, по Далю, означало: «пришептывать по стариковски; шаркать ногами, ходить вяло, волочить ноги».

Весьма интересное и правдоподобное объяснение происхождения этого слова в его новом значении приводит М. Коряков в своей книге «Освобождение души» (Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952), стр. 29:

— Слухайте сюда, филолог, — усмехнулся Шурка, принимая блатной тон. — Я этих ваших Далев — или как там, Далей — не читал. Зачем он не обратился ко мне, я бы ему выдал вполне компетентную справку. В двадцать четвертом году, когда я проделал в ящике под вагоном увлекательное путешествие Москва-Тифлис, я увидел, что моя чумазая братва целиком и полностью захватила улицы Теплого Города. По Тифлису стон стоял: «Тетенька, дайте почамать», «Дяденька, чамать хотца». «Чамо» по грузински «кушать», «есть». Мы разнесли это слово по всей России. Отсюда и повелось: «шамать», «шамовка», «пойду пошамаю».

Можно также утверждать, что слова, одни из первых вошедшие в советский обиход и утвердившиеся в нем, были привнесены наиболее активными участниками Революции, ее застрельщиками — матросами-«братишками»; из морского лексикона в общеупотребительную речь проникли слова, ставшие потом такими популярными: «смываться» и «трепаться» (впоследствие давшее деривацию: трепло, трепач, треполог, трепология). Они же

---

[2] Любопытно, что влияние войны на язык детей отмечено и Е. Кригер в статье «Суворовцы» (И з в е с т и я, 28 июля 1945):

«Влияние войны и связанных с нею невзгод сказывается, к сожалению, и в другом. У мальчиков был перерыв в учебе. Они скитались из города в город, были в эвакуации, и не всегда у родителей хватало времени следить за правильным развитием детей. У многих речь страдает погрешностями против законов русского языка, она неряшлива, отрывиста, перегружена лишними словами».

внесли в язык слово «буза» (татарский напиток, очевидно, хорошо знакомый черноморцам), приобретшее значение «ерунды» и давшее производные «бузить», «бузовый», «бузотер». Последнее даже стало названием официального печатного органа — сатирического журнала. Интересен тот факт, что слово «бузовый» существовало и задолго до Революции, но в прямо противоположном значении (этимология его в данном случае не ясна):

«...Бузовая земля, нижг, добрая, черноземная, наземистая». (В. Даль, Толковый словарь, т. I, стр. 336).

Синонимом слова «буза» был несколько менее популярный, но тоже сравнительно часто употреблявшийся арготизм, проникший и в литературу:

«Мура! — ответил Терентьев, выбрасывая зерна арбуза себе на колени». (Тихонов, «Камуфляж», Стихи и проза, 326).

Наплыв этих словечек не только в разговорную, но и в литературную речь приводил в ярость М. Горького, протестовавшего в своей статье «О языке» против «речевой бессмыслицы»:

«С величайшим огорчением приходится указать, что в стране, которая так успешно — в общем — восходит на высшую ступень культуры, язык речевой обогатился такими нелепыми словечками и поговорками как, напр., «мура», «буза», «волынить», «шамать», «дай пять», «на большой палец с присыпкой», «на ять» и т. д. и т. п.

Мура — это черствый хлеб, толченый в ступке или протертый сквозь терку, смешанный с луком, политый конопляным маслом и разбавленный квасом; буза — опьяняющий напиток; волынка — музыкальный инструмент, на котором можно играть и в быстром темпе; ять, как известно, — буква, вычеркнутая из алфавита. Зачем нужны эти словечки и поговорки?» (М. Горький, О литературе, стр. 142).

Всё же надо сказать, что первые годы Революции прошли не так под знаком популяризации и проникновения в язык блатных словечек, пышно расцветших во времена НЭП'а, как под знаком страшного засорения языка бранными словами. Впрочем, и позже брань являлась как бы легализированным спутником обыденной речи. Об этом свидетельствует и ряд статей, появившихся в прессе, названия которых говорят сами за себя:

М. Рыбникова — «Об искусственном огрублении речи учащихся» (Родной язык в школе, сб. 1, 1927),

Н. Погодин — «Бравада грубостью» (Женский журнал, № 10, 1928) и другие.

Засорение языка бранью нашло очень реалистическое отражение у чрезвычайно популярного в свое время М. Зощенко, уже упоминавшегося выше:

...Я в темноте петь тенором отказываюсь.

Пущай, сукин сын, монтер поет.

Монтер говорит: «Пущай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре снимается, то и пущай одной рукой поет, другой свет зажигает. Дермо какое нашлось».

(Монтер).

Особенно же показателен в этом отношении фельетон Г. Рыклина «Улыбка», появившийся в «Правде» от 3 апреля 1940 г., где автор вынужден был констатировать сильнейшее засорение речи советских людей бранью:

«Идут по улице два человека. Два трезвых человека. Мирно о чем-то беседуют. Мирно — но весьма громогласно. И через каждые два слова этакое словечко, что, кажется, соседние заборы краснеют.

А еще бывают люди, которые мнят себя высокими интеллигентами. Они ответственные работники и полагают, что трехэтажность в речи — признак крепкого руководителя. И вот для простоты и «народности» они всячески «упражняются».

Идут годы, но несмотря на «расцвет социалистической культуры», брань не исчезает из обихода советских граждан. Даже Ф. Гладков, некогда наводнявший свои книги грубыми ругательствами, но позже полностью переписавший текст пресловутого «Цемента», выступил в «Литературной Газете» от 22 мая 1952 г. со статьей «Об одном позорном пережитке», в которой он вынужден признать, что «и в нашем социалистическом обществе еще не вытравлена зараза сквернословия... Я говорю не о хулиганах, а о людях труда, о молодежи, которая училась и читает книги. Пусть у них эта ругань — напускная бравада или скверный навык, но сквернословие — в обиходе, и в нем не видят, не замечают позорного смысла. Особенно тяжело, когда изощряются в подборе скверных слов, не стесняясь уличной толпы, подростки — школьники и ремесленники».

Далее Ф. Гладков цитирует присланное в «Литературную Газету» письмо слесаря М. Громова:

«С возмущением слышишь рвущие уши слова брани от людей разного положения, возраста и пола... Ругань нецензурную можно слышать на производстве, в кабинете начальника цеха, а порой — управления и предприятия, в трамвае, в кино, в магазине, на вокзале... Невольно возникает вопрос: неужели к этому привыкли все, неужели это — нормальное явление?»

В статье «За здоровый быт» («Известия», 17 сент. 1954), между прочим, говорится:

«Инженер В. Ванчуров (Москва) обращает внимание на то, что у нас очень слабо ведется борьба со сквернословием, вошедшим в привычку у некоторых людей. Ругаются зачастую из глупого «молодечества», или, как объясняют, просто «к слову», не стесняясь присутствием женщин и детей».

В. Пономарев в статье «Дурная привычка», помещенной в «Комсомольской Правде», от 3 авг. 1954 г., также пишет:

«Зайдите в цехи, и ваш слух поразят слова-отбросы, без которых не могут шагу ступить некоторые рабочие, мастера и, чего греха таить, отдельные инженеры.

...Немало у нас и таких, как комсомолец карусельщик Михаил Каштанов, который без всякой злости в любом — и шутливом и самом серьезном — разговоре пересыпает свою речь бранными словами...

Сквернословие, как ржавчина, въедается в быт людей, мешает жить и работать».

В передовой этой же газеты от 16 октября 1954 года с возмущением говорится о том, что в одном из московских студенческих общежитий «сквернословие считается своего рода лихостью, оно стало значительной частью разговорного лексикона».

Бранью пестрят даже столбцы центральных газет, ведущих время от времени кампании по борьбе с бранью в быту и на производстве. В этих газетах брань служит подкрепляющим элементом критики политических врагов советской власти. Не говоря уже о выражениях «белогвардейская сволочь» и «буржуазные выродки», приведем некоторые из многократно повторенных советской прессой определений лиц, осужденных по нашумевшим «показательным процессам» 1936-38 г.г.: «продувные брехуны», «отпетые прохвосты», «оголтелая банда», «жалкое охвостье», «гнусные последыши троцкистско-зиновьевской шайки», «троцкистско-зиновьевские мерзавцы», «фашистские наймиты», «кровавые псы международного капитала», «бешеные собаки фашистской охранки», «презренные гады», «бандиты, пойманные с поличным», «грязнейшие убийцы», «подлые террористы», «заживо сгнившие» и т. д. и т. п.

С некоторыми модификациями подобная лексика и до сих пор «украшает» столбцы советских газет.

Исключительная грубость советского политического жаргона не могла быть отмеченной кем-либо из отечественных критиков, ибо это было бы расценено, как «вылазка классового врага». Подобное могли себе позволить только «посторонние» наблюдатели, как, например, Артур Кестлер, побывавший в 30-ых годах в Советском Союзе и вспомнивший позже об этом явлении в своей книге «Иог и комиссар», изданной после войны:

> «...новый и единственный в своем роде политический словарь, включающий в себя «бешеных собак», «дьяволов», «гиен» и «прогнивших», заменяет прежние термины политических дискуссий».

Не удивительно, что допущенная в правительственную прессу брань посетила и поэзию (см. главу «Язык советской поэзии»), к чему приобщился, правда только поздний, Сергей Есенин:

> ...с такой вот как ты, со стервою
> Лишь в первый раз...
> ...Чтож ты смотришь так синими брызгами,
> Или в морду хошь?..

Хулиганство, облекшееся здесь в стихотворную оболочку, было созвучно в ту эпоху общему стилю жизни, созданному, с одной стороны, ломкой старых форм, с другой, — хозяйственной разрухой, безработицей, беспризорничеством и ростом преступности, наряду с открытием при НЭП'е (новой экономической политике) разных темных кабачков, подозрительных увеселительных заведений, разлагавших и так уже шаткую мораль значительной части советской молодежи. Хулиганство приобрело такие всеобъемлющие формы, что стало угрожать государственной жизни страны. Самое опасное было в том, что советская молодежь

часто воспринимала это хулиганство как чуть ли ни подвижничество, заслуживающее всякого внимания, а иногда даже преклонения. Подобную ситуацию хорошо раскрыл в сборнике «О писательской этике, литературном хулиганстве и богеме» видный тогда журналист Л. Сосновский. Во второй части своей статьи «Развенчайте хулиганство» он пишет:

«Надо признаться, что хулиганство разных видов окружено некоторым сиянием славы. На хулигана смотрят с некоторым восхищением, иногда с завистью. Его поступки расцениваются как геройство. Я говорю не о тех хулиганах, которые обретаются «на дне» уголовщины и бандитизма. О них разговор особый. Речь идет о тех героях хулиганства, что находятся среди нас, на фабриках и заводах»[3].

Именно в эту эпоху, эпоху так называемого НЭП'а, в языке широких масс стала настойчиво звучать приветствовавшаяся тогда многими «блатная музыка». Хулиган и вор становится «героем нашего времени», образцом, достойным восхищения и подражания не только со стороны рядовой молодежи, но даже и самих молодых литераторов (достаточно припомнить скандальные истории с Есениным, Ярославом Смеляковым и другими).

Создаются целые полотна, посвященные представителям преступного мира: Леонид Леонов, кстати, бывший одно время председателем Союза советских писателей, стал автором большой повести «Вор»; мастерски владея воровским «арго» и, так сказать, неся его в массы, Каверин написал «Конец хазы», где романтически изображал трагический закат воровской малины. Не мало места уделено воровскому жаргону у Бабеля, в его «Одесских рассказах», повествующих о вожде «блатных», короле Молдаванки — Бене Крике.

В уже упоминавшейся работе «Язык литературы», В. Гофман, говоря о «первых годах Октября и эпохе НЭП'а», отмечает, что:

«В литературную речь хлынули, например, из альманаха «Ковш» (1925 г.): «гоп», «стрема», «хаза», «калева задал», «маруха», «пасачи», «фартовый», «фрайер», «плашкет», «шпана», «животырка», «шмара», «ширмач», «потрекать», «на малинку», «делаш», «шухер», «хрять», «без сучка сидеть могила» и прочие блатные арготизмы» (В. Андреев, «Волки», стр. 152).

Не отстает от прозы и поэзия, о чем с тревогой вынужден говорить официальный орган — журнал «Комсомолия» (№ 11, 1926). Там, в статье М. Лучанского «Щепки» находим:

«Часть нашей поэзии последних годов совсем неравнодушна к «человеку без пуповины», выжатому социальному лимону, кавалеру ордена финки и «шпалера»: восхищается, лю-

---

[3] Почти теми же словами говорит через 25 лет и Федор Гладков в уже цитированной нами выше статье «Об одном позорном пережитке»:

«Хулиганство и озорство в разных видах часто воспринимаются подростками и молодежью, как выражение смелой независимости, как задор и молодечество».

буется им. Художественные образы этой поэзии с вполне определенной (Шершеневич), временами четкой (Сельвинский), иногда более (Есенин), порой менее (Полонская), ясностью убеждают в бегстве поэтов со строительных лесов нашего «сегодня» через подвалы пивных в темные логова «блатных малин».

Как в фокусе собран арготический материал в стихотворении И. Сельвинского «Вор»:

Вышел на арапа. Канает буржуй.
А по пузу — золотой бамбер.
— «Мусью, сколько время?» Легко подхожу...
Дзыззь промеж роги!! — и амба.
Только хотел было снять часы —
Чья-то шмара шипит: «Шестая».
Я, понятно, хода. За тюк, за весы.
А мильтонов — чортова стая.
Подняли хай: «Лови!» — «Держи!»...
Елки зеленые! Бегут напротив...
А у меня, понимаешь ты, шанец жить, —
Как петух недорезанный сердце колотит...

и т. д.

Из воровского жаргона в общеупотребительный язык оказались пересаженными синонимические ряды, как, например: купить, расколоть (обмануть), второе на «энкадевистском» жаргоне обозначает «добиться дачи показаний», особенно ложных; приварить пачку, выбить бубну, поставить бланж — модификации избиения; пистоны (деньги, в частности, звонкая монета); шайбочки (золотые); лимоны (миллионы — советские деньги периода инфляции); вспомним Маяковского: «Миллионом набит карман его (а не прежним) советским «лимоном» — из стихотворения «Лицо классового врага»; червяки (червонцы).

Следует отметить, что в связи с кратким «маленковским НЭП'ом» Советский Союз залила новая волна хулиганства. Все центральные газеты забили тревогу. «Комсомольская Правда» от 7 мая 1954 года жаловалась на то, что «понатыканы на каждом шагу пивные — «забегаловки». Это рассадники хулиганства». В той же газете от 13 мая 1954 г., в статье «Об одном неприглядном явлении», говорится:

«Идут домой (молодые рабочие — Ф.) — надо зайти в одну из многочисленных «забегаловок». Там присоединяются к нашим ребятам завсегдатаи подобных заведений — какие-то сомнительные опустившиеся личности, от которых за версту несет босяцким душком».

В последнее время в советской прессе всё чаще стали появляться статьи и карикатуры, высмеивающие «стиляг», «парней с тарзаньей прической», не интересующихся ничем, кроме западных мод, танцев и пьянства:

Внимание привлекал не он сам, а его ультра-модный наряд: длинный мешковатый пиджак, узкие зеленые брюки, галстук всех цветов радуги... Словом, это был типичный представитель племени «стиляг». (Ю. Дашевский, Это — общее дело; Лит. Газета, 19 июня 1954).

Тем не менее, «Комсомольская Правда» в номере от 8 июня 1954 г. вынуждена признать, что «некоторые начинают подражать пижонам и стилягам». В номере от 13 августа 1954 г. прямо говорится, что «у хулиганов и стиляг все вечера были свободные и они стали завсегдатаями в клубах, чувствовали себя хозяевами на улице, в общежитиях».

Несомненно, что под их влиянием в языке молодежи отчетливее зазвучала «блатная музыка». Однако, в связи с кампанией по очищению языка, начатой после нашумевшей дискуссии о языке 1950 года, эта специфика речи молодежи умышленно не отражается в литературных произведениях, хотя в прессе нередко встречаются упоминания о том, что речь того или иного лица пересыпана жаргонными словечками.

Иногда только в языковой характеристике героя допускаются полублатные вульгаризмы.

К «полублатным» словам первого поколения можно отнести очень популярное «мильтон» (милиционер). Очевидно, это название возникло в связи с тем, что советские блюстители порядка были первоначально вооружены револьверами системы «Гамильтон». Можно предполагать, что слово «мильтон» и произошло от скрещения вышеупомянутого названия оружия и слова «милиционер»[4].

Аналогично вышеприведенному эволюционному ряду можно указать на арготические синонимы слова «прекрасно»: босяцкие термины «грубó», «мировó», остраненно осмысленные обыкновенные слова «классно», «законно», и, наконец, выражение «на большой (палец)», а при желании создать впечатление чего-то особенно хорошего — «на большой с присыпкой» (что часто передавалось способом линейного, а не звукового языка, т. е. только при помощи соответствующего жеста):

---

[4] Со словом «мильтон», в свою очередь, связана классическая фраза — «Граждане, давайте не будем!», — настолько характерная для советского милиционера, что она даже послужила названием фельетона братьев Тур (И з в е с т и я, 21 мая 1937), в котором, между прочим, говорилось:

«...прибыли четыре милиционера. Поминутно козыряя и приговаривая свое излюбленное «Граждане, давайте не будем!», они оттеснили публику от двери...»

Здесь небезинтересно проследить, конечно, не осмысленное, не намеренное, но всё же «смягчение нравов»: «Даешь!» — грубый окрик первых лет Революции, призывавший не так к порядку, как к грабежу и насилию (а иногда и к политической агрессии — «даешь Европу!»), постепенно переходит в грубовато-увещевательное, еще во втором лице, «давай, давай!» или просто «давай...» (в единственном числе) с соответствующим глаголом, как, например:

— Давай веди огонь! (Симонов, Избранное, 336)

и наконец, расплывается в претендующее на вежливость «давайте не будем!»:

— Душевно убеждаю вас, как председатель, давайте не будем! (Леонов, Избранное, 538).

Последнее выражение стало настолько распространенным, что даже послужило названием литературного сборника:

Альманах, который называется «Давайте не будем!»... нацелен против бюрократизма, приспособленчества, протекционизма в литературной среде... (Л и т. Г а з е т а, 13 апреля 1954).

Хвалит он кого-то:

— Классный футболист! (А. Барто, Избранное, Сов. писатель, 1948, 125).

Гога признавал лишь «классную жизнь». Он так и говорил: «Я остановился в классной гостинице!», «У меня все девушки первого класса!», «В Энске я дал своим коллегам классный обед!» (Н. Асанов, Шептуны; К р о к о д и л, 10 июня 1954).

Особенно ярким примером применения арготизма «классный» является случай столкновения его со старым понятием, замкнутыми в той же лексической оболочке:

— Вот вы сейчас рассказывали о «Человеке в футляре», — обратился он к высокому юноше, — и употребили выражение «классная дама». Скажите, что оно значит?

Юноша замялся и, подумав, ответил:

— Ну, это, как вам сказать, очень красивая дама. Одним словом, классная! — и при этом даже поднял большой палец кверху. (Д. Райхин, Культура речи в школе, П р а в д а, 28 сент. 1939).

Слово «мировой» чрезвычайно распространилось, как эпитет, в речи советских людей:

Вспомнилась... дамочка с швейной машинкой — ух, мировая дамочка! (Панова, Кружилиха, 238).

Огромную роль в блатном окрашивании советского языка сыграли концлагеря, где власти намеренно совмещают уголовных и политических заключенных. «Командное» положение первых и полное бытовое подчинение им вторых приводит к тому, что немногие выживающие и возвращающиеся по отбытии срока домой политические несут с собой элементы «блата», привившиеся за долгие годы «перековки» в среде тех, кого большевики официально именуют «социально-близкими»:

...В воздухе рабочего барака висит густой мат и специфический лагерный жаргон. Русская речь понемногу забывается, уступая советской, грубой, хулиганской и циничной. (Розанов, Завоеватели белых пятен, 117).

В. Жирмунский («Национальный язык и социальные диалекты», стр. 154) правильно указывает, что «...в русском языке широкий разлив арготизмов наблюдался в первые годы Революции, в особенности в речи учащейся молодежи.

В эту эпоху получили распространение слова «шамать», «шпана», «буза», «шкет», «засыпаться», «подначивать», «заначить», «липовый» и мн. другие». Добавим кстати, что большинство этих слов не ново, как, напр., «шпана», фигурировавшая еще в «Толковом словаре» В. Даля (т. IV, стр. 1465):

«Шпана ж. так в Сибири называют бродяг, а также проходящих по дороге//Острож. коренное тюремное население».

Подтверждение тому, что арго не только после Революции было вхоже в язык русского общества, находим в статье В. Стратена «Арго и арготизмы»:

«...Отдельные элементы его (арго — Ф.) еще раньше попадали в рабочую и интеллигентскую среду, попадали разными путями — через люмпен-пролетариат и другие промежуточные слои. Немногие, вероятно, догадываются, что такие выражения, как загнать (продать), заговаривать зубы, задать лататы (бежать), держать фасон, дрейфить (дрефить), арапа заправлять, для близиру, завести волынку, очки втирать имеют общее с воровским жаргоном. Эти слова и многие другие, перестав быть тайными, еще в прежнее время отпали от воровского арго» (стр. 112).

На той же странице В. Стратен, приводящий примеры наиболее распространенных арготизмов, отмечает:

«...Любопытно также и то, что в рабочей среде такие слова меньше распространены, чем в комсомольской...»

В. Жирмунский переоценивает тот факт, что «организованный отпор, который встретило это явление в советской общественности, положил предел дальнейшему распространению арготизмов и лишь немногие из названных слов более или менее удержались в обиходном языке».

Вопреки этому утверждению мы видим, что отдельные арготизмы встречаются и у ведущих советских литераторов, непосредственно в языке самих авторов, а не выведенных ими персонажей:

Клава. Она уезжает. Нужно смотаться домой. (Катаев, Время вперед, 58).

Начал читать, и вот шаманить забыл, зачитался. (Шолохов, Поднятая целина, 126).

Что делать? Куда броситься? Подчиниться, протестовать, бузить? Аплодировать, смеяться или крыть? (Макаренко, Педагогическая поэма, 130).

Библия наизнанку
Про меньшевистскую шпанку.
(Бедный, Земля обетованная).

Закадычный друг Черемушкина, Федя Мычко... отличался от своего корешка лишь более светлыми волосами... (Вершигора, Люди с чистой совестью, 1, 3).

О том, что элементы «блата» и «полублата» проникли в литературную и даже научную среду, свидетельствует уже упоминавшийся выше В. Стратен («Арго и арготизмы», стр. 111):

«Кто у нас не знает, а подчас и сам не употребляет теперь таких слов как барахло, блатной, буза, бузотер, бузить, засыпался, крыть нечем, липа, липовый (фальшивый), малина (воровской притон), шпана, халтура, шамать, шамовка и пр. Из них халтура, бузотер стали вполне литературными, а другие недалеки от этого... Либединский в «Неделе» говорит о рынках и барахолках от себя, а не от действующего лица... Гладков в «Цементе» и Колосов в своих комсомольских рассказах настолько проникаются специфическим языком своих героев, что

в авторских ремарках повсюду рассыпают такие выражения, как «шкет», «шпана» и пр.».

Если у средне-культурного человека, не говоря уже о литераторе, арготизмы были ненужным привеском речи, то у обывателя-мещанина они просто часто отвечали низкому культурному уровню подобного лица и являлись основным материалом, которым это лицо оперировало. Впрочем, это был уже не чистый «блат» воровских притонов, а созданный по образу и подобию его набор словечек и фраз, паразитарно живущих на теле в общем еще здорового и могучего языка. Блестящую сатиру, впрочем, данную в очень большой близости к реальной действительности, находим в знаменитых «Двенадцати стульях» Ильфа и Петрова:

Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов...

Мадмуазель Со́бак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около 180 слов...

Эллочка Щукина (жена инженера с завода «Электролюстра» — Ф.) легко и свободно обходилась тридцатью.

Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого, многословного и могучего русского языка:

Хамите; хо-хо; знаменито; мрачный; мрак; жуть; жуткий; парниша; не учите меня жить; как ребенка (я его срезала как ребенка); кр-р-расота; толстый и красивый; у вас вся спина белая (шутка); подумаешь... и т. д.

Изображая специфическую категорию так называемых «девушек при» (т. е. вращающихся в спортивных, артистических и писательских кругах, но не принадлежащих к ним, а только использующих знакомство с представителями их, преимущественно мужчинами), Лев Кассиль (Щепотка луны, ГИХЛ, 1936, 226-27) пишет об одной из этих, внешне привлекательных и культурных, а в действительности поверхностных и жалко безграмотных особ:

«Говорила Жозя на странном жаргоне — смесь салонного шика с блатной музыкой: «Наплюньте на дело! Приходите к нам на станцию. Будет чудесная интеллектуальная кавардель. Можете привести с собой какого-нибудь инфернального охмурялу». Она напоминала нам знаменитую «людоедку Эллочку» из «12 стульев» Ильфа и Петрова. По крайней мере лексикон у них был приблизительно одинаков по объему».

Приведенный выше список эллочкиных «перлов» можно было бы дополнить подобными выражениями как:

не лишено; на все сто; что надо; этот может; сколько можно?; нет, а что же?; а я доктор? а я знаю?; вы правы, с вас полтинник; оправдываться будете в районе; дай пять (будет десять); за что боролись (за что кровь проливали?); катись колбасой по советской мостовой;

а также ряд выражений с употреблением указательных местоимений:

та девушка; от той мамы; типичное не то;

например:

«Типичное не то», — думал испуганный Кедр-Ливанский...
(Бр. Тур, Величие и крушение Кедр-Ливанского, Известия, 12 января 1936).

В то время как отдельные слова и фразы, собранные Ильфом и Петровым, создают юмористическое впечатление именно в своем комплексе, то некоторые выражения сами по себе юмористически окрашены:

...Мальчишка уже схлопотал от мамы по морде...

Через много лет это выражение мы встречаем в том же значении даже на страницах официальных «Известий» (7 апр. 1945):

Я уже в восьмом классе был и то как-то от нее по губам схлопотал за нахальное слово. (Т. Тэсс, Они побывали дома).

Сюда же можно отнести и выражение «приласкать кошелек (книгу)» и т. д., т. е. незаметно присвоить их:

Ей-бо, приласкал мешочек где-то.
(Бубеннов, Белая береза, 331).

Нельзя не отметить, что, согласно правильно сделанному в свое время замечанию уже упомянутого журналиста Сосновского, позже жестоко поплатившегося за свои объективные высказывания:

«У нас всегда так. Надо какому-нибудь злу проявиться в очень больших дозах, чтоб на него обратили внимание и им занялись серьезно. Тогда начинается ударная кампания, тогда гремят громы...» («Развенчайте хулиганство»).

В Советском Союзе в последние годы перед войной началась кампания по очищению языка, отмеченная рядом статей и фельетонов в столичной прессе.

Особенным успехом пользовался фельетон, напечатанный в одной из центральных газет и часто передававшийся по радио и читавшийся на эстрадных концертах о том, как один молодой профессор русского языка, решив отдохнуть от своих научных трудов, отправился в московский Парк культуры и отдыха и там на танцевальной площадке встретил стройную девушку, настоящую сильфиду, сразу же пленившую сердце ученого. Но как только окончился танец и профессор со своей партнершей отошел в тень сада, сильфида открыла рот и огорошила своего поклонника такими перлами:

— «Где это вы такой костюмчик оторвали? Материал здесь от той мамы» и т. д.

Употребление арготизма «оторвать» в подобном же смысле находим и у Шолохова в книге «Они сражались за родину»:

...за месяц поправился он на шесть килограммов. Вот это я понимаю, — оторвал парень. (Цит. по газ. «Русские Новости», Париж, 223 (49).

Следует отметить, что ходкое словцо «оторвать» применялось и в ином смысле, служа примером жаргонной полисемии:

Хорошо забежать с другом на приморский бульвар, оторвать на гитаре «Яблочко», поплясать под луной. (Ю. Крымов, Танкер «Дербент», 73).

Лагоденко «оторвал» матроскую чечетку. (Трифонов, Студенты, 200)[5].

Рельефным изображением того, как «...живая речь советской детворы, юношей и девушек засорялась всяким языковым мусором, отвратительными «блатными» словечками и пр.» (В. Викторов, «Язык великого народа», Комсомольская Правда, 16 окт. 1937), могут служить и два приводимых ниже поэтических текста. Последний из них, пародийный, ярко показывает, как «блатная музыка» опошляла даже любовь. Эти стихи приписывались В. Лебедеву-Кумачу, но так ли это, авторам данной работы, несмотря на их старания, установить не удалось, ибо они видели оба эти текста только в списках, с незначительными вариациями.

ВДВОЕМ С ЛЮБИМОЙ

Как день хорош; как ярко солнце светит,
Как хорошо итти вдвоем с тобой...
Вести беседы обо всем на свете
И пить душистый воздух голубой.
Медовый воздух... Им нельзя напиться,
Но может закружиться голова,
И сердце хочет вылететь, как птица,
И губы шепчут нежные слова...
Любимая, хорошая, родная...
Не знаю, как еще назвать тебя...
Весь ласковый словарь припоминаю,
Смеясь, и заикаясь, и любя.
Да что слова! У лучшего поэта
Для милых глаз едва хватает слов.
От кончика ботинок до берета
Я нежностью одеть тебя готов.
Так мы идем. И зелень полевая
Ромашками нам радует глаза,
А в воздухе, как-будто неживая,
Стеклянная повисла стрекоза.
«Счастливые часов не наблюдают» —
Пускай зовут нас в город поезда,
Сегодня двое в город опоздают,
Об этом знает первая звезда.

* * * * *

Ядрена вошь, как крепко солнце шпарит!
Лазурь небес до чортиков светла.
Как хорошо с тобою топать в паре,
Бузу тереть и заправлять вола.
А воздух, гад, с катушек сбить ловчится,
И вся горит в запарке голова,
И сердце начинает колбаситься,
И поневоле треплешься, братва.

---

[5] Подобная полисемия характерна и для чисто уголовного арго. Так, напр., всем известно переосмысление в тюремном языке (еще задолго до революции) женского уменшительного имени «Параша». В своем «Словаре Соловецкого условного языка», Н. Виноградов дает следующее доосмысление данного слова: «Параша, ши, ж. Вздорный слух, неправдоподобная новость».

В подобном значении употребляется это слово и в рассказе Б. Филиппова «Курочка» (сборник «Пестрые рассказы», Нью-Йорк, 1953, стр. 370):

Новости, именуемые в тюрьмах и лагерях «радиопарашами», все были невеселые и тусклые.

Гадюка, заводная, мировая,
Девчоночка, с присыпкой на большой,
Я от муры любовной изнываю,
Я влип, как сволочь, телом и душой.
Что говорить! Я влез с тобой в бутылку,
Засыпался до самых до волос.
Девчоночка, во всю мою любилку,
Люблю тебя от клифта до колес.
Мы топаем. Жарища как в мартенке,
И на полях шикарная буза.
Туда ее в крыло, и в хвост, и в зенки,
На солнышке психует стрекоза.
«Фартовые не смотрят на бимбрасы» —
Пропустим на-фить все мы поезда.
С тобой всю ночь готов точить я лясы,
Когда на стреме рыжая звезда.

В. Дыховичный и М. Слободской также высмеивают в сатирическом стихотворении «Боря Н.» молодого рабочего парня, изукрасившего всё свое тело замысловатой татуировкой, а речь — вульгарными словечками:

...Язык не иностранный,
Но все же очень странный,
У Бори нет словечка простого за душой.
Не скажет он «Пройдемся...»,
А скажет «Прошвырнемся...»,
Не скажет «Хорошо, мол»,
а скажет: «На большой!»
Он на язык дикарский, жаргонно-тарабарский,
Так переводит фразу: «Я завтра позвоню» —
«До вас я утром звякну,
Не звякну — в полдень брякну,
А нет, так перебрякну,
дозвякаюсь на дню».
(К р о к о д и л, № 35, 20 дек. 1950).

Однако, подобная лексика присуща не только «Боре Н.», которого авторы стараются подать, как некоторое исключение. Так, коммунист — дежурный по райкому партии в романе Вс. Кочетова «Под небом родины» (З в е з д а, № 11, 1950) тоже предлагает посетителю:

Вот телефон, брякните ему.

Даже говоря о Любе Шевцовой, героине краснодонской подпольной антинемецкой организации, А. Фадеев воссоздает ее лексикон, в который вкраплены такие же арготизмы:

Любка... всё тащила Сергея в кино или «прошвырнуться» по Ленинской. (Молодая Гвардия, 200).

Влиятельный советский критик А. Тарасенков подчеркивает, что язык героев В. Катаева в романе «За власть Советов» (даже старых большевиков) «засорен хулиганскими оборотами и так называемыми одессизмами». Впрочем, это и неудивительно, ибо в данном случае действие романа происходит в Одессе, но в той же статье «За богатство и чистоту русского литературного языка», помещенной в «Новом Мире» № 2 за 1951 год и являющейся откликом на знаменитую дискуссию о языке и, в частности, на статью Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», Тарасенков говорит:

«Особенно много вреда развитию советской литературы нанесла в области языка и так называемая южно-русская школа. Целая группа писателей в течение долгих лет культивировала в литературе так называемый одесский жаргон, представляющий собой крайнюю степень уродства и искажения русского языка. Первый начал эту разрушительную работу Бабель... но разве в «Интервенции» Л. Славина, в произведениях И. Ильфа и Е. Петрова, в стихах того же И. Сельвинского мы не найдем сколько угодно примеров этого уродливого языка? До последнего времени сохранили живучесть эти тенденции.

...Всё еще находятся писатели, которые склонны к засорению своей речи уродливыми выражениями и словечками, почерпнутыми из воровского жаргона, из рыночной лексики.

...Вот примеры из языка Л. Кассиля, писателя, пишущего для детей: «сопля задушевная», «плювай пожидче», «штаб меня на этот вопрос щупал», «а по ха не хо?», «без таланта и вошь не накарябаешь», «еще поживем, труба-барабан», «чорт знает, гроб и свечи», «молчи, закройсь», «от банки не отдирайся, хвостом не плюхай» (стр. 214).

Действительно, несмотря на ведущуюся борьбу, зло слишком глубоко въелось в язык. Об этом свидетельствует и фельетон некоего Г. Шапошникова — «Как Николай Петрович сделался критиком», помещенный в «Крокодиле» № 15, от 30 мая 1950 года:

«За обедом, покончив со сладкими пирожками, Федя во всеуслышание объявил:

— А вчера в шестом «Б» ребята настоящий шухер устроили!

— Что за выражения?.. Кажется, пора тебе говорить уже культурно? — строго заметил Николай Петрович, Федин папа, и укоризненно покачал головой.

Федя недоумевающе передернул плечами и продложал прерванную речь:

— Они не захотели пешком чухрать до самого музея и смылись, а Иван Петрович стал капать на них и угробил всех ребят.

— Это просто невыносимо! — возмутился Николай Петрович. — Откуда ты берешь все эти «капать», «шухеры», «чупрать»?

— Не «чупрать», а «чухрать», — поправил Федя, и с удивлением посмотрел на отца: — Да ты книг не читаешь, что ли?

— Каких книг? — испуганно переспросил Николай Петрович и даже отодвинулся от стола.

— Ты же сам мне недавно подарил, вот, посмотри! — и Федя подал с полочки новенькую книжку.

Николай Петрович прочитал: Г. Шолохов-Синявский. «Сухая юла». Повесть. Ростиздат, 1949.

— Нам Анна Платоновна, — продолжал Федя, явно обиженный недоверием отца, — на уроке русского языка как-то говорит:

«Мальчики, не засоряйте свою речь словесным хламом, выражайтесь литературно!» А мы ей эту книжку: «Объясните, пожалуйста, на каком языке здесь говорят?» Ну, она посмотрела и ухайдакалась сразу!

Николай Петрович пропустил мимо ушей диковинное слово «ухайдакалась» и выхватил «Сухую юлу» из фединых рук... Молча перелистывал книжку, потом вытащил блокнот и быстро стал записывать наиболее поразившие его изречения автора:

У г р о б л я т ь меня вздумали (стр. 31).

Я не позволю на себя к а п а т ь (стр. 31).

А насчет того ш у х е р а... (стр. 43).

Раньше времени не т р е п а т ь с я (стр. 47).

Заставлю пешком до самого отделения ч у х р а т ь (страница 72).

У х а й д а к а л с я Савка... (стр. 130).

Николай Петрович сердито захлопнул книгу и задумался.

Быть может, при помощи таких «жаргонных» словечек создается так называемый «местный колорит». Неужели передовые люди гиганта-совхоза... говорят на этом странном «чухрально-шухерском» наречии?

Предположим, писатель не понимает, что коверкая русский язык, он засоряет и устную речь нашей молодежи. Неужели же редактор не может поправить его, чтобы хорошую в общем книжку очистить от надуманных словесных выкрутасов и чуждых русскому языку «жаргонных» словечек?»

Приведенные образцы «словесного хлама», возмутившие фединого отца, по сути являются смесью двух элементов: так сказать, собственно блата («шухер» и т. п.) и областных вульгаризмов, тесно сросшихся с ним. Так, у В. Даля, в его «Толковом словаре», т. IV находим:

У х о н д а к а т ь, у х а й д а к а т ь что, кого, сев. тмб. ряз., (ухандакать сар. Оп.), (ухойдакать, -ачить пен. твр. Опд.), уходить, сгубить, истратить, доканать; убить (стр. 1114).

Ч у х р а т ь или почухрать куда, юж. поскакать; пойти, побежать (стр. 1383).

Но «блат» обозначает не только набор «жаргонных словечек», а и одну из сторон советского быта:

Если бы я придерживался истины, завоевывавшей тогда всё больше признания и гласившей, что «блат в период социалистического строительства решает всё», то от сборов я мог бы уклониться. (Соловьев, Записки советского военного корреспондента, 54).

В. Жирмунский раскрывает само значение слова «блат», выводя его из немецкого арго, где «platt» обозначает «свой» (говорящий на своем языке — см. «Нац. яз. и соц. диал.», стр. 286). Мы считаем, что именно это значение легло в основу советского

выражения «по блату» (синоним — «по букве з», — т. е. по знакомству)[6], где «свой» делает что-либо для «своего»[7].

Братья Тур, в своем фельетоне «Давайте не будем!», отмечали:

«Отвратительное и, к счастью, уже исчезающее явление, именуемое «блатом» создало свои особые термины, прозрачные и рискованные, полные намеков и недоговоренностей, неожиданных значений и многообещающих возможностей. Это был особый язык, рожденный в сомнительных распределителях, торговых базах и питательных точках, уже вымирающий, как вымер санскрит.

«Стимулировать»..., «обеспечить»..., «забронировать»... Все эти невинные и старые на первый взгляд слова имели, кроме прямого легального, еще и потайной смысл, двойное дно, скрытую пружину...» (Известия, 1 мая 1937).

Наблюдательные и умные авторы ошибались только в одном: «блат» не вымер и не исчез: пышным цветом он расцвел снова во время войны и в послевоенный период в связи с острым недостатком различных материалов.

Через десятилетие после статьи братьев Тур сталинские лауреаты всё еще вкладывают в уста своих героев — ответственных партийцев всё тот же жаргон;

Боюсь, начнет блатовать, а это мне не по душе. (Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды, 139).

Даже у поэта Н. Грибачева в его поэме «Колхоз «Большевик» один из героев упрекает другого:

...девкам модницам потакаешь,
Труд полегче даешь по блату...

Явление «блата», как противозаконного, но непременного элемента советской жизни, настолько всеобъемлюще, что появляется особый тип людей, сделавших «блат» своей второй, неофициальной специальностью, ставших, так сказать, мастерами этого дела:

Подумать только, что тот, другой, —
Просто пошляк и блатмейстер.
(В. Лебедев-Кумач, Избранное, ГИХЛ, 1950, 393).

Согласно общему закону языка о развитии синонимики того или иного понятия параллельно развитию и распространению отображаемого им явления, в русском языке советского периода появились синонимы «блата» и «блатмейстера» — ладут, ладутчик (кстати, последнее вытеснило такие слова, как «ловкач» и «дока», не обязательно имевшие до Революции криминальную окраску).

---

[6] В последнее время распространились и выражения: «Он ездит на ЗИС'е», или «Он пользуется ЗИС'ом», где популярная марка автомобиля является зашифровкой фразы: «Знакомства и связи».

[7] Ю. Марголин, в книге «Путешествие в страну зэ-ка», стр. 321, высказывает интересное предположение о происхождении этого слова:

«По блату» было, очевидно, еврейского происхождения. «B'laat» на языке Библии и Бялика значит «в тишине, потихоньку».

К вышеуказанным словам следует отнести и более узкие по смыслу «калым» и «калымщик». По ассоциации с восточным понятием калыма — выкупа за отдаваемую замуж девушку, первое слово стало обозначать плату, взимаемую шофером, находящимся на государственной службе, с частных лиц, которых он подвозит во время служебных рейсов. Сам шофер, занимающийся такими перевозками, стал называться «калымщиком».

Наиболее обобщающим термином, характеризующим комплекс незаконных махинаций, явилось старое наречие, доосмысленное по новому:

— Зарабатываешь слева, — сказал комбат. (Панова, Кружилиха, 235).

...не иначе, как «налево» ему возили... (Рыбаков, Водители, 203).

Прилагательное «левый» также означает что-либо полученное незаконным путем.

— Какие там машины — пара «зисов» с третьей автобазы.

— Ну... Это официально, да «левых» еще десяток.

Вертилин махнул рукой: какие там «левые»! (Там же, 188).

Соцсоревнование, навязываемое народу партией и правительством, построенное обычно на «дутых» показателях, и требование «рекордов», ловко инсценируемых для повышения норм выработки рядовых рабочих, повели к широкому распространению слова «туфта». Значение его, так же как и производного «туфтач» раскрыто М. Розановым (см. выше, стр. 85):

Прежде говаривали: «Вот арап! Ну и очковтиратель! Экая липа!»... А ныне скажут: «Туфтач!» или «Туфта!» — и всё понятно.

Как мы видим, влияние «блатных словечек», конечно, сплошь отрицательное, оказалось зависимым не так от «моды» на них, как от тесной связи их с самой спецификой советской жизни. Но своей популярностью в общем языке арготизмы обязаны другому моменту. Будучи своеобразным профессиональным диалектом преступного мира, арго отличается от других диалектов тем, что оно универсально, т. е. построено на иносказательности, метафоричности слов и выражений, взятых из всевозможных областей жизни. Внешне арго обладает более близким общему языку лексиконом («гудок» — галстук, «маслины» — пули и т. д.), в то время как производственно-профессиональные диалекты ограничены более узкой местной спецификой («фуганок», «шерхебель» и другие разновидности рубанка в столярно-плотничьем деле; «кайло», «обушок» — разновидности кирки у шахтеров и т. д.).

Наводнение общих языков арготизмами происходило и раньше. В первую очередь, конечно, следует указать на французский язык, в своих судьбах часто соприкасающийся с русским. Не проводя параллелей с русским языком советского периода, об этом растворении французского арго в городском просторечии говорит В. Жирмунский (Нац. язык и соц. диалекты, стр. 123), отмечая потерю им во второй половине XIX века прежней профессиональной замкнутости и «его смешение с парижским городским

просторечием, при котором собственно арго растворяется в более широкой сфере жаргонизмов и образных выражений обиходного языка».

* * * *

Как упоминалось выше, новая «генеральная линия партии» уже перед началом войны вела к очищению языка от арготизмов. Этот процесс, естественно, усилился в эпоху патриотического подъема, вызванного борьбой с немцами и тщательно культивировавшегося властями.

Но и во время войны, параллельно с высокими славянизмами и архаизмами (см. гл. «Язык войны»), призывавшими русского человека на подвиг ратный, из чисто пропагандных целей, для снижения образа врага, по адресу последнего допускалась не только брань, но и чисто уголовный жаргон:

> ...уже бегут с Украины твои гаулейтеры и человекоеды, домушники и маровихеры, зажав под мышками фомки... Хватай подвернувшееся барахлишко для своих белокурых берлинских марух... (Леонов, Размышления у Киева, Избранное, 617).

Итак, в последнее время создается тенденция двойного подхода к языку: с одной стороны, проводится политика очищения языка, обслуживающего, так сказать, «внутренние» темы, с другой стороны, не только допускаются, но и культивируются элементы «блатной музыки», вводимые в тексты, предназначенные для ошельмования истинных и мнимых врагов Советского Союза.

И теперь в советской прессе мы находим арготизмы, но уже в связи с опорачиванием союзников и соратников по еще недавно совместно выигранной войне. Так, усердно осуществляющий политику партии по натравливанию советского народа на Запад, сатирический журнал «Крокодил» от 10 сентября 1950 г., помещая «Альбом преступников», следующим образом характеризует видных американских деятелей:

Фамилия	—	Ачесон.
Имя	—	Дин.
Кличка	—	Дипломат.
Уголовная специальность	—	Белодомушник.
Фамилия	—	Даллес.
Имя	—	Джон.
Кличка	—	Джонька-Каин.
Уголовная специальность	—	Наводчик...

и т. д.

Несмотря на кампанию по очищению языка в пределах «внутренних тем» и на то, что некоторым писателям в связи с этим было предложено переписать свои романы (как, например, Ф. Гладкову в отношении «Цемента»), «блатная музыка» звучит под сурдинку даже в произведениях сталинских лауреатов последних лет, став, очевидно, органическим аккомпаниментом речи советского человека:

> У тебя вот насос барахлил. (Рыбаков, Водители, 146).

— Вот возьмем, да купим!
— А вот слабó! (Трифонов, Студенты, 32).

В своем последнем романе «Времена года» (стр. 253) В. Панова так передает язык рабочих-активистов, обращающихся к партийцу-выдвиженцу:

«Смотри только, Степа, не забурей!» — а у жены его Тони спрашивали: как там Степан — не буреет? Тоня, смеясь... отвечала, что буреет: до того забурел[7], что в молодежный клуб его не вытащишь, ходит только в «Деловой дом».

Таким образом, советам вряд ли удастся очистить русский язык от засоривших его арготизмов. Однако, следует надеяться, что с исчезновением породивших их явлений, отомрут и уродующие речь слова, ибо еще Ломоносов отмечал, что русский язык «имеет природное изобилие, красоту и силу, чем ни единому европейскому языку не уступает. И для того нет сумнения, чтобы российское слово не могло приведено быть в такое совершенство, какому в других удивляемся»[8].

VI. ЯЗЫК СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Но поэзия —
пресволочнейшая штуковина:
существует —
и ни в зуб ногой!
Маяковский, «Юбилейное».

Затрагивая в данной главе тему, немаловажную для понимания развития русского языка при советах, мы хотели бы предупредить читателя, что он не найдет в ней литературной оценки советской поэзии, а только обзор того нового в ее языке, что стало вхожим в него после Революции. Потому авторы почти не затрагивают, например, такого видного поэта, как Пастернак, внесшего много нового в русскую поэзию, но не в ее язык.

* * * *

Поэзия, как совокупность образов, совершенно своеобразно перерабатывает язык обыденной жизни. Один из русских филологов, К. Зелинский, правильно замечал, что поэзия — это «деформированная по особому логическая речь». Пушкин в свое время шел еще дальше в своей характеристике поэзии, утверждая, что последняя должна даже выглядеть немного глупой. Но никто никогда не отрицал необходимости сохранять минимальные эстетические нормы в применении их к поэзии, как высшему проявлению художественной речи.

Правда, человечество всегда колеблется в своих понятиях эстетических норм, то приближаясь к античным, то удаляясь от них. Но ни в одну эпоху не наблюдалось такого забвения двух

[7] Забуреть — зазнаться, заважничать. — Ф.
[8] Краткое руководство къ краснорѣчію, 1748. ч. 1, стр. 3.

золотых правил — правды и красоты, как в эпоху большевистского господства.

Здесь не помешает вспомнить теорию великого русского ученого Ломоносова, предусматривавшего в языке три «штиля», — высокий, средний и низкий, где «высокому», конечно, предоставлялась область поэзии. Современный лингвист проф. Л. Щерба делит язык на 4 слоя: торжественный (лик, вкушать), нейтральный (лицо, есть), фамильярный (рожа, уплетать) и вульгарный (морда, жрать).

«Высокий штиль» или торжественный синонимический слой задолго до Революции, отчасти уже в пушкинские времена, был вытеснен из поэзии «средним штилем» (нейтральным слоем). Буднично-разговорным языком широко пользовался гражданский поэт Некрасов в середине XIX столетия. Из ближайших же по времени к Октябрьской революции поэтов, совершенно отказавшихся от напыщенности и манерной салонности, можно назвать акмеистов (Гумилев, Ахматова и др.), противопоставивших туманно-высокопарной поэзии символистов свои четко шлифованные и классические по простоте и выразительности языка произведения.

Но никогда в русском языке, а вместе с ним и в русской поэзии не было такой резкой грани между двумя периодами, как между до — и послеоктябрьским. На это указывает Н. Заболоцкий («Язык Пушкина и советская поэзия», Известия, 25 янв. 1937), подчеркивая, что у советских поэтов «...безвозвратно исчез язык замкнувшегося в своей комнате интеллигента. Исчезли мистические «откровения» провидцев и кликуш. Всё меньше остается книжности, искусственности и архаической манерности поэзии прошлого». Но язык советской поэзии от этого мало выиграл, так как одновременно с исчезновением этих недостатков, появились гораздо более глубокие и многочисленные пороки, о которых речь будет ниже. Во всяком случае Н. Степанов («О словаре советской поэзии», Литературная учеба, № 1, 1934, стр. 25) совершенно прав, заявляя: «Если мы сравним словарь советской поэзии со словарем дореволюционных поэтов, то найдем неизмеримо большую разницу, чем, даже, например, между словарем поэзии до- и послекарамзинской поры».

Советские критики, указывая на бóльшую разницу между до- и послеоктябрьским периодом, чем между до- и послекарамзинским, хотят, конечно, подчеркнуть бóльшую значимость Октябрьского переворота для развития языка, чем смены литературных течений конца XVIII века, когда условно-классический стиль был вытеснен сентиментально-романтическим.

Но несомненно, что разная степень различия здесь также зависит и от того, какого характера новшества привносились поэтами, в первую очередь ведущими, той или иной эпохи. Об этом говорит Р. Будагов, в своей книге «Слово и его значение» (изд. Ленинград. университета, 1947):

«Г. О. Винокур различает два рода новаторства писателей: стилистическое новаторство и собственно языковое нова-

торство. Новаторы первого типа стремятся ввести в литературный язык уже известные слова из народного, просторечного, разговорного и технического обихода. Самым крупным представителем такого новаторства был Пушкин... (стр. 39). Иначе поступал Маяковский, работая над неологизмами и вводя в литературный язык дотоле вовсе неизвестные слова. Разные эпохи вызвали разное отношение к словотворчеству у двух крупнейших представителей русской поэзии» (стр. 40).

К. И. Былинский («Язык газеты», под ред. Н. Кондакова, стр. 179) утверждает, что «В. Маяковский произвел глубокую революцию в поэзии, и благодаря, главным образом, ему наша литература решительно отказалась от специфически поэтической лексики и ввела в поэзию все словарные богатства языка».

Сам Маяковский, каламбуря, замечал, что в русскую литературную речь вторгся «язык безъязыкой улицы», причем, как это ни парадоксально, первым глашатаем этой уличной толпы (правда, литературным) стал эстет и символист Александр Блок в своей известной поэме «Двенадцать» (1918). В словарь Блока, до тех пор такой утонченный и изысканный, вторгается фольклор петроградской улицы 1917 года с такими непоэтическими образами и эпитетами, как «брюхо», «портянки», «толстозадая», «холера» или обращениями, то вульгарно-ругательными — «Ну, Ванька, сукин сын, буржуй...», то просторечными — «Поддержи свою осанку, над собой держи контроль», которые звучали бы немыслимо в прежних мистических или эстетизирующих городскую повседневность стихах Блока.

Близкий Блоку по лирической напевности и по мягкости стихотворного штриха Сергей Есенин, тоже, как в кривом зеркале, совместил:

Мир осинам, что раскинув ветви
Загляделись в розовую водь...

со стихами, в которых

забила
в салонный вылощенный сброд
мочой рязанская кобыла. (Мой путь).

Есенин нередко нарочито груб:

На кой мне чорт,
Что я поэт...
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну
Только...
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани. (Там же).

К чорту чувства, слова в навоз,
Только образ и мощь порыва.

Но грубил в стихах не только Есенин, а почти каждый советский поэт: и романтичный Багрицкий —

У комбрига мах ядреный,
Тяжелей свинчатки,
Развернулся и с разгону
Хлобысть по сопатке. (Дума про Опанаса)

и жеманный комсомольский селадон Уткин —

Но чуток холера-садовник...

и Александр Прокофьев:

...Штандарты несли дроздовцы —
бражка оторви да брось...
...сбита с катушек Демократия...
...Бейте по сусалам...
и т. д.

Ведущий, в свое время, комсомольский поэт Безыменский не только вводил в свои произведения брань:

Матерщинил он лампу и душу,
И Калинина
И боженят.
. . . . . .
— Жулик я! — рвал он глотку,
Мать мою эдак язви!

но и оперировал терминологией преступного мира:

Шкет, плашкет, «за рупь купите»,
Шпингалет, коровья вошь.
(Стихи о комсомоле).
(См. главу V. «Блатные» элементы).

Если у тех или иных поэтов грубость и сквернословие всё же ложились отдельными пятнами, то у Маяковского они въелись в творчество, иногда переплетаясь с по сути поэтическими образами, например, «луны»:

Луна, как дура
почти в исступлении.
Глядят глаза
блинорожия плоского. (Чудеса).

или «розы» —

Придешь ночью —
Сидят и бормочут.
Рассвет в розы —
Бормочут стервозы. (6 монахинь).

Даже целым стихотворениям Маяковский иногда давал такие названия, как «Сволочи», «О дряни».

У Маяковского наблюдается не вкрапление вульгаризмов, а целые строфы, облеченные в вульгарную форму.

Бьет мужчина
даму
в морду.
(Хорошо).
Морду в кровь разбила кофейня,
Зверьим криком багрима.
(Война объявлена).
Мордами пушек
в колонии тычась.
(Два соревнования).
буржуям под зад
наддают
коленцем.
(Хорошо).

Но наибольшей виртуозности в сквернословии достиг небезизвестный Демьян Бедный. Достаточно указать хотя бы на такие строчки:

Вы хорошего слова не скажете,
Сдерете с него скорее штаны
И задницу мажете!
Распросукины все вы сыны!
(Что делается).

Особенно проявил себя Бедный на поприще антирелигиозной пропаганды, где пытался, путем опошления Святого Писания, представить религию в смешном виде; для этого ему необходимо было мобилизовать весь набор известной ему ругани.

Пресловутое «Евангелие без изъяна евангелиста Демьяна» — букет самого грубого словоблудия, образец безудержной похабщины — печаталось, однако, в газетах (в частности, в «Правде») и распространялось среди населения многотысячными тиражами с целью антирелигиозной пропаганды. Да это и не удивительно. В своей статье «Поэзия в газете» (Литературная Газета, 5 мая 1948) Семен Кирсанов подчеркивает:

> «Только в революционной большевистской газете, в ленинской «Правде» возникла поэзия Демьяна Бедного, содержанием и духом соответствовавшая тому, что давала в статьях большевистская газета».

Не приводя нецензурно-кощунственных строк, касающихся Непорочного Зачатия, напомним, что апостолы у Демьяна Бедного выражаются таким языком:

«Отгони, Господи, от себя эту холеру...
Пошла вон отсюда,
Паскуда!»

Подобный лексикон, однако, не помешал известному критику В. Кирпотину выступить в статье «Народность поэзии Демьяна Бедного» (Правда, 20 мая 1936) с такими хвалебными строчками:

> «Оригинальное и большое художественное мастерство Демьяна Бедного ярко выразилось в языковом строе его поэзии. Идеи и образы, проникнутые светом самого передового мировоззрения, он выражает изумительно простым русским языком, используя всё богатство его словаря... Он пишет для миллионных масс и пишет на языке, доступном миллионам...»

Необходимо добавить, что многие из этих миллионов, независимо от степени их религиозности, воспринимали с внутренним возмущением и отвращением кощунственные стихи Д. Бедного, получившего достойную отповедь в стихотворении С. Есенина «Я часто думаю, за что Его казнили...». В этом потрясающем по силе и искренности ответе, конечно, не опубликованном по цензурным соображениям, но ходившем по рукам в списках, Есенин с большой страстностью заявлял:

Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил
И не задел своим пером нимало.
Иуда был, разбойник был,
Тебя лишь только не хватало.

Называя автора «Евангелия без изъяна...» Ефимом Лакеевичем Придворовым, Есенин недвусмысленно показывал, что своим словоблудием Д. Бедный (настоящая фамилия — Придворов) только выполнял партийный заказ своих хозяев.

Впрочем, в отношении безудержной вульгарности от Демьяна Бедного старался не отстать и Илья Сельвинский, преподносивший в своей «Улялаевщине», одно время довольно популярной среди советской молодежи, такие «перлы»:

Гоп-чук-чук-чук гопапа
Поп попихе поперек пупа попал.
А попиха осерди?лась вся
Да попенком разре?ши-ла-ся. (Стр. 53).
А Вошь, обжираясь, пузырила пузо,
Дрыща яйцами в ямки сел. (Стр. 19).
Сашка Лошадиных — матрос с броненосца,
Сиски в сетке, маузер, клеш. (Стр. 13).
Россия во чреве растила удар,
Разнесший ее христомордый образ. (Стр. 10).
...Апосля того сказал:
Дуй, босота, на базар,
Сграбим лошадь карюю,
Накормим пролетарию. (Стр. 49).
Но эта стервятка, трах ее тах,
Любит эдак — между прочим.
(Лиза Лютце, 47)

Однако, в отчетный сборник за тридцать лет «Русская советская поэзия» (1917-47) ни одно из цитированных выше «произведений» Д. Бедного и И. Сельвинского не вошло. Вообще во всем сборнике ясно чувствуется тенденция подобрать стихи, наиболее «идеологически-выдержанные», но не отклоняющиеся от норм общелитературного языка в соответствии с послевоенной политикой его очищения. Так, например, творчество Сельвинского, за исключением «Великого океана» (1932) представлено стихами 1940-44 гг., преимущественно с военно-патриотической тематикой.

Возвращаясь к довоенному творчеству советских поэтов, отметим, что, пытаясь придать своим стихам не только исключительную экспрессивность при помощи отрицательной силы вульгаризмов, но и натуралистическую просторечность, они прибегали к словам и выражениям, характерным для хлынувшего в литературу простого люда.

Если у Есенина находим такие строчки, как:

...с лаем ливисто ошалелым
меня встрел молодой ее сын. (Сукин сын)

или

Письмо как письмо.
Беспричинно.
Я в жисть бы таких не писал. (Анна Снегина),

то они свидетельствуют о том, что Есенин не совсем порвал с простонародной лексикой, близкой ему по природе.

У Маяковского же, образованного литератора, происходившего из дворянской семьи, просторечности не самодовлеющи, а служат как бы внутренней юмористической окраске:

День — труд
Учись!
Тыща ремесл
Дел.
(Марш комсомольцев).

Скостит в копейку
задолженность с вас,

Чтоб выпотрошить
рупь.
(Лицо классового врага).

У таких поэтов, как Багрицкий, Безыменский и Уткин находим намеренное опрощение лексики:

...Топал к Штолю-колонисту,
А к Махно попал ты!
(Багрицкий, Дума про Опанаса).
Комиссар, товарищ Коган
Барахло скидает. (Там-же).
За Махной идет погоня
Аккурат неделю. (Там-же).
И вот оттуда
Голодранцем в Москву припер.
(Безыменский, Стихи о комсомоле).

Только думала спать
Как у хутора
Загундосил опять
Кто-то муторно.
Завалилось ко мне
Трое гавриков... (Уткин, Свеча).

Даже Пастернак в таком обязывающем к поэтичности языка стихотворении, как «Венеция», соблазняясь аллитерацией, в описании города-красавца прибегает к достаточно неблагозвучному выражению:

Шли волны, шлендая с тоски.

Литературный критик С. Малахов в статье «Поэзия» (Ежегодник литературы и искусства на 1929 г., Москва, 1929, стр. 94), говоря о В. Саянове, отмечает:

«Естественные в известном количестве «смачные» слова рабочего языка превращаются в случае их усиленного подчеркивания в так называемую «блатную музыку», эстетически смакуемую Саяновым. Приведу подобный подбор слов, взятых из одного только стихотворения «Как опять закружатся тальянки»: «шебуршать», «копер», «фефела», «рыло», «зюзя», «угрохать», «шлындать», «грубáя» (красивая), «шеманать», «вахлаки», «фольшек» и др.».

Много позже, в период усиленной кампании за очищение русского языка, вызванной выступлением Сталина в дискуссии о языке, организованной газетой «Правда» летом 1950 г., В. Саянов каялся в своей статье «Заметки о языке» (З н а м я, № 1, 1951):

«Я был одним из представителей комсомольской поэзии. В наших ранних стихах была отражена жизнь комсомола эпохи гражданской войны. Мы увлекались «новыми» словечками, цветистой, разухабистой речью «братишек»... Мы не понимали того, что не в речи «братишек» следует искать основы нового литературного языка» (стр. 149).

Итак, в русской поэзии советского периода происходил сложный двойственный процесс. Поэзия, контролируемая партийными органами, должна была стилизоваться под грубые вкусы неискушенной в изящной словесности серой массы. У Маяков-

ского в большой степени это была поза и только частично — «социальный заказ», значительно добросовестнее выполнявшийся другими (Бедным, Безыменским и т. д.).

Что касается поэзии военных и послевоенных лет, то на фоне даже более или менее удачных в поэтическом и языковом отношении стихотворений Симонова, Суркова, Щипачева и других, ярким пятном выделяется «Василий Теркин» А. Твардовского. Разбору этого талантливого произведения посвящена интересная статья М. Орлова «О языке и стиле поэмы А. Твардовского», помещенная в третьем номере журнала «Русский язык в школе» за 1954 год.

Автор подчеркивает исключительное богатство языка поэмы, достигаемое применением оригинальных сравнений, метафор, разговорной лексики и фразеологии и широким использованием фольклорных моментов. Обращаясь к живому народному русскому языку А. Твардовский не занимается искусственной прививкой к языку поэзии отдельных просторечных слов и выражений, как это делали Уткин, Безыменский и пр., недостаточно знакомые с подлинным народным языком и заимствовавшие из него наиболее вульгарные элементы. Бытовые просторечия широким потоком вливаются в поэму, написанную в плане отталкивания от приподнятой, патетической речи.

Эпитеты поэмы в большей своей части восходят к бытовому языку, особенно же обширную группу составляют просторечные глаголы:

Ладит Теркин от удара
Хоть бы зубы заберечь.

Нам из этой кутерьмы
Некуда податься.

Несмотря на военную тематику, военная терминология совершенно отсутствует в поэме или же подвергается метафорическим переосмыслениям:

Занимай высоты в бане,
Закрепляйся не спеша!

...немец правым глазом
Наблюденья не ведет.

Отметим также, что, кроме пресловутого «сабантуя» и грамматического новаторства:

Пусть ты чорт. Да наши черти
Всех чертей
Во сто раз чертей,

Твардовский не создает никаких собственных неологизмов.

Хотя «Теркин» впервые появился в газете, он не подпал под влияние газетного шаблона, не потерял своей самобытности. О том же, что пресса навязывает стихам свою специфику, откровенно говорит поэт С. Кирсанов:

«...Газета обязывала поэзию быть массовой... Газета, предъявлявшая к поэту требования земной, грубой ощутимой реальности, влияла на формирование поэтов новой советской формации. Поэт обязан был погрузиться в экономические сводки, в цифры планов строительства нашей страны. Не будучи

хорошо ориентированным в политике, поэт неизбежно оказался бы несостоятельным тогда, когда острый политический момент потребовал бы от него выступления в печати» («Поэзия в газете», Литературная Газета, 5 мая 1948).

Таким образом, и поэзию, связанную с наиболее вневременными и внепартийными ценностями человечества — природой, вечными добродетелями и вечными страстями, советы попытались большевизировать и поставить на службу самой узкой агитации и пропаганде. Конечно, это не всегда удается, несмотря на то, что поэты, лойяльные к советскому режиму, подобно Маяковскому, часто, по его же словам, «наступали на горло собственной песне». Борьба обычно кончается смертью одного из двоих: гибнет поэт, если не смиряется песня, если же смиряется поэт — гибнет песня.

Очень часто советские поэты сводят искусство стихосложения до степени рифмованной прозы, да к тому же и сами рифмы, по свидетельству А. Чивилихина («О языке литературных произведений», Звезда, № 11, 1950, стр. 167) оказываются не на должной высоте:

> «Употребление глухих, весьма и весьма неполных рифм, усеченных рифм стало делом обычным... Небрежное обращение с рифмой ведет к ослаблению рабочей дисциплины поэта, делает работу над стихом необычайно легкой..., дает возможность пренебречь тщательным отбором слов».

Когда такая неотработанность рифм была исключительно нарочита у футуристов и вводилась в порядке эпатации мещанина или оригинальничания, это еще не теряло своей художественной функции, но в дальнейшем, питаясь тривиальностью советских будней, язык поэзии (исключая относительно немногочисленные новообразования) стал органически перерождаться, утверждая, в свою очередь, в литературе новые, лишенные эстетического смысла, формы.

Да и вообще красота формы, как что-то самодовлеющее, дающее эстетическое наслаждение в своем непосредственном восприятии, не только не культивируется, но и преследуется в Советском Союзе. Форма — слишком объективна, она мешает достижению субъективных целей коммунистической партии: «Формалистические стихи не напишешь на плакате, их не прочтешь с трибуны на митинге», — восклицает тот же Сергей Львов, в вышеупомянутой статье.

Сужение, и тем обеднение, поэзии при советах обуславливается в первую очередь повсеместным навязыванием ей публицистичности, без которой она вообще не мыслится профессиональными большевистскими поэтами: «...поэт без публицистического дела дисквалифицируется и, нет-нет, ляпнет где-нибудь совсем уже альбомное». (С. Кирсанов, «Поэзия в газете», Литературная Газета, 5 мая 1948).

Поэты, чувствующие несовместимость подлинной поэзии с казенной прессой, сковывающей и мертвящей поэтическую мысль, призываются к участию в советских газетах: «...Что те-

ряет поэзия в газете? Абстрактность, субъективную замкнутость, ограниченность формы, — именно то, что поэзии обязательно надо было терять!» (Там же).

К сожалению, русская поэзия при советах потеряла значительно большее.

Став служанкой политики, она запестрела неологизмами-советизмами. Появились названия стихотворений — «Партбилет», «Партъсъезд», «Комсофлотский марш» (Безыменский), «Разговор с фининспектором о поэзии», «Голосуем за непрерывку» (Маяковский) и чуть ли не каждая строфа наполнилась новыми словами-сокращениями:

Мы и теперь идем одним путем.
Ян в ЦКК. Митяйка правит в тресте.
Семен — предвик. Борис ведет завком.
Жорж у станка. В селе врачует Вера.
Алеша-ша
Стал скульптором большим.
Заворгом — Петр, Володька инженером.
Завшколой — Макс, фельетонистом Ким.
(Безыменский, Товарищи).

Мы сдали первыми разверстку
Эсеровский смели совет...
Мы помогали продотрядам
Красноармейкам запахать.
(Безыменский, Стихи о комсомоле).

Создалась пятерка:
В нее вошли — ветврач, агроном,
Медврач, учитель, профделегат больницы.
(Бедный, Что делается).

Для нас теперь понятней всех пословиц
«Эмка не выдаст, учраспред не съест».
(А. Безыменский).

К такому языку уже не могут быть приложены слова акад. С. Обнорского:

«Мы должны активно наблюдать за своей речью, корректируя ее в согласии с показаниями наших грамматических или ответственных словарных изданий, а особенно воспитывая себя на образцах стихотворной речи классических представителей русской литературы». («Культура русского языка», страница 24).

Главным материалом специфически-советских поэтических произведений стали политические и общественно-хозяйственные термины. Иногда они, сочетаясь с потоком производственной лексики, сводились к плоскому перечню техницизмов и советизмов:

Экскаватор. Мотор. Комбайн.
Жесткий деррик. Турбина. Трос.
Катерпиллер. Совхоз. Колхоз.
(Безыменский, Стихи о комсомоле).

Недаром О. Берггольц заявила с трибуны Второго съезда советских писателей: «...личность поэта просто совершенно исчезла из поэзии; она была заменена экскаваторами, скреперами, каналами...» (Литературная Газета, 24 дек. 1954).

В свое время Н. Грибачев, возмущаясь тем, что критик С. Трегуб объявил «новым слозом советской поэзии» поэму некоего Г. Горностаева, привел в своей статье «За высокую идейность и художественность литературы» (И з в е с т и я, 7 авг. 1949) некоторые строки из этого «произведения», как, например:

На высоте мораторного кольца
Поссорились два лица:
«Скуратов 1000 заклепок».
«Без курносых знаем».
«Эх, ты, тетя Клепа!
Проворонил знамя».

Однако, язык и самого Грибачева оказывается далеко не поэтическим, за что его «мягко журит» известный критик А. Тарасенков:

«Следует талантливому поэту Н. Грибачеву отказаться от таких громоздких выражений как «парнишка из Р. У.», «главресторан», «облздравовский ПО-2», «предколхоза из райисполкома», «райагроном». Право же они не украшают поэтическую речь, не способствуют ее благозвучности». (Н о в ы й М и р, № 2, 1951, стр. 213).

Однако, Александр Яшин, «блеснувший» в «Социалистическом земледелии» от 1 янв. 1949 г. такими «перлами» как стихи «Новогодняя перекличка» —

...Как у вас в делянах «Ветки»
С выполненьем пятилетки?
Рад Михайла Кичакова
Поздравлять с успехом новым.
Он в Плесецком лестранхозе
Лес на гусеничном возит.
На степном Алтае осень
Пробыл я в «Сибмериносе»
и т. д. и т. п.

не только не вызвал справедливого возмущения критики, но и оказался... лауреатом сталинской премии II степени за 1949 год, по отделу «Поэзия».

Отметим, что в последнее время всё чаще раздаются голоса протеста против непоэтичности советской поэзии, если можно так выразиться. Видный советский поэт С. Щипачев в своей статье «Поэзии — могучие крылья» (П р а в д а, 19 сент. 1954) откровенно признает, что «советская поэзия страдает некоторой тематической и жанровой узостью, это обедняет ее и, что греха таить, делает порою скучноватой».

В журнале «Крокодил» от 10 июня 1953 г. В. Бахнов и Я. Костюковский высмеивают поэта, лихорадочно перебирающего в памяти всё, им написанное, чтоб прочесть девушке стихи о любви:

Сначала вспомнил он поэму
Про травопольную систему,
В ней тема острая взята,
Потом —
написанный с любовью
Сонет о росте поголовья
Крупнорогатого скота.
Пришли на ум стихи «Задворки»,

В них много вдохновенных слов
О методе поточной сборки
И размещеньи санузлов...

Стихов же о любви у поэта так и не нашлось, и пришлось бедняге прочесть с чувством:

Я помню чудное мгновенье...

Прав был Н. Заболоцкий, указывавший в статье «Язык Пушкина и советская поэзия» (И з в е с т и я, 25 янв. 1937) на то, что:

«...Нашу современную поэзию можно упрекнуть во многих грехах, но упрекать ее в щепетильности по отношению к словарю, конечно, не приходится. Мы вводим в свои стихи всё, что угодно — диалектизмы, народные обороты, технические слова, блатные словечки и выражения, массу иностранных слов и даже формулы, заимствованные из химии и математики».

Ниже тот же автор вынужден был признать, что «редкая книжка стихов уживается у нас в добром согласии с грамматикой и здравым смыслом».

Неудивительно, что при подобном положении вещей поэтическое творчество в Советском Союзе пришло в такой упадок, что партийные руководители советской литературы вынуждены были принять срочные меры.

Так, на расширенном заседании президиума Союза советских писателей, состоявшемся 5-6 января 1954 г., специально обсуждался вопрос об «отставании» поэзии. Н. Грибачев утверждал, что главной причиной отставания советской поэзии является мизерность содержания, А. Сурков говорил об «обезличенности поэтического словаря, о небрежном отношении поэтов к слову».

Несмотря на свежесть таланта некоторых поэтов, в частности А. Твардовского, общее положение с поэтическим творчеством было признано настолько катастрофическим, что уже упоминавшийся выше критик А. Тарасенков вынужден был констатировать:

Мы часто жалуемся на упадок поэзии, ищем разнообразные причины этого печального явления и забываем, что поэзия должна быть поэзией, что она есть прежде всего — мышление образами. Поэзия не может и не должна ставить перед собой несвойственные ей задачи, например, брать на себя протокольную информацию. (О поэтическом образе, Л и т. Г а з е т а, 26 января 1954).

* * * * *

Возвращаясь к вопросу о языке поэзии, признаем, что если в злободневной публицистической поэзии неэстетические советизмы, возможно, еще и были в какой-то степени уместны, то этого никак нельзя сказать об области чистой поэзии, где диссонанс, вызываемый несоответствием метафоры и метафоризируемого элемента, разрушает поэтичность произведения:

Я хочу,
чтоб сверхставками спеца
получало
любовищу сердце.
(Маяковский, Домой).

Дни.
В белом ли фартуке зимы
Или в зеленой прозодежде лета.
(Безыменский, Стихи о комсомоле).

Но из этого отнюдь не следует, что неологизмы не могут обогащать язык поэта. В то время, как футуристы делали упор на звуковую, а не смысловую сторону нового слова, а декаденты зачастую увлекались созданием новых слов на иностранной основе, крупнейшие советские поэты творили свои неологизмы почти исключительно на материале родного языка. В этом отношении очень показателен Есенин, на смерть которого Маяковский писал:

У народа,
у языкотворца,
Умер
звонкий
забулдыга-подмастерье.

Одной из черт своеобразной грустно-теплой лирики этого поэта являются неологизмы, обычно, представляющие собой краткие имена нарицательные женского рода:

Как же мне не прослезиться,
Если с венкой в стынь и звень
Будет рядом веселиться
Юность русских деревень

или

Бедна наша родина кроткая
В древесную цветень и сочь...
(Анна Снегина).

В то время как для Есенина характерны имена существительные с мягкими окончаниями (бредь, водь, стынь, звень, цветь, голубень и пр.), встречающиеся, правда, и у Маяковского, последнему более свойственны новообразования глаголов, главным образом приставочных, и прилагательных (часть которых построена на каламбурах: инцидент исперчен, однаробразный пейзаж):

Напрасно пухлые руки взмолены.
(Потрясающие факты).

А нам не только новое строя
фантазировать,
а еще издинамитить старое.
(150.000.000).

Рельсы
по мосту вызмеив,
Гонку свою
продолжали трамы.
(Хорошо).

Общая мысль
воедино созвеньена...
(Владимир Ильич).

...молоткастый
серпастый
советский паспорт.
(Стихи о советском паспорте).

...не расхвалит
языкастый лектор...
(Рабочим Курска).

Иди,
побеждай российскую дурь
Против
быта блохастого[1].
(Арсенал ленинцев).

Всё вышесказанное не исключает того, что у Маяковского мы находим также целый ряд новообразованных существительных:

Дом Кшесинской
за дрыгоножество
Подаренный,
нынче —
рабочая блузница.
(Владимир Ильич).

Поэт
и прозаик
и драмщик зачах.
(На что жалуетесь),

а у Есенина — образные прилагательные:

Ты светишь августом и рожью
И наполняешь тишь полей
Такой рыдалистою дрожью
Неотлетевших журавлей.

Вот опять петухи кукарекнули
В обосененную тишину.

Некоторые есенинские слова стали такими популярными, что их можно считать прочно вошедшими в речевой обиход:

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.

Ты по собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.

Что касается Маяковского, то по свидетельству Г. Винокура (см. ниже, стр. 31) «...нет сомнения в том, что изобретаемые им новые способы выражения Маяковский никогда не считал годными к употреблению и необходимыми в общем русском, особенно — письменном языке». Однако, проф. Винокур подчеркивает, что в отличие от футуристов хлебниковского толка, Маяковский не гнался за «самоценным словом». Он искал новые языковые нормы не потому, что его собственный язык представлялся ему самодовлеющей ценностью, а потому, что обычный язык не удовлетворял его, как стилистическое средство его поэзии.

---

[1] Можно отметить, что «аст» является излюбленным суффиксом Маяковского.

Мы позволим себе более подробно остановиться на языковом новаторстве Маяковского потому, что он является в этом отношении ведущим поэтом советской эпохи, вызвавшим неисчислимые подражания, и на самой работе Г. Винокура — «Маяковский — новатор языка» (Сов. писатель, 1943), представляющей собой исчерпывающий анализ словотворчества поэта. Написанная в разгар новой Отечественной войны русского народа, эта книга показывает, что даже, казалось бы, дерзкие новшества поэта находятся в неразрывной связи с историческими моментами русского языка. Таким образом, Г. Винокур в определенной степени продолжает общую линию советской пропаганды военного и послевоенного времени (см. гл. VII) о преемственности русской культуры, в частности, языковой традиции прошлого, подчеркивая, что «этого рода новаторство... может быть названо естественным, потому что нередко имитирует реальную историю языка, создает, следовательно, факты языка хотя и небывалые, новые, но тем не менее в о з м о ж н ы е, а нередко и реально отыскиваемые в каких-нибудь особых областях языкового употребления: например, в древних документах, диалектах, в детском языке и т. д.» (стр. 15).

Так, например, одним из характерных новообразований в языке Маяковского является превращение несклоняемых имен существительных в склоняемые. Но Г. Винокур указывает (стр. 33), что «неизменяемых существительных в русском языке очень мало, сравнительно с изменяемыми, и все они принадлежат или к числу иноязычных заимствований, составляя особенность языка книжного, городского, цивилизованного, или к числу новейших сложносокращенных слов. Поэтому, попадая в диалектную речь и в свободные, непринужденные типы устной городской речи, они своей структурой подчиняются господствующей морфологической норме и превращаются в слова склоняемые» (см. гл. VIII, стр. 166).

Проф. Винокур также обращает внимание на пристрастие Маяковского к употреблению существительных со значением отвлеченного действия, по своему образованию представляющих собой чистые глагольные основы, напр., «рыд», «фырк», «теньк» и т. д., совсем непродуктивные в общем языке, но более частые в языке старинном и народном.

Обращая внимание на уже не раз подчеркивавшееся особое положение притяжательных прилагательных в системе языковых средств поэта, Г. Винокур указывает, что Маяковский употребляет притяжательные прилагательные от слов, которые или вовсе не имеют при себе прилагательных в общем языке, либо производят только прилагательные относительные (стегание о д е я л о в о, от налогов н а р к о м ф и н ь и х, вопли а в т о м о б и л ь и, стропила с о б о р о в ы и пр.):

> «Поэтическая цель подобного словоупотребления совершенно прозрачна и продиктована Маяковскому общим его стремлением к уничтожению «разницы между лицом и вещью», установление которой Потебня считал одним из признаков нового периода в истории русского языка, в отличие от древнего.

Таким образом, мы еще раз сталкиваемся с тем фактом, что несомненное новшество в языке Маяковского есть ни что иное, как воскрешение того, что когда то было вполне живым явлением русской речи и продолжает в ней и сейчас жить подспудной жизнью, как намек и возможность, хотя и представляется явлением, исчезающим в современном литературном употреблении. И в самом деле, как указывает Потебня, в древне-русской речи было возможно не только «сын В л а д и м и р о в», «дочь И р о д и а д и н а», но также и «взвеяние ю г о в о», «о к и я н о в о течение», «зуб з в е р и н», «свет м е с я ч и й» и т. п., причем между примерами первого и второго ряда не было разницы в значении» (стр. 45).

Исходя из замечания Потебни: «первоначально всякое притяжательное предполагает существительное в значении особи и есть притяжательное личное», Г. Винокур объясняет пристрастие Маяковского к многочисленным притяжательным прилагательным на - и й, - о в, - и н, произведенных не от названия вещей, но от названий лиц и животных (сердце ч е л о в е ч ь е, к туше л о ш а ж ь е й, г е н ь и н а мастерская, тома ш е к с п и р ь и, баллад п о э т о в ы х и пр.) тем, что в данных случаях исходное существительное предстает как о с о б ь, лицо, живой носитель свойства.

Анализируя языковое новаторство Маяковского в области глагола, Г. Винокур останавливается прежде всего на глаголах, образованных поэтом от наречий, междометий и звукоподражаний, подчеркивая, что они вполне в духе того, что дает в данном отношении повседневная обиходная речь, в особенности городского общества.

Даже останавливаясь на столь характерных для Маяковского увеличительных суффиксах в именах существительных отвлеченных (любовище, смертище, войнище и т. д.), Г. Винокур показывает, что этим поэт несомненно имитирует явление, хорошо известное в фамильярной аффективной речи (тощища, силища, виннще).

Такие неологизмы, как сложные слова «рыхотелье», «многопудье» и пр. также построены по образцам давно существующих слов: «благополучье», «долголетье» и т. д.

Свою книгу Г. Винокур заканчивает утверждением, что «язык поэзии Маяковского и есть язык городской массы, претворивший художественную потенцию фамильярно-бытовой речи в собственно-поэтическую ценность».

Если в основном словесное новотворчество связывается с именами крупнейших русских поэтов советского периода — Есенина и Маяковского, то и у других поэтов отмечаются некоторые новообразования:

Наследственность и смерть —
Застольцы наших трапез...
(Пастернак, Пиры).

Не пить первача в дорассветную стыдь...
(Багрицкий, Арбуз).

Еще бежит из тела
Болотная ржавь.
(Багрицкий, Разговор с комсомольцем).

Однако, сейчас еще рано судить, какие из этих новообразований оставят след в языке. Вероятно, немногие. Ведь около четверти века тому назад А. Горнфельд («Муки слова», стр. 181-3) писал:

«Нет нужды напоминать здесь о том, с какой массой разнообразнейших словесных новообразований выступили футуристы всех величин и толков от Бурлюков до Маяковского, от Игоря Северянина до Крученых. Пожалуй, целый новый том Даля могли бы заполнить эти полчища новых слов. Но не понадобится этот новый том Даля, потому, что словарь Даля есть словарь живого великорусского языка, а эти словечки не очень живые... Не на много успели мы отойти от победоносного набега, который совершили, скажем, словесные неистовства Игоря Северянина на русскую литературную речь. А много ли осталось от них в языке...»

Но можно надеяться, что с уничтожением тоталитарного режима поэзия перестанет покорно выполнять социальный заказ и вернется в обычное, положенное ей русло высокого искусства. Не смешиваясь со злободневной публицистикой, она избавится от прозаизмов, вульгаризмов, техницизмов и прочих непоэтических элементов. Недаром Проспер Мериме в свое время отмечал:

«Будучи богатым, звучным, живым по простоте ударений и бесконечно разнообразным в звукоподражаниях, способным к наитончайшим оттенкам, одаренным, подобно греческому языку, могуществом почти безграничного творчества, русский язык кажется нам созданным для поэзии».

VII. ЯЗЫК ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Советские книги и газеты, так же как и радиопередачи военного и послевоенного периода, свидетельствуют о том, что за годы войны и время после ее окончания в русском языке не возникло ничего принципиально нового. Наоборот, язык во многом возвратился в старое дореволюционное русло и даже запестрел архаизмами[1]. Эту тенденцию отмечает и поэт М. Слободской, правда осуждая и высмеивая советских поэтов, увлекающихся архаизирующими речь словами и выражениями:

[1] Здесь уместно привести слова С. Ожегова («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 32):

«За последнее десятилетие, отчетливее, чем за все предыдущие периоды нарождается новая закономерность в использовании современным общенародным языком и, главным образом, в стилях публицистической, ораторской и художественной речи, языкового наследия прошлого. Старые слова и выражения вовлекаются в живую ткань современного языка для придания речи особой выразительности, подчеркивающей важность, значение, величие описываемых явлений или стоящих перед народом задач».

Бывает: автор разбитной
Иной
Живет далекой стариной
Одной.
Он со старинным говорком
Знаком
И только древним языком
Влеком.
«Понеже», «всуе» и «зане»
Одне
В его писаниях пестрят
Подряд.
Он не напишет: «я смотрю» —
А «зрю».
Не «глядя» скажет, он, а «зря».
(и зря.),
Не «город» скажет он, а «град»
И рад,
Что все слова его глядят
Назад...

(Цит. по Новому Русскому Слову, 30 янв. 1951).

Но в защиту архаизмов, с циничным подчеркиванием роли устаревших слов в процессе разогревания патриотических чувств советских граждан выступил журнал «Звезда», где редактором и неусыпным блюстителем «правильности генеральной линии» после разгрома «идеологически-невыдержанной» редакции в августе 1946 года был назначен А. Еголин, с сохранением за ним должности заместителя начальника Управления пропаганды ЦК ВКП(б):

«...Наши критики часто порицают поэтов за употребление архаизмов... Но изничтожением некоторых, на первый взгляд, устаревших слов заниматься тоже не следует, они бывают необходимы, они обладают способностью вновь становиться полнокровными, как это было, например, со словами «священная война» в недавние годы. Вообще надо более осторожно подходить к словам, о которых полтораста лет говорят, что они устарели...

...А. Тарасенков, критикуя Прокофьева за употребление архаизмов, напрасно нападает на такие слова, как «стольный город», «пресветлая», которые, конечно, в бытовой речи не употребляются, но всегда были милы сердцу русского человека». (А. Чивилихин, «О языке литературных произведений», Звезда, № 11, 1950).

Если бы десять-пятнадцать лет тому назад советский гражданин начал употреблять эти «милые русскому сердцу слова», его обвинили бы в «великодержавных тенденциях», «поповщине» и пр. и сочли бы вообще «чуждым элементом», но возрождение религии в СССР или, вернее, ее лицемерная легализация привели к появлению в литературе не только бытовых архаизмов, но и так называемых церковно-славянизмов, ранее немыслимых в советском языке. Это коснулось не только поэзии, по своему характеру более склонной к выспренности, чем проза:

Верю: ныне и присно
Жить тебе, как легенде,

И в граните, и в гипсе,
И в литом монументе.
(С. Испольнов, «Пехотинец», О г о н е к, № 35-36, 1946),

но даже очерка:

Где вы работаете, я вас спрашиваю... в Донбассе или на небеси... (Б. Галин, «В одном населенном пункте», Н о в ы й М и р, № 11, 1947).

Такое явление может быть объяснено стремлением советов мобилизовать все силы для победы над врагом, уже подбиравшимся к самому сердцу Советского Союза. Стремительное продвижение немецких армий достаточно ясно показало, что народ не собирается защищать «достижения советской власти», и руководители партии и правительства спешно обратились к тому, что могло тронуть сердце русского человека, вдохновить его на борьбу.

Правда, Храм Христа Спасителя, построенный в честь победы русского оружия над Наполеоном, с мраморными досками, на которых были воспроизведены воззвание к русскому народу об ополчении, описания сражений с французами, манифест о взятии Парижа и другие государственные акты, относящиеся к событиям 1812-14 годов, был непредусмотрительно и непоправимо разрушен большевиками, якобы для постройки Дворца Советов. Но в немногих еще уцелевших церквах зазвонили давно умолкнувшие колокола, десятки тысяч пропагандистов закричали о славном боевом прошлом русского народа, вытаскивая из «запретного фонда» библиотек описания подвигов русских полководцев. Советским поэтам спешно было приказано писать патриотические стихи, связывающие героическое прошлое с безрадостным настоящим. Подобная «новая идеологическая политика» чрезвычайно наглядно отражена в стихах Николая Тихонова:

Растет, шумит тот вихрь народной славы,
Что славные подъемлет имена.
Таким он был в свинцовый час Полтавы
И в раскаленный день Бородина.
Всё тот же он, под Тулой и Москвою,
Под Ленинградом, в сумрачных лесах...

и патриотических песнях В. Лебедева-Кумача:

...Навеки слилась величаво
Под сенью советских знамен
Былая российская слава
Со славою новых времен.

Массы, в течение многих лет слышавшие, что «у пролетариата нет отечества», теперь призывались понести величайшие жертвы во имя победы России во «Второй Отечественной войне». Для придания этому славному прошлому еще большей ощутимости были введены ордена Александра Невского, Кутузова и Суворова, а на Украине — Богдана Хмельницкого. Интересно, что слово «Россия» повсеместно вытеснило «РСФСР» и даже стало синонимом Советского Союза в целом. Леонид Леонов, бывший председатель Союза советских писателей, написал в 1943 г., несомненно выполняя социальный заказ, специальную статью

«Слава России», где отождествление России и СССР выступает необыкновенно выпукло:

«С вершин истории смотрят на тебя песенный Ермак и мудрый Минин и русский лев Александр Суворов, и славный, Пушкиным воспетый мастеровой Петр I, и Пересвет с Ослябей, что первыми пали в Куликовском бою... Взгляни на карту мира, русский человек, и порадуйся всемирной славе России. Необозрима твоя страна». (Леонов, Избранное, 593-4).

Это подтверждает и Г. Климов, рассказывая, что

«...В оккупированной Германии, все как один, русские солдаты и офицеры неожиданно стали употреблять слово «Россия»... Иногда мы по привычке говорим «СССР», затем поправляемся — «Россия». Нам это самим странно, но это факт.

В течение четверти века употребление слова «Россия» влекло за собой обвинение в шовинизме и соответствующую статью в кодексе НКВД. Даже читая классиков, это слово нужно было произносить торопливым шопотом. Этот, казалось бы, мелкий факт бросается в глаза, когда слово «Россия» сегодня звучит в устах поголовно всех солдат...» («В Берлинском Кремле», П о с е в, № 40, 1949).

Ярким примером такого санкционированного свыше возрождения слова «Россия» являются и следующие строчки того же Н. Тихонова:

Вновь над Кремлем заря горит, в огне просторы снеговые.
И Сталин миру говорит о гордом жребии России

и того же В. Лебедева-Кумача:

...Россия, Россия, Россия,
Веди нас к победам вперед!

Даже в государственном гимне, заменившем «Интернационал» (оставшийся гимном партии), и исполнявшемся впервые в новогоднюю ночь 1944 года, появились неожиданные строчки:

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

Здесь исконное название «Русь» поставлено в тесной связи с архаичным же прилагательным «нерушимый».

Слово «русский», ранее употреблявшееся чрезвычайно редко и неохотно в отношении современности, за исключением определения национальности в паспорте, начало применяться на каждом шагу.

В этом отношении чрезвычайно показательно знаменитое стихотворение Константина Симонова, пользующееся большой популярностью, где слово «русский» повторяется чуть ли не в каждой строке:

...с простыми крестами их русских могил...
По русским обычаям только пожарища
По русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирают товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
...Я всё-таки горд был за самую милую,
За русскую землю, где я родился.

За то, что сражаться на ней мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что в бой провожая нас русская женщина
По русски три раза меня обняла.

Если бы это стихотворение появилось на несколько лет раньше, оно обеспечило бы автору длительное пребывание в дальних лагерях по обвинению в «великодержавном шовинизме». Однако, во время войны оно удачно выполняло «социальный заказ».

Увлечение всем русским повело и к возрождению презрительных кличек других народов Советского Союза, находившихся под запретом в течение десятилетий, например, «хохлы»:

А кто ее знает, русская она или хохлушка. (Вершигора, Люди с чистой совестью, II, 36).

Хохол, а терпения не имеешь... (Лидин, Изгнание, 20).

...степенный, с сизыми усами хохол... (Там же, 11).

Казалось бы, что при подобном выпячивании роли героического прошлого, творчество новых слов не могло быть особенно интенсивным. Тем не менее, в военный период родился ряд слов, отображающих новые понятия.

Знаменитая немецкая тактика окружений, когда железными тисками зажимались многотысячные армии, породила новое слово «окруженец», т. е. человек, попавший или побывавший в окружении:

...в лесах много окруженцев, недавно пробилась целая часть... (Эренбург, Буря, 324).

Окружение же — Einkesselung, Kessel по-немецки — дало и русскую кальку:

«Котел» в районе города Скала. (Известия, 3 апр. 1944).

«Котел» под Бродами. (Известия, 22 июля 1944).

К этому же тематическому кругу можно отнести и такие выражения, как «Большая земля» и «Малая земля»[2]:

На Большой земле наши товарищи отражают удары врага. (Эренбург, Буря, 335).

В то время, как Большой землей называлась территория на восток от линии фронта, т. е. свободная от немецкой оккупации, под Малой землей подразумевались районы действия партизан в тылу врага.

На Большой земле были организованы специальные школы для подготовки будущих партизан. Лица, прошедшие такой курс, «забрасывались» воздушным или иным путем в тыл врага:

---

[2] Термин «Большая земля» употреблялся и раньше, — так полярные зимовщики называли материк, от которого они были оторваны. Особенно часто это наименование встречалось в связи с нашумевшим дрейфом «папанинцев»:

...Работники радио, телефона, телеграфа, которые помогали нам держать связь с Большой землей, работали отлично...

(Из обращения Э. Кренкеля к связистам Советского Союза, от 17 марта 1938 г.).

Отметим кстати, что и позже, выходец из Советского Союза

Три месяца назад, после ранения, его вывезли с «Малой земли», куда он был заброшен в первые дни войны. (Капусто, Наташа, 149).

А что, думаю, если забросили тебя, вот так же, как нас, в тыл к врагу, и осталась ты одна. (Фадеев, Молодая Гвардия, 210).

— Я заброшенная — добавила она, помолчав, и вздохнула, как-будто слово это означало именно покинутость, сиротство ее, а не просто способ, каким она очутилась здесь, в недавнем глубоком тылу немцев. (А. Твардовский, «Поцелуй», Известия, 30 дек. 1945).

Так как партизаны основную свою деятельность направляли на нарушение коммуникаций противника — подрыв мостов и железнодорожных путей — возникли выражения: «отремонтировать мост» и «рельсовая война»:

Первый раз вижу. Ковпаковцы переходят под мостом и не пытаются его «отремонтировать». (Вершигора, Люди с чистой совестью, изд. испр. и доп., 453).

Тогда никто из нас еще не знал слов «рельсовая война». (Там же, 343).

Сами же партизаны делились на организованных из центра и «диких», действовавших по своему усмотрению:

Вы не думайте, мы не «дикие»[3]... мы с обкомом связь держим, да и в штабе армии о нас сведения есть. (Лидин, Изгнание, 63).

Человек, присланный для «приручения» партизан, т. е. осуществления связи между ними и партийным центром, назывался «хозяином». Бывали случаи, когда лицом, осуществляющим партийное руководство, являлась женщина. Так, в пьесе Л. Леонова «Ленушка» мы находим в перечне действующих лиц:

ТРАВИНА Полина Акимовна — инструктор райкома, хозяйка. По ходу действия один из партизан говорит этой же Травиной:

— Да мы и тебя, Полина Акимовна, толком не знаем. Откуда ты к нам хозяйкой в темную ночь свалилась? (Леонов, Избранное, 559).

Эта лексическая деталь, звучащая парадоксально при ком-

Л. Д. Ржевский, говоря об эмиграции и земле, которую она покинула, т. е. о СССР, — употребляет тот же термин:

— Ведь культурная жизнь на «Большой земле» не оборвалась, как иные предсказывали, а продолжалась.

(Национальная культура и эмиграция, Лимбург, Посев, 1952, стр. 6).

[3] Термин «дикие» также не нов в Советском Союзе. Еще задолго до войны он применялся к курортникам, не имевшим ни «путевок», ни «курсовок», сохраняясь в этом значении и в послевоенные годы, как мы можем видеть из фельетона «Вместе с «дикой мамой», помещенном в «Крокодиле» от 10 июля 1953 г.:

...в термине «дикая мама» нет ничего порочащего... «Дикой» ее называют лишь потому, что она везет на курорт своих ребят без санаторной путевки или курсовки, неорганизованным, диким, так сказать, образом.

мунистическом режиме, является в то же время и очень показательной. Еще недавно слово «хозяин» почиталось чуть ли не архаичным, ассоциируясь с понятием ликвидированного «классового врага» — фабриканта или зажиточного крестьянина. В последние годы оно стало обозначать в первую очередь, правда неофициально, неограниченного властителя СССР — Сталина, а за ним и местных крупных партийных работников вроде секретарей крайкомов, обкомов ВКП(б) и т. д.:

По принятой в московских верхах манере, он прибегает к расплывчатому обозначению «хозяева», за которым подразумевается Сталин и Политбюро. (Г. Климов, «Диалектический цикл», Грани, изд. «Посев», Германия, № 10, 1950).

Иногда для создания новых слов используются уже такие далеко не новые для советского языка формы образования как абревиатуры разных видов:

Смерш (Смерть шпионам) — особый отдел при военных частях; дзот — дерево-земляная огневая точка; уровец — боец укрепленного района: Вчера ушли уровцы — укрепрайон, забрали все свои пулеметы. (Некрасов, В окопах Сталинграда, 17).

Чего бы ни отдал он, чтобы только попасть хотя бы самым что ни на есть последним номером в батарею «эрэсовцев», как гордо называли себя гвардейские минометчики (от РС — реактивный снаряд — Ф.). (Алексеев, Солдаты, 64).

...старшина роты доверял ему возить продукты с ДОП'а... (дивизионный обменный пункт — Ф.). (Там же, 80).

Возникли целые новые семантические гнезда, как, например, «развед».

Нужно было суммировать все разведданные, добытые за прошлые сутки, и дать задание разведгруппам на следующую ночь... Я собрал пачку разведдонесений... (Вершигора, Люди с чистой совестью, 1, 56).

Щупленький командир разведвзвода... (Некрасов, В окопах Сталинграда, 319).

В разведотдел предлагали — пленными заниматься... (Там же, 270).

Сюда же относится и слово «разведрота».

Наряду с обычными официальными и неофициальными терминами появились и такие, где абревиатура, благодаря ее буквенной зашифрованности, несла и функцию эвфемизма:

Светлана горько усмехнулась.

— В общем я эн-бэ. Знаете? Немецкая... — она на мгновение запнулась, — немецкая барышня... (Павленко, Счастье, 124).

Кстати, для обозначения близкого понятия в советской армии прибегали также к абревиатуре:

Таких жен — на месяц или на год — называли «ППЖ» («походно-полевая жена» — Ф.), над ними обидно посмеивались. (Эренбург, Буря, 517).

Некоторые старые русские слова стали применяться в новом значении:

Так, «зажигалка» повсеместно обозначала зажигательную бомбу:

...Как насыпал раз немец зажигалок... (Тихонов, Девушка на крыше, Ст. и пр., 231).

А потом он самолетом зажигалки бросать будет. (Вершигора, Люди с чистой совестью, 1, 53).

Слово «щель» стало обозначать примитивное бомбоубежище, вырытое в земле:

Носилки не влезли в узкую «щель». (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 81).

«Ломовиками» стали именовать транспортные самолеты:

...гоняясь за «ломовиками» он расстрелял весь боекомплект. (Там же, 15).

«Ястребок» стал синонимом советского самолета-истребителя. Не меньшая образность проявилась и в ряде других названий:

...еще один «У-2» прожужжал над оврагом.

— Кукурузник.

— А у нас на Северо-западном «лесником» звали.

— Ну, это как где. Где какая природа, — рассудительно сказал третий голос. — Где кукуруза, — там кукурузник, где огородов много, — там огородник, а где лес, — там лесник. Главная причина, что летает низко, землю любит. (Симонов, Дни и ночи, 196).

Это — «У-2», знакомый каждому самолет, «огородник», как снисходительно, с отцовской лаской называют его боевые пилоты, — «мотоциклетка», «воздушный велосипед». (Известия, 16 августа 1942).

«Кукурузник»... В газетах его называют «легкомоторный ночной бомбардировщик». (Некрасов, В окопах Сталинграда, 206).

...маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах «лесником», на центральных — «капустником», на юге — «кукурузником», всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот... (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 234).

А. Н. Кожин в своей небольшой, но интересной статье «Переносное употребление слова» (см. «Библиографию») указывает, что вышеуказанные прозвища самолет У-2 получил за способность садиться на самые неудобные площадки, лесные полянки и даже огороды, а также за способность маскироваться в кукурузнике при преследовании вражеских самолетов. Приводя многочисленные примеры А. Кожин упоминает (стр. 23) и о других названиях этого фронтового любимца:

У-2 называли «землемером», «Иваном-полунощником» (очевидно, за то, что самолет выполнял боевое задание по большей части ночью), «крылатым связистом», «тихоходом».

«Костыль», «рама» и пр. на фронтовом языке обозначали различные типы немецких самолетов:

Это был ненавистный «костыль», «Кривая нога» — немецкий разведчик. (Известия, 15 янв. 1943).

По утрам появлялась «рама» — двухфюзеляжный разведчик «фокке-вульф». (Некрасов, В окопах Сталинграда, 15).

«Певуны» или «музыканты» по нашему, «штукас» по немецки, красноносые, лапчатые, точно готовые схватить что-то птицы. (Там же, 147).

В воздухе появился «горбач» — корректировщик. (Гроссман, Годы войны, 76).

...летала фашистская «керосинка», потрескивающий шумливый самолет. (Там же, 188).

...одномоторные пикировщики «Ю-87» имели неубирающиеся шасси. Шасси эти в полете висели под брюхом. Колеса были защищены продолговатыми обтекателями, было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапти. Поэтому летная молва на всех фронтах и окрестила их «лаптежниками». (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 275).

Таким образом, мы видим, что народная фантазия особенно изощрялась в наименованиях самолетов не ограничиваясь сухими сокращенными обозначениями вроде «як», «лаг» и «ил»:

Стерегут наши позиции и города юркие машины — «ястребки», «Лаги», длиннотелые «Миги», «Яки», особенно любимые нашими летчиками за отличные летные качества..., штурмуют они на бесподобных «Илах» противника на земле... (Известия, 25 июня 1942).

Лексическая изобретательность русского солдата распространяется и на другие виды военного оборудования, вооружения и боеприпасов:

...связист, тянувший по траншее «нитку» до наблюдательного пункта... (Алексеев, Солдаты, 8).

Накануне Вороненко достал у мальчишек две ручные гранаты «Ф-1». Он обменял «фенек» на стакан фасоли... (Гроссман, Годы войны, 158).

...«Фокке-Вульф» высыпали, как из мешка, на село трескучие «хлопушки» — маленькие бомбы с удлиненным взрывателем, вроде мин, разрывающиеся над поверхностью земли и дающие огромное количество мелких осколков. (Алексеев, Солдаты, 520).

...в присуствии самоходных орудий, тридцать-четверок и танкеток, что в просторечии войны зовутся малютками... (Леонов, Избранное, 124).

Слово «катюша», ранее обозначавшее самолет типа «К-7», теперь приобрело новое, вытеснившее первоначальное, значение. Ею стали называть многоствольный миномет, прозванный немцами «Stalinsorgel»:

Вслед за «катюшами» с левого берега заговорила артиллерия. (Симонов, Дни и ночи, 197).

Очевидно, немецкое значение этого слова стало известным и в советских войсках, что породило и соответствующее выражение:

Командир пехотного подразделения позвонил по телефону на батарею гвардейских минометов (официальное наименование «катюш» — Ф.), стоявшую неподалеку, и попросил «сыграть разок». (Смирнов, В боях за Будапешт, 74).

— Ну, как, сыграем по рву?..

— А ну-ка, светик-катюша, пропой-ка разочек... (Капусто, Наташа, 198).

— Катюши заиграли — сказал Каюткин... (Фадеев, Молодая гвардия, 452).

Намекая на сильные вспышки огня при залпах гвардейских минометов, «катюшей» иронически стали называть и примитивный светильник — «коптилку» или «моргалик». Такие светильники появились еще в начале Революции, когда бездействовали электростанции, и снова вошли в обиход в связи с разрушениями, вызванными войной:

Выгорал солидол в «катюше». Наташа доливала коптилку. (Капусто, Наташа, 183).

Спичек нет! Одними «катюшами» народ прикуривает. (Казакевич, Весна на Одере, 232).

Значение слова «катюша» в последнем примере становится особенно ясным из следующих строк сборника «Фронтовой фольклор», стр. 108:

«Катюшей» бойцы называют кресало и трут, эту незаменимую в походной жизни принадлежность: «У тебя нет «катюши? — Дай-ка огонька».

Но никак нельзя согласиться с приведенными в том же сборнике словами проф. Ожегова о том, что

«катюша» стала нарицательным именем, прозвищем для всего, что приносит в жизнь известное облегчение, удобство. Появилась железная печка, входит гость: «И у вас «катюша»? — говорит он».

Несомненно, что такая печка «времянка» облегчала быт советских людей во время войны, но несомненно и то, что шутливое прозвище гвардейских минометов[4] было перенесено на все названные выше предметы именно из-за вспышек огня, а не из-за приносимого ими удобства.

Как можно наблюдать в примере с «катюшей», некоторые слова переживают в пределах послереволюционной эпохи свое дополнительное осмысление; это видно и в слове «времянка», возникшем в начале Революции для обозначения железной печки, затем временно-оборудованного цеха строющегося предприятия, при частичном пуске последнего, а позже, во Второй Отечественной войне доосмысленном понятием временного око-

[4] Отметим и полушутливое, полуязвительное прозвище неудачливых бойцов-миномётчиков: «мимомётчик» (см. сб. «Фронтовой фольклор», 106).

па. И после войны, в мирной обстановке, продолжает развиваться полисемия этого слова. Огромные разрушения, принесенные войной, привели к строительству временных жилищ (по большей части землянок) или к временному восстановлению полуразрушенных домов:

В маленькой хате-времянке не уместилось и половины собравшихся. (П р а в д а, 2 февр. 1950).

...даже добрая половина вновь отстроенных домов и домишек, в конце концов, тоже не больше, чем времянки... (Симонов, Дым отечества, 94).

У того же К. Симонова еще в раннем, довоенном произведении — поэме «Пять страниц» находим очень образное использование указанного слова, где он идет от частного к общему:

Ты ее не любила за грязные чашки и склянки
И за то, что она ни тепла, ни светла, ни бела,
За косое окно, за холодную печку-времянку
И за то, что времянкой вся комната эта была.

Чем типичнее, показательнее для данной эпохи семантическое зерно того или иного слова, тем шире его полисемия. Не удивительно, что в Советском Союзе столь многозначно слово «времянка».

Были доосмысления, произошедшие и на более узком отрезке времени. Так, абревиатура «КП», обозначавшая во время войны «командный пункт»:

Ширяевский КП находился в подвале... (Некрасов, В окопах Сталинграда, 18)

и встречавшаяся также и в слоговой форме:

— ...Они по ту сторону дороги живут... В капэ.
— Где?
— В капэ, командный пункт там был... (И з в е с т и я, 1 июля 1944)

непосредственно после войны стала означать «контрольный пункт» (иногда патруль, пост):

...Пограничный пост контрольный,
Пропусти ее с конем...
(А. Твардовский, Василий Тёркин),

т. е. пункт по проверке «военных трофеев», перевозимых из побежденных стран в СССР[5]. Отсюда и производное «капешник»:

На пятнадцатой версте, у одного поворота, машину остановили капешники. (Э х о, 25 ноября 1948).

* * * * *

Народность фронтовой лексики лучше всего можно почувствовать в ее «животной» образности. Мало наименовать что-ли-

[5] Усиленное законное и незаконное добывание таких трофеев породило и особый глагол:
Трофейничать, что-ли собрался? (Алексеев, Солдаты, 312).

бо на войне иносказательно; красочная и рельефная солдатская речь часто пытается и оживить названия. Так создаются многочисленные семантические неологизмы, представляющие собой целый животный мир — «фауну» фронта:

— Вот тут... во время войны стоял слон! — говорит Юра и тычет пальцем в бульвар.

— Живой слон?

Юрий смеется: — Нет, дядя Федя, не живой. Не зоологический, а резиновый. Их только так называли — слонами.

— Кого их то?

— Аэростаты воздушного заграждения. (Л. Ленч, «Старые москвичи», К р о к о д и л, № 24, 1947, 9).

Артиллеристам подвезут несколько боевых комплектов, или «быков», как они их называют на своем фронтовом языке... (Алексеев, Солдаты, 65).

Так и есть: это противопехотная «лягушка». Самая страшная для человека, взрывающаяся дважды мина. Первым взрывом она выбрасывается из земли. Подпрыгнув на уровень полутора-двух метров, разрывается. (Вершигора, Люди с чистой совестью, Испр. и доп. изд., 512).

...препятствие состоит из тяжелых рельсовых ежей... (Смирнов, В боях за Будапешт, 77).

А может они и для наших ястребков сгодятся? (Там же, 50).

Юркие «ласточки» и легкие «миги»... снимались с вооружения. (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 241).

Летать предстояло на утёнке (учебно-тренировочном самолете — Ф.). (Там же, 239).

Истребители сопровождения, видя, что советских «чаек» в воздухе нет... решили призаняться штурмовкой юркинского моста. (М. Коряков, «Лейтенант Заваруев», Н о в. Р у с. С л о в о, Нью-Йорк, 18 сент. 1949).

Над головой пролетают наши легкие бомбардировщики. Бойцы узнают их: — Опять стрекозы пошли немцев щекотать. (И з в е с т и я, 12 марта 1942).

— Бери свой провод, паучья твоя душа, — прокричал он.

Не в силах снести оскорбления («пауками» именовали в армии связистов) Иван полез на танкетку с кулаками... (Соловьев, Записки советского военного корреспондента, 162).

Блохами назывались маленькие автомобили ГАЗики, приспособленные для военных нужд. (Там же).

...в последние дни у немцев появились самолеты старых образцов, их называют «коровы». (П р а в д а, 2 окт. 1941).

Одновременно над полем боя появляется «рама», немецкий самолет... От него отделяется черный, удлиненной формы предмет.

— «Краба» сбросил, — констатируют на наблюдательном пункте.

«Краб» раскрывается в воздухе. Из него вываливаются мелкие бомбы... (И з в е с т и я, 19 янв. 1944).

Как мы видим из двух последних примеров, образно называется не только то, что связано с отечественной военной машиной, но и то, что относится к врагу; наблюдается даже синонимичность в названиях:

Автоматчиков повсюду раскидали, наши только и говорят, что о «кукушках». (Эренбург, Буря, 219).

...разведчики прочесывали дома, вылавливая «сверчков» — автоматчиков, оставленных немцами в нашем тылу. (Смирнов, В боях за Будапешт, 82).

Первый из этих синонимов старше, т. к. появился еще в Финскую кампанию, когда закамуфлированные в белое невидимые снайперы — «кукушки» снимали из своих «гнезд» на высоких соснах десятки попавших в чужую страну красноармейцев:

...такой приказ он отдал солдатам, выделенным для борьбы с финскими «кукушками». (Алексеев, Солдаты, 382).

Не только в период самой войны, но уже в процессе ее подготовки, в период «дружбы» с Германией, с сентября 1939 г., в лексику, связанную с военным строительством, начали проникать обозначения, оживляющие, в прямом смысле, военную терминологию. Так, Г. Климов указывает «В Берлинском Кремле» (П о с е в, № 28, 1949) на то, что

...в Кронштадт приходили купленные в Германии подводные лодки. Немецкие опознавательные знаки «U» перекрашивались в советские «Щ». Их так и прозвали моряки «щуками». По этим образцам спешно строились десятки «щук» на советских верфях подлодок.

Охотно воспринимаются во время войны и немецкие «зоологические» названия вооружения:

На улицах появились «тигры» и «пантеры». (Смирнов, В боях за Будапешт, 96).

...двенадцать «тигров» в сопровождении зверья помельче смяли минометный полк... (Леонов, Взятие Великошумска, Избранное, 97).

Показательно, что орудию борьбы с этими «тиграми» и «пантерами» было дано соответствующее наименование:

— Пришлите, да поскорее, парочку ваших «зверобоев»...

Тогда я впервые услышал новое название советских орудий. Смысл этой клички был ясен: пушка, прозванная «зверобоем», предназначена уничтожать все бронированные чудовища, которым немцы для устрашения противника понадавали звериные клички. (Л. Кудреватых, Пушка-«зверобой», И з в е с т и я, 18 ноября 1945).

Любопытно отметить, что представители настоящей фронтовой фауны, наоборот, получили образное «неживотное» прозвище, связанное, видимо, с трудностями борьбы с ними:

При коптилке ищут «автоматчиков» — так называют насекомых. (Эренбург, Буря, 367).

Этими же причинами объясняется, очевидно, и шутливое

наименование насекомых, распространившееся в немецкой армии — «Partisanen».

Очевидно, по аналогии с водяной птицей «нырком» возникло и слово «нырик», бытование которого в языке засвидетельствовано советским журналистом, участником Второй мировой войны, М. Коряковым, в его очерке «16 октября» (Новый Журнал, Нью-Йорк, XX, стр. 199):

> ...Появились «нырики». Немцы наступали волнами. В тот момент, когда наши войска оставляли населенный пункт, нырики уходили, прятались в подвалах, погребах; это называлось «нырнуть под волну».

В образных наименованиях самолетов, бомб и орудий мы видим как бы развитие «военных диалектов». В то время, как официальная печать давала унифицирующие, но лишенные народной образности и остроты военные термины, простые солдаты, учитывая рельеф местности (как видно из приведенного выше разговора), подчеркивая форму («рама»), или основную функцию («зажигалка»), или характерную особенность («певуны», «музыканты»), или приближая к знакомым именам («катюша», «ил(ь)юша» — по фамилии конструктора Ильюшина) создавали сочный лексикон военного времени.

Говоря словами поэта Евгения Долматовского («Юность», Новый Мир, № 10, 1948) можно предположить, что

> Потомкам, породнившимся с мечтой,
> Наверно очень интересно будет
> Узнать, с какой сердечной теплотой
> Свои созданья называли люди:
> «Ильюшей» звали мы аэроплан,
> «Катюшей» — миномет, и «Комсомолкой» домну,
> Был «Пятилеткой» наш великий план
> И звался «Шариком» завод огромный.
> (Московский завод «Шарикоподшипник» — Ф.).

Укажем только, что последние три наименования не являются порождением войны, и оставим на совести Долматовского «сердечную теплоту» в отношении пятилеток, о которых в народных массах сохранится воспоминание, как о годах огромного физического напряжения, террора и нищеты.

* * * * *

Война 1941-45 гг. породила ряд выражений, свидетельствующих о том, что народ и в лихую годину не переставал придавать шутливую образность языку военной действительности. Так, чрезвычайно распространенным стало только изредка употреблявшееся ранее выражение «голосовать» — поднятием руки останавливать попутную машину:

> «Проголосовав» на выезде из городка, он скоро устроился в кузове порожней трёхтонки... (Павленко, Счастье, 44).
>
> Потом она уложила свой чемоданчик, «проголосовала» на ближайшем перекрестке, и первая же грузовая машина... подобрала дерзкую белокурую девчонку. (Фадеев, Молодая гвардия, 201).

...они ехали из армии способом «голосования», пересаживаясь из машины в машину... (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 261).

Им выгоднее ехать порожняком: вон сколько баб голосуют на дорогах! (Рыбаков, Водители, 27).

Ежедневное соприкосновение со смертью рождает шутку, скрывающую трагическую суть:

Цел санитар то, не пригрело его? (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 83).

...сегодня жив, а завтра в земотдел или здравотдел. (Г. Климов, «В Берлинском Кремле», Посев, № 45, 1949).

Смотрят люди: — Вот так штука!
Видят: верно, — жив солдат...
...А уж мы тебя хотели,
Понимаешь, в наркомзем.
(Твардовский, Василий Тёркин, 150).

Не было наркотических средств — ничтожную дозу новокаина, которая приходилась на каждого оперируемого, недаром называли «крикаином». (Известия, 11 июня 1944).

Если налит спирт в чарочку, летчики называют его «антигрустином». (Известия, 29 апр. 1943).

Почти через 10 лет после войны такой термин как «бомбежка» употребляется и в юмористическом плане:

Жена Котелькова... принялась было его бранить, но он обнял ее за мягкие плечи и сказал добродушно:

— Прекрати бомбежку! (Л. Ленч, Дорогие гости, 36).

Интересно, что слово «бомбежка», считавшееся раньше нелитературным, приобрело теперь права гражданства и стало относиться к сбрасыванию бомб с самолетов, тогда как слово «бомбардировка» сузилось до понятия артиллерийского обстрела:

Бомбежки сменились бомбардировками. Это было не так шумно. (Тихонов, Стихи и проза, 231).

Вошли в обиход и просторечные названия станкового и ручного пулеметов: «станкач» и «ручник»[6]:

...вдали, начинаясь отдельными выстрелами, сухим треском автоматов, барабанным боем станкачей, разворачивалась прелюдия ночного боя... (Вершигора, Люди с чистой совестью, II, 10).

...застучали ручники... (Там же, 52).

Нужно отметить, что и само слово «автомат» только со времени этой войны стало связываться в сознании широких слоев населения с автоматической винтовкой.

С развитием автоматизации и механизации вооружения появляются и соответствующие полные и сокращенные слова, свя-

---

[6] А. Кожин в статье «Некоторые вопросы морфологического словообразования» (см. «Библиографию») указывает, что слово «ручник» вышло из употребления после войны.

занные, главным образом, с артиллерией и противотанковой обороной («самоходка» — самоходное орудие — и производные, «иптап» — истребительный противотанковый артиллерийский полк — и производные, «ПТР» — противотанковая рота, равно как и противотанковое ружье — и производные):

Среди них, в синих комбинезонах, примостились самоходчики. (Казакевич, Весна на Одере, 282).

Это же наши бьют, иптаповцы. (Там же, 269).

— Петеэровцы, к бою! (Там же, 269).

...захлопотал у прицела модернизированного им «ПТР»... (Алексеев, Солдаты, 406).

Новые методы ведения войны, уделение особого внимания идейно-психологической стороне, рождали и соответствующие термины, отображающие новые виды боеприпасов:

Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. (Некрасов, В окопах Сталинграда, 275).

Отметим также, что преобладание в современной войне маневренных форм над позиционными привело к вытеснению существовавшего выражения «передовая позиция» новым — «передний край». Чуткий к семантическим сдвигам язык подчеркнул разницу между относительно стабильной в Первую мировую войну окопной передовой позицией и современным подвижным передним краем:

Рядом, в десяти километрах... шел передний край, гремели бои, ухали пушки. (Кочетов, «Под небом родины», З в е з д а, № 11, 1950, 34).

...на фронте, попав во вторые эшелоны армии, трудно судить о размерах и ожесточенности битвы на переднем крае... (Фадеев, Молодая гвардия, 83).

В связи с крайне усилившейся деятельностью авиации в этой войне и ролью воздушных налетов, наряду с издавна-существующей наземной командой-эллипсисом «Огонь!», появился и новый эллипсис «Воздух!», предупреждавший об опасности воздушного нападения врага:

«Воздух!» — протяжно крикнул шедший впереди лейтенант. (Гроссман, Годы войны, 5).

«Воздух!» — предупреждающе крикнул связист. (Лидин, Изгнание, 21).

С американской помощью — «ленд-лиз'ом» связано заимствование названий многих автомобилей:

А то вдруг на виллисе майор какой-то в танкистском шлеме. (Некрасов, В окопах Сталинграда, 258).

Здоровенный додж преградил нам дорогу. (Там же, 55).

Форды, газики, зисы, крытые громадные студебекеры... (Там же, 48).

Очень показателен цитируемый ниже отрывок, где отечественные марки автомобилей тонут в «железном потоке» машин с Запада, как полученных от союзников, так и трофейных:

Двигались «газы», «се-те-зе», «эмки», «виллисы», низенькие жукообразные «пежо» и высокие, колченогие, задом наперед «татры» с запасной шиной впереди и мотором сзади, сражались «доджи», «шевроле», «мерседесы», «ганзы», «ДКВ», любовно прозванные «Дерево-Клей-Вода», «хорхи», «вандереры», «ганемаки», «адлеры», «штейеры», «фиаты», «ягуары», «автоунионы», «изото-фраскины», «испано-суизы» и еще многое другое безымянное, сборное, чему давно уже нельзя было подыскать названия и определить тип и марку. (Павленко, Счастье, 244).

С помощью союзников связаны такие новые слова, как «тушонка» — один из видов мясных консервов, очень популярный в армии, «открывалка» — прикрепленное к банке приспособление для открывания ее:

Ел вашу тушонку, говорил по вашему полевому телефону. (Эренбург, Буря, 640).

Сбоку была припаяна аккуратная открывалка. (Симонов, Дни и ночи, 63).

Питание советской армии зиждилось в основном на американских консервах и с ними связан распространенный каламбур, содержащий и намек на обещанное открытие второго фронта союзниками:

...открывал специально для Васи «второй фронт» — банку американской консервированной колбасы. (Алексеев, Солдаты, 77).

Конечно, не только союзники, но и враги дали русскому языку лексическое пополнение. Здесь можно отметить два канала, по которым эти заимствования у врага поступали в язык военного времени. Первым из них был фронт, где широко распространилось просторечное название немецких солдат[7] и где часто в русский язык переходили названия вражеского оснащения:

Вырвавшись вперед к машинам, возле которых лежали мертвые и раненые фрицы, я подбежал к легковой... (Вершигора, Люди с чистой совестью, 1, 25).

Проклятые фрицы! Он теперь говорил, как его бойцы, «фрицы». (Эренбург, Буря, 282).

Может быть, они молодого Пушкина убили, Ньютона прикончили своими «фау»... (Эренбург, Буря, 723).

Их выбивали гранатами, захваченными фаустпатронами. (Там же, 759).

Немецкие гранатометчики (или, как их называют наши бойцы, «фаустники» — от названия крупной немецкой гранаты «фауст»)... (Известия, 14 марта 1945).

Там засели автоматчики и фаустпатронники. (Казакевич, Весна на Одере, 127).

Пехота указывала самоходным пушкам скрытые в за-

---

[7] На партийно-пропагандном языке каждый немецкий солдат именовался «гитлеровцем»:

Из села вновь появились гитлеровцы. (Алексеев, Солдаты, 465).

рослях «фердинанды» (немецкие самоходные штурмовые орудия — Ф.). (Гроссман, Годы войны, 385).

Где-то за курганом противно скрежещет «ишак» — шестиствольный миномет. (Некрасов, В окопах Сталинграда, 186).

...начинал свою работу пронзительный шестиствольный немецкий миномёт (разведчики называли его «скрипуном»). (Капусто, Наташа, 180).

Вторым каналом был тыл, где в язык населения занятых немцами областей входили некоторые слова административно-оккупационного лексикона:

зондерфюрер, арбайтсамт, фельдкомендатура, полицай, фольксдейче, рейхскомиссар, генералкомиссар, гебитскомиссар, ландкомиссар

(не говоря уже о соответствующих комиссариатах, возглавляемых ими) и название неизбежного спутника указанных должностных лиц «дольметчер», а еще чаще «дольметчерка» вместо «переводчик», «переводчица»:

Всё мужское население фольксдейчев было вооружено винтовками. (Вершигора, Люди с чистой совестью, 27).

Потом приехал зондерфюрер... (Эренбург, Буря, 410).

Навидался он предателей старост, полицаев. (Там же, 337).

Своеобразное значение приобрело и давно существовавшее в языке слово «контингент»:

...ночью немцы ходили по домам собирать «контингенты» — обязательные поставки. «Контингентов» было много: на зерно, молоко, кур, шерсть, яйца...

Существовали «контингенты» и на людей... (т. е. разверстка на рабочую силу, отправляемую принудительно в Германию — Ф.). (Известия, 15 авг. 1944).

Приводимый ниже отрывок из романа А. Фадеева «Молодая Гвардия» (349-50) характерен своей насыщенностью словами, связанными с административной деятельностью немцев в оккупированных ими областях:

Эта районная сельскохозяйственная комендатура подчинялась еще более многолюдной окружной сельскохозяйственной комендатуре во главе с зондерфюрером Глюккером..., а эта комендатура, в свою очередь, подчинялась ландвиртшафтсгруппе, или, сокращенно, группе «ля».... но и эта группа была только отделом виртшафтскоммандо 9, или, сокращенно, «викдо 9»..., а уже виртшафтскоммандо 9 подчинялось, с одной стороны, фельдкомендатуре..., а с другой стороны, главному управлению государственных имений при самом рейхскомиссаре...

В то время, как большинство «оккупационных слов» явились чистыми варваризмами, механически пересаженными в русскую речь, изредка с приданием им русской морфологии, некоторые моменты оккупационной жизни породили или расширили полисемию существовавших уже ранее русских слов, как, например:

«немецкая овчарка» — стала обозначать женщину, находящуюся в близких отношениях с немцами;

«душегубка» — явилась названием передвижной газовой камеры:

...название этого невиданного транспортного средства, изобретенного в Германии для отправки в вечность — душегубка... (Леонов, Избранное, 609).

В свою очередь, на территории, уже освобожденной от немцев, стали возникать слова и выражения, чаще всего, связанные с восстановлением сильно разрушенных городов. Так, знаменитое, позже широко распространившееся по стране, «черкасовское движение» (отсюда «черкасовец», «черкасовка») получило свое название по имени сталинградской работницы А. Черкасовой, организовавшей в 1944 году первую добровольческую строительную бригаду, преимущественно из женщин:

Это была самая первая черкасовская бригада в Севастополе... (Известия, 4 янв. 1945).

Появление этого слова отметил и Е. Долматовский в своих «Сталинградских стихах». (Москва, Сов. писатель, 1952 г., стр. 60):

Не слышал, не ведал народ
Доселе названья такого,
А нынче вошло в обиход
«Черкасовцы» — новое слово.
Включите его в словари,
Товарищи языковеды...

Сюда же следует отнести и термин «уличный комитет». Обычно такие комитеты состояли из домохозяек-активисток, взявших на себя ремонт разрушенных зданий и заботу о фронтовиках и их семьях.

Широко развернули свою работу на всей свободной от немцев территории «тимуровцы» — пионеры и школьники, получившие свое название от популярной повести А. Гайдара «Тимур и его команда», вышедшей еще до войны:

Юльку знает вся школа, она играет там роль: ее тимуровская команда самая передовая. Тимуровцы оказывали помощь семьям фронтовиков. (Панова, Времена года, 72).

Вне сомнения, военные неологизмы, как отечественного, так и иностранного происхождения, недолговечны. Их возраст определяется, в основном, возрастом самой войны, они рождаются и умирают вместе с последней. Особенно это касается варваризмов, связанных с моментами оккупации, — это «проходящие тени» в языке, не больше.

Но кое-что, нашедшее себе применение в послевоенный период или оказавшееся достаточно ярким и типичным для самой войны, задержалось в языке ее участников, а через них проникло и в общий язык. Недаром один из героев повести Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды» замечает:

Войны нет, а слова не забываются, нет, нет, да и вспомнишь! Сколько новых слов мы выучили на войне! (Стр. 281).

Действительно, война создала множество новых слов, но фразеология ее довольно бедна. Однако, некоторые существовавшие ранее сочетания завоевали себе более широкую популярность, оставаясь в живом языке и после войны, и утверждая себя в литературе:

...громыхал на стрелках угольный эшелон. Ему дали «зеленую улицу» — право обгонять скорые и пассажирские поезда, его не задерживали на станциях. (Литературная Газета, 10 ноября 1948).

«Зеленую улицу» — грузам социалистического земледелия. (Гудок, 15 июля 1949).

Это выражение, очевидно, возникшее благодаря зеленым огням семафоров, указывающих, что путь свободен, было введено в литературу А. Первенцевым, в его повести «Испытание» (1942). В дальнейшем, становясь всё более популярным, оно послужило названием повести Ан. Сурова, получившего за нее сталинскую премию, и даже проникло в поэзию:

...Когда стволы зениток ввысь
Подняв над «улицей зеленой»
Безостановочно неслись
Туда, на запад, эшелоны.
(А. Твардовский, За далью — даль).

Утверждение этого словосочетания в литературе засвидетельствовано употреблением его в полностью метафоризованной форме:

Он замечает и нарушителей порядка и закона, чьим похождениям скажет «стоп!», чьим поступкам не сделает «зеленой улицы»[8]... (Г. Рыклин, В защиту милиционера; Известия, 7 июля 1954).

Не меньшей образностью отличаются и другие, порожденные уже войной, выражения:

На автомобилях продефилировали десантники — «небесной пехотой» прозвал их народ. (Литературная Газета, 10 ноября 1948).

Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте... (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 14).

* * * * *

Если мы сделаем небольшой экскурс в область лексики Первой мировой войны, то сможем отметить аналогию в методах словотворчества, хотя сами созданные обеими войнами слова и отли-

---

[8] Интересно отметить, что, очевидно совершенно самостоятельно, подобная метафорическая фразеология образовалась в английском языке:

"...once the green light is given, their 12 divisions will spring almost magically into being..."
(Crosby S. Noyes, "German Army Recruiters..." in Sunday Star, Feb. 27, 1955).

"...he would ask the Rules Committee for green light to take the bill to the House floor immediately after the recess — but not before".
(John Cramer, "Pay Action Withheld", in The Washington Daily News, March 30, 1955).

чаются друг от друга. Прекрасным свидетельством этого является чрезвычайно интересная по записям живого солдатского языка книга военного врача Л. Войтоловского «По следам войны», получившая высокую оценку М. Горького, рекомендовавшего ее всем «пламенным и искренним словолюбам».

Мы видим, что и фронтовая лексика 1914-15 гг. охотно включала «зоологические» названия:

...шестипудовые «кабаны» гигантскими молотами опускаются на мертвые камни (стр. 296).

...пошли наши козули (казаки) по картошку... (стр. 143).

...какой-то штабной «фазан», небрежно играя хлыстиком, промямлил (стр. 322).

Однако, участники Второй мировой войны, восприняв метод отцов, не воспользовались ни одним продуктом их словотворчества. Совпадением, но не повторением было слово «фазан», вынырнувшее в другом поколении и в другой стране: в немецком языке гитлеровского периода появилось выражение «Goldphasan», характеризовавшее крупных партийных чиновников, обычно околачивавшихся в тылу и щеголявших в расшитой золотом форме.

Что касается имен собственных для обозначения орудий войны, то современные отечественные «катюши» и «Раисы Семеновны»[9], «Яшки» (ястребки), «Борисы Петровичи» (от сокращения «б. п.» — бронепоезд)[10] и иноземные «фердинанды» имели своих старших родственников и на фронтах Первой мировой войны:

...А наша «Мавруша» (мортирная пушка) знай лущит и лущит... (Там же, стр. 479).

...ахнула шестидесятипудовая «берта»... (Там же, стр. 211).

Подобно бытовым словам «зажигалка» и «керосинка», проникшим в лексику Второй мировой войны, в 1914-18 гг. исключительно популярным и вошедшим в литературу было слово, обозначавшее крупнокалиберный немецкий снаряд:

...И вдруг «чемоданом» ахнуло... (Там же, стр. 124).

Авиация в первой войне сыграла несравненно меньшую роль, чем во второй, но и здесь, в наименовании аэропланов не обошлось без юмора, подчас несколько вульгарного:

Даже солдаты тревожно поглядывают наверх, следя за полетом аэропланов:

---

[9] См. статью А. Кожина «Переносное употребление слова», стр. 24: Иногда гвардейский миномет наши бойцы называли «Раисой Семеновной». В основу этого наименования положена связь с начальными звуками сложно-сокращенного слова РС — реактивный снаряд. Это отмечено в стихотворении А. Сафронова:

Пушка есть у нас фасонная
Бьет врага она — губя.
Мы Раисою Семеновной
Все зовем ее любя...

Реактивные мины большой разрушительной силы советские воины называли «Андрюшей», «Иваном-долбаем», «Иваном Ивановичем».

[10] См. сборник «Фронтовой фольклор», стр. 106-107, и указанную выше статью А. Кожина.

— Шилозадка (германский аппарат системы Таубе) — волнуются они.

— Не, австрийская вошка. (Там же, стр. 277).

Но необходимо отметить, что некоторые понятия-метафоры, рожденные Первой мировой войной, не нашли себе соответствия в последующей войне. Они не родились, не «посмели» родиться в русской лексике, созданной народом, но цензурированной партией. В вышеупомянутой книге Войтоловского мы находим:

Там же беглые дезертиры прячутся. «Рябые», — знаете? (Стр. 142).

По роже вижу, всё самострелы. Палечники. (Стр. 441).

В стране, где каждый военнопленный был объявлен изменником родины, сталинские политкомы зорко следили, чтобы подобные слова не могли фигурировать в речи советского солдата (хотя сами явления, в частности дезертирство, повторялись многократно). Если же они и рождались стихийно, то уже в литературу, по дороге к которой имеется слишком много цензурных рогаток, они, во всяком случае, попасть не могли. Характерно, что слова вроде приведенных выше «ныриков» смогли быть зафиксированы в прессе, конечно, эмигрантской, только тогда, когда их носители оказались по эту сторону «железного занавеса».

Проведя, так сказать, историческую параллель между русским фронтовым языком Первой и Второй мировых войн, необходимо отметить, что наблюдавшиеся в нем элементы являются не только не специфически-советскими, но и не специфически русскими. В. Жирмунский в уже цитировавшейся нами работе «Национальный язык и социальные диалекты» (стр. 116) говорит:

> «Одним из наиболее ярких примеров жаргонного творчества в наши дни являются жаргоны действующих армий эпохи империалистической войны. Обширные материалы по этой теме, собранные лингвистами-патриотами всех наций свидетельствуют о совершенно аналогичных тенденциях развития в языках различных воюющих стран».

Опираясь на работы иностранных ученых[11], В. Жирмунский приводит в своей книге ряд слов, которые мы могли бы разбить на те же группы, что рассматривались нами в разделе о советской фронтовой лексике. Итак, мы видим, что старые слова-названия предметов домашнего обихода (типа «зажигалка» и «керосинка») применялись и для метафорического наименования предметов боевой обстановки, прежде всего орудий войны 1914-18 гг.

Так, во французском языке мы находим: marmite (сковородка) и sac-à-charbon (угольный мешок) для обозначения тяже-

---

[11] Hans Sperber. — Einfuehrung in die Bedeutungslehre, 1923.

Otto Mausser. — Deutsche Soldatensprache. Ihr Aufbau und ihre Probleme, Stbg, 1917.

Th. Imme. — Die deutsche Soldatensprache von heute, Dortmund, 1917.

A. Dauzat. — L'Argot de la guerre, d'après une enquête auprès des officiers et soldats, 1918.

Gaston Esnault. — Le poilu tel qu'il se parle. Dictionnaire des termes populaires récents et neufs, employés aux armées en 1914-18, Paris, 1919.

лого снаряда (нем. Kohlenkasten); штык иносказательно именовался cure-dent (зубочистка) и fourchette (вилка). Пулемет назывался machine à coudre (швейная машина), moulin à café (кофейная мельница), poivrière (перечница), tacot (пишущая машина), и даже ecrêmeuse (сепаратор). Немецкие эквиваленты для этого же орудия — Nähmaschine (швейная машина), Kaffeemühle (кофейная мельница), Mähmaschine (косилка), Fleischhackmaschine (мясорубка) и т. д.

«Фауна фронта» щедро пополнялась различными немецкими наименованиями, иногда и там, где русский солдат не находил оснований для «зологической» метафоризации: Kettenhund (цепной пес) — пулемет; Schwarze Sau (черная свинья) и Blindschleiche (уж) — тяжелый снаряд (рус. «чемодан»); многочисленные названия пуль — Spatzen (воробьи), Bienen (пчелы), Fliegen (мухи) и Singvögel (певчие птицы — ср. рус. «пуля пропела»).

В языке солдат разных армий мы находим множество юмористически окрашенных слов и словосочетаний для обозначения предметов боевой обстановки: фр. gros noir (черный толстяк) — крупнокалиберный снаряд; нем. Stottertante (заикающаяся тетушка), Tippmamsell (барышня-машинистка) — пулемет. Метафорическое наименование его — Totenorgel имеет гораздо более мрачную окраску и является прямым предшественником Stalinsorgel, — уже упоминавшегося выше названия страшной русской «катюши».

Солдатский лексикон использует также и, так сказать, «обратную» метафоризацию — военные термины становятся обозначением бытовых моментов, о чем у В. Жирмунского находим в его книге («Нац. яз. и соц. диал.», стр. 118) следующее:

> «...аффективно-окрашенные представления, связанные с впечатлениями боя, становятся главным источником метафорических иносказаний для предметов мирной жизни, окружающей окопника; происходит распространение определенного круга значений за его нормальные границы (по терминологии Шпербера — «семантическая экспансия»). Например, у немцев походная кухня получила название Gulaschkanone (гуляшная пушка), горох — Schrappnellkugeln (шрапнельные пули), картофель — Schrappnell (шрапнель), Handgranate (ручная граната), шинковая капуста — Drahtverhau (проволочное заграждение), небритая борода — Stacheldraht (колючая проволока); у французов — горох также srappnells (ср. с рус. «шрапнель» — перловая крупа — название особенно распространившееся в эпоху гражданской войны — Ф.), походная кухня — tank, курить — gazer (газировать) и т. д.».

Ниже мы увидим, что подобный же процесс происходил и в Советском Союзе, где целый ряд боевых терминов и обозначений был перенесен в мирную обстановку.

Прежде, чем перейти к наблюдению над тем, как батализмы привились в лексике мирного времени, последовавшего после окончания Второй мировой войны, уместно будет сделать экскурс

в область военных фразеологических штампов, в большинстве своем порожденных еще эпохой гражданской войны в России и настойчиво поддерживавшихся в речи в последующие периоды:

«военный коммунизм» (период времени с середины 1918 г. до марта 1921 г.), «вылазка классового врага», «дезертир трудового фронта», «демобилизационные настроения» (с конца войны 1914-18 гг., когда солдаты толпами покидали фронт), «кадры специалистов», «командные высоты», «легкая кавалерия» (Н. Бухарин на VIII-ом съезде ВЛКСМ в 1928 г. предложил организовать под таким названием «особый тип летучего неофициального контроля» силами комсомола — «рейд легкой кавалерии»), «мобилизация внутренних рессурсов, средств», «мобилизовать внимание», «наступление развернутым фронтом», «огонь по отстающим», «партия — авангард рабочего класса», «передовая линия», «равнение на передовиков», «разведчики высоких урожаев», «смотр сил», «СССР — аванпост мирового пролетариата», «страж революции», «трудармия», «трудовой фронт», «трудовые резервы», «ударная бригада», «форпост социализма», «фронт индустриализации», «штаб мировой революции», «штурм прорыва».

Особо можно выделить очень продуктивное слово «броня» (часто в ранее несуществовавшей форме «бронь»), в значении резервирования билетов, жилищной площади и пр., а также освобождения того или иного лица от мобилизации как на строительство, так и в армию:

Меркулов нес ему броню. (Панова, Спутники, 12).

Ему бронь по его специальности обеспечена. (Авдеев, Гурты на дорогах, 71).

Тыл дает людям «бронь» от мобилизации. (Г. Климов, «В Берлинском Кремле», П о с е в, 5 июня 1949),

а также производные от имени существительного глаголы «бронировать», «забронировать» и «разбронировать», т. е. закрепить, оставить за (кем-то) и открепить, лишить того или иного преимущества, привиллегии:

— Эге, пришел, бронироваться будешь? (Панова, Спутники, 12).

...его не стали судить, а просто разбронировали и взяли рядовым в армию. (Симонов, Дым отечества, 111).

Весь начальный период революции прошел под знаком гражданской войны, и оживающее понемногу народное хозяйство переняло в свой языковый обиход боевой дух военной лексики, еще так недавно употреблявшейся в прямом смысле. Теперь это были только пересаженные с военной на гражданскую почву образы — метафоры. Но именно они вдохновляли идейную, романтическую молодежь, смотревшую на борьбу с разрухой как на борьбу с военным врагом, на строительство — как на горячий бой:

...и те, для кого бригада уже становилась семьей, и те... кто, как бойцы, вспоминали прежние свои сражения, отмороженными пальцами гордились как почетными ранами и с каж-

дой смены возвращались в барак, как со штурма, для кого строительство было фронт, бригада — взвод, Ищенко — командир, барак — резерв, котлован — окоп, бетономешалка — гаубица, — все они были товарищи, братья, сверстники. (Катаев, Время вперед, 65).

Но прошли годы военного и гражданского энтузиазма. Пришли будни мирного строительства, казалось бы не нуждающегося в подхлестывании военными фразами, но эти будни были настолько серы и бесперспективны, а усилия и жертвенность настолько не находили себе оправдания в неизменившейся к лучшему жизни, что власти считали целесообразным сохранить «боевой» язык, зовущий массы ко все новым напряжениям, ко все новым самопожертвованиям. Но теперь фразы оставались фразами, выхолощенными и не отвечающими народным настроениям. Официальные органы всё еще навязывали будничному языковому обиходу «бригады», «армии», «фронты», но они уже не «завоевывали», а только возбуждали унылую или ироническую реакцию. Ведь еще в прошлом столетии правильно заметил о подобном положении кн. П. Вяземский: «Не следует злоупотреблять ни мыслью, ни словом. Прекрасная мысль и прекрасный образ могут неузнаваемо измениться и опошлиться от неумелого с ними обращения».

* * * * *

Отгремела Вторая мировая война. Началась мирная жизнь. Но как в хозяйстве страны остались глубокие следы военного времени, так и в языке многомиллионной массы демобилизованных еще крепко держалась укоренившаяся за годы войны фронтовая лексика, теперь несущая, так же как и в ранний период после гражданской войны образно-метафорическую функцию, и подчас придающая речи, может быть, и несколько наивный, но в то же время и экспрессивный характер. Подтверждением вышесказанного может, например, служить разговор мирных сплавщиков:

...Ну, слушайте, я буду говорить по военному. Игнат и Никита, вам поручаю оборудовать огневую позицию, разведать вот тот кустарник, нарубить хворосту и хорошенько замаскировать материальную часть. Постройте командный пункт: имеется в виду шалаш из хвороста. (Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды, 282),

или название полезащитных лесных полос, насаждавшихся по пресловутому «сталинскому плану преобразования климата в СССР» — «зеленый редут»:

Тогда же появился в степи и Федор Михайлович Касьянов... ныне ученый комендант зеленого редута... (М. Рогов, «Зеленый редут», И з в е с т и я, 10 авг. 1950).

Конечно, подобно тому, как они это делали в период после гражданской войны, большевики, очевидно, попытаются и теперь искусственно задержать военную лексику в литературе мирного периода, имитируя этим якобы воинственный энтузиазм советских трудящихся. Это и подтверждается рядом примеров:

В. Юрезанский (У города вечной славы, Москва, Молодая гвардия, 1951, стр. 43), говоря о строительстве гидроузла, употребляет военный термин, привившийся в языке мирного времени:

У Сталинграда — один из передних краев борьбы за переустройство природы.

Н. Евдокимов и А. Медников в своей книге «Покорение Дона» (Москва, Молодая гвардия, 1952, стр. 67) прибегают к аналогичному приему:

Огромные жерла труб земснарядов, похожие на длинные стволы тяжелых орудий, уже выдвигались на самый берег. Около моста... стоял белый домик с вывеской: «Командный пункт 4-го строительного района».

— Нет, вы только посмотрите, что делается! Артподготовка будет, сражение, настоящее сражение...

Директор совхоза, в рассказе Е. Дороша «Тихая профессия» (З н а м я, № 7, 1948), ходит с шершавыми, покрытыми царапинами руками:

...работники райкома, здороваясь, спрашивают, что у него с руками.

— Мы ж, средний комсостав, сами людей в атаку водим, — отвечал Илья Адамович.

Недавним фронтовикам трудно отвыкнуть от военной обстановки:

«Должно быть для «гражданки» я уже пропащий человек» — говорит в романе сержант Козаков, ведя речь о гражданской работе, работе не в армии. (П р а в д а, 30 января 1950).

Следует отметить, что во время войны наблюдался обратный процесс. Если Клаузевиц прав, говоря, что для правящей верхушки «война — это продолжение политики другими средствами», то для простого солдата, мы добавим, его повседневный военный быт — это продолжение, в особых условиях, его трудового существования, великая страда, требующая, правда, не только огромного физического напряжения, но крови и жизни:

Она знала, что война — сложно организованный длительный труд... (Капусто, Наташа, 154).

...труд войны определял победу, а теперь самое главное было... удесятерить этот труд... (Лидин, Изгнание, 136).

Здесь можно было оценить черный и страшный труд пехотинца. (Леонов, Избранное, 129).

...молодой командир, типичный военный-труженик... (Фадеев, Молодая гвардия, 450).

Эта трудовая сторона военного быта, сознание того, что «воевать» — это значит «работать по военному», что командовать тем или иным участком фронта — это «руководить хозяйством», отмечены советскими писателями в их повестях и романах:

Это слово «работа» я слышал от людей бригады так же

часто, как слышал его в мирные времена на донбассовских заводах и шахтах. Война для нашего народа стала работой, тяжелой, страшной и грозной работой, — работой, которой народ овладел во всю глубину и ширь своего таланта, огромной силы, разума, сметки. «Я работаю наводчиком», «я работаю замковым», «я работаю заряжающим», — говорят красноармейцы, так же как говорили: «я работаю забойщиком», «я плотничаю». (Гроссман, Годы войны, 327).

— Кем вы сейчас работаете?

— Начальником разведки дивизии. (Казакевич, Весна на Одере, 19).

Для каждого солдата отводилась суточная норма земляных работ. Листовки-«молнии» и «дивизионка» прославляли тех, кто эти нормы перевыполнял, — точь в точь как на большом строительстве. (Алексеев Солдаты, 9).

...в хозяйстве Рыкачева я, например, не был... (Эренбург, Буря, 502).

...он снова попал в хозяйство своего прежнего командира... (Полевой, Повесть о настоящем человеке, 174).

Ванин спросил его, как всегда спрашивают в таких случаях встречающиеся фронтовики:

— Из какого хозяйства, пехота? (Алексеев, Солдаты, 252).

Незначительное соприкосновение с внешним миром через фильтр советской цензуры дало в послевоенный период появление немногих неологизмов западного происхождения:

Коминформ, квислинг, денацификация, маки(зар), резистанс, Бизония, Бенилюкс (в отношении последнего слова интересно заметить, что в Советском Союзе оно имеет в середине «и», так как там эта абревиатура производится от совмещения русских названий трех государств: Бельгия, Нидерланды, Люксембург. В русском же зарубежье это слово оставлено в его интернациональной форме «Бенелюкс» (от Benelux).

Сюда же относится и иронический термин «маршаллизация» (т. е. включение в план Маршалла), а также соответствующие глагол и отглагольное прилагательное:

...в результате маршаллизации Италии... (Радио-Москва, 21 марта 1949).

М. Штраух показывает американского посла Мак-Хилла наглецом и циником, грубо и откровенно стремящимся выполнить приказания своих хозяев «маршаллизировать страну». (П р а в д а, 27 июня 1950).

Новые образцы марок для маршаллизированных стран. (К р о к о д и л, 30 мая 1950).

Наряду с вышеприведенными словами — производными от имени генерала Маршалла, всегда имеющими презрительный оттенок, после войны появилось и слово «атомщик». Это слово в профессиональном диалекте обозначает специалиста по атомной энергии, но из-за исключительной засекреченности этой области в СССР подобная семантика не может быть популярной. Однако, большевики стараются популяризовать слово «атомщик» в дру-

гом его значении, а именно как синоним американского военного, государственного деятеля и т. д., якобы проповедующего атомную войну с Советским Союзом, перенося, по сути, этот термин на всех своих политических врагов в США:

Пособники американских атомщиков разоблачены. (Правда, 28 мая 1950).

Глава о современной американской музыке в книге О. Феофанова «Буржуазная культура на службе империалистической реакции» (Москва, Госполитиздат, 1954) так и называется — «Музыка атомщиков».

* * * * *

Если в предвоеннном периоде нами отмечалась тенденция очищения русского языка от «блатной» шелухи, что, конечно, не так определялось пуристскими наклонностями большевиков, как здоровым состоянием русского языка, постепенно освобождающегося от словесной накипи, то после войны наблюдается настоящий поход против всего западного, в том числе и слов иностранного происхождения. Здесь большевики смыкаются с наци, которые в свое время пытались заменить интернациональные слова специально изобретенными немецкими.

Но большевикам это удается с большим трудом из-за двух почти непреодолимых моментов: во-первых, русский язык, никогда не чуждавшийся полезных иностранных терминов и очень восприимчивый к варваризмам, быстро становившихся родными словами, очень уж сросся с массой слов иностранного происхождения, давно привившихся в языке, во-вторых, специфика большевизма, построенного на интернациональной политической терминологии, проникающей во все уголки советской жизни, никак не способствует перестройке языка всегда интернационально настроенных русских на какой-то архаический лад.

Не видя возможности искусственно руссифицировать давно ставшие интернациональными научную и техническую терминологии, советы, пока-что, обрушиваются на... кулинарное искусство:

Впредь запрещено пользоваться какими-либо иностранными названиями для блюд, продуктов и сладостей. Вместо «эклер», «наполеон» и других названий будут введены новые — советские. (Новое Русское Слово, 27 февраля 1949).

Кампанию по борьбе с «иностранщиной» в кулинарии развернула и советская пресса: в фельетоне «Эскалоп с гарниром» (Крокодил, № 11, 1949) Варвара Карбовская рассказывает, как она с мужем отправилась в столовую, где им подали «длинный перечень блюд, отпечатанный на машинке»:

— Слушай, а что такое потафе? — кротко спрашивает муж.

Мне приятно, я чувствую превосходство: я изучала иностранные языки, а он нет. Поясняю охотно:

— Видишь ли, тут не совсем правильно написано. Это по-французски. По — горшок, фе — огонь. Пот-о-фе — горшок в огне.

— Та-ак, — задумывается муж. — Что-то мне не хочется этого супа из горшка. Что еще? Суп консоме. А как это по-русски?

— Собственно, консоме — значит потреблять.

— Ага, значит суп ширпотреб?

Далее идет разбор и перевод, с резкими выпадами против Запада, названий различных блюд — беф бульи, беф бризе, эскалоп с томатным соусом, крем брюле и др. Даже общеизвестные «шницель» и «бифштекс» вызывают возмущение автора.

— Согласен с вами вполне, — вмешался в разговор сосед по столу. — Почему, например, кислое молоко в бутылках назвали ацидофилин, а печенье — крекер?...

Действительно: эскалоп, лангет, антрекот.

Непонятно, неаппетитно, обидно, —

так заканчивает свой фельетон В. Карбовская.

Впрочем, акад. Терпигорев пошел еще дальше: осуждая употребление в русском языке иностранных слов и выражений, он предложил создать в химии, физике и биологии «советскую терминологию в социалистическом духе» (!).

Призыв академика-«патриота» был подхвачен многими научными работниками, и соответствующая директива была «спущена» во все издательства. Не имея возможности затронуть все отрасли научной литературы, позволим себе сослаться на один пример замены, хотя бы частичной, западных технических терминов отечественными словами.

Так, в предисловии к книге Я. М. Пиковского и др. «Эксплоатация дорожностроительных машин» (Дориздат, Москва, 1950) говорится:

«В соответствии с принятой Дориздатом терминологией, в данном учебном пособии вместо старых названий дорожностроительных машин использованы следующие: тракторный отвал (бульдозер), элеваторный плуг (грейдер-элеватор), струг и автоструг (грейдер и автогрейдер), тракторная лопата (скрепер), автораспределитель битума (автогудронатор), экскаватор автоковшевой (драгляйн), экскаватор со створчатым (самосхватным) ковшом (грейфер)...»

Правда, в последнее время эта линия как бы выравнивается. В официальном курсе лекций Галкиной-Федорук по лексике находим не только признание существования в русском языке множества варваризмов: «Лингвистический анализ словарного состава русского литературного языка обнаруживает присутствие в нем весьма многочисленных групп чужих слов» (стр. 98-99), но и призыв к их сохранению: «...интернациональная лексика как терминологическая лексика, общая всем языкам, и должна быть неприкосновенной в каждом языке, как международный фонд общей научно-технической и общественно-политической терминологии» (стр. 118).

Для вящей убедительности Галкина-Федорук даже ссылается на литературный авторитет Алексея Толстого:

«...Известный процент иностранных слов врастает в язык. И в каждом случае инстинкт художника должен определить эту меру иностранных слов, их необходимость. Лучше говорить лифт, чем «самоподымальщик». (А. Н. Толстой, Пол. соб. соч., т. 13, 1949, стр. 291).

В свое время с «легкой» руки А. Жданова (доклад о «Постановлении ЦК ВКП(б) от 14 авг. 1946 г. — О журналах «Звезда» и «Ленинград», — опубликован в «Правде» от 21 сент. 1946 г.), пустившего в ход выражения «угодничество перед иностранцами» и «низкопоклонство перед Западом», большевики развернули кампанию, пытаясь заклеймить всё, хоть сколько-нибудь говорящее о связи с миром, лежащим по ту сторону «железного занавеса»:

Его устами партия большевиков идейно вооружала советских писателей и композиторов, деятелей театра и кинематографии, музыки и живописи, критики и публицистики. (Литературная Газета, 25 сент. 1948).

И началась очередная кампания оплевывания — кампания против космополитизма. Это междунродное слово давно было отнесено большевиками к чисто-буржуазным терминам и ему всегда противополагалось слово «интернационализм», как понятие солидарности мирового пролетариата.

В ходе войны, как мы знаем, советы убедились, что для удержания власти игра на патриотических чувствах русского человека гораздо эффективнее, чем уверения в общности интересов русских и немецких солдат, приводившие к братанию в семнадцатом году, но которые оказались бы совершенно неуместными в годы 1941-45. Девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был снят, «Интернационал» был заменен «Гимном Советского Союза».

И, вот, постепенно в процессе перехода страны с военных рельс на мирные, острое чувство ненависти к врагу, сведенное Кремлем к эренбурговской формуле «Убей немца!», начинает расплываться в новое чувство, совершенно чуждое душе русского человека — ксенофобию. Тогда и всплыло безобидное и по сути положительное слово «космополитизм». Теперь в него стало вкладываться совершенно новое содержание — оно превратилось в антоним слова «патриотизм», подобно тому, как словосочетание «буржуазный космополитизм» — в антоним словосочетания «советский патриотизм», кстати, введенный незадолго до Второй мировой войны.

С «космополитизмом» возродилось и слово «космополит». Последнее образовало целое фразеологическое гнездо, где оно являлось постоянным компонентом с варьирующимися эпитетами: «безродный», «презренный», «прожженный», «оголтелый» и т. п. Сюда же можно отнести слово «ура-космополит», попутно отметив, что слово того же стилистического ряда, но с обратным

значением — «ура-патриот» не появляется теперь на страницах советской печати.

Кличка «безродный космополит» стала применяться даже ретроспективно. В стихотворении, посвященном Пушкину (Новый Мир, июнь, 1949), К. Симонов, говоря о Дантесе, преподносит читателю такие неожиданные строки:

...Барьер. Наемный пистолет
Безродного космополита.

Из синонимов ко всевозможным «космополитам» следует назвать наиболее распространенную метафору — «беспачпортный бродяга». Как это не парадоксально звучит, но этот же «бродяга» клеймится так же как «буржуазный эстет» и «эстетствующий злопыхатель», а кроме того, оказывается «лазутчиком буржуазной реакции», носителем «творческого загнивания», «морального разложения» и «ущербного мировоззрения».

Выдержка из книги Ю. Трифонова (Студенты, стр. 270) ярко иллюстрирует повсеместное распространение вышеприведенной фразеологии:

...ты тоже веришь всем этим ярлыкам?

— Каким ярлыкам?

— Которые нацепили на меня. Сначала в газетах, потом в университете...

— Объясни, что ты называешь ярлыками?

— Объяснить? Вот эти словечки: безыдейный эстет, формалист, низкопоклонник... Этакие готовые сигнатурки на резиночках.

Борьба с «иностранщиной» в языке дополняется и борьбой против якобы безграмотных слов, так сказать, отечественного происхождения. Например, в редакционной заметке газеты «Правда» от 25 мая 1946 года «Обзор печати», под заголовком «Словесный хлам» находим:

«...Газета «Соликамский рабочий» пишет: «непорядок в бытовках». Газета «Березниковский рабочий» ей вторит: «забыли о бытовках»... Газета «Ставропольская Правда» обогатила язык словом «обозодетали» (ободья, ступицы, спицы и множество других предметов)... Газета «Марийская Правда» пустила в оборот слово «оперативка»...

Безграмотные, выдуманные слова просачиваются на газетные страницы и через объявления. Вот некоторые образчики словотворчества безграмотных и безответственных канцелярских писарей:

Требуются на постоянную работу... переквалификанты во все цехи... («Красный Крым»).

Требуются... переобученцы... («Большевистское Знамя», Одесса).

Требуются слесари-отопленцы («Вечерний Ленинград»).

Русский язык велик, могуч, гибок и живописен. Надо умело, бережно и любовно пользоваться его несметными богатствами. Нет никакой нужды прибегать к аляповатым выдумкам

и словесным выкрутасам, которые лишь обесцвечивают, уродуют и засоряют живой язык».

Вряд ли последнее утверждение «Правды» могло бы вызвать какие-либо возражения, кроме тех, что слова, на которые она обрушивается, не являются ни «аляповатыми выдумками», ни «словесными выкрутасами». Они возникли, вне сомнения, в сознании не отдельных лиц, а целых групп. «Правда», во-первых, опускает то, что эти слова отражают конкретные и реальные явления советской жизни, во-вторых, не желает признать, что и «бытовка» и «обозодетали» являются словами-обобщениями, вобравшими в себя и объединившими более мелкие, одиночные понятия. В-третьих, эти «безграмотные» слова в действительности не чужды закономерности в своем образовании, с использованием соответствующих семантической нагрузке суффиксов (как, напр., -о в и -к в слове «бытовка»), сращения исконно-русских слов со словами иностранного происхождения и соединения их универсальной связкой («обозодетали»), или русских префиксов с факультативно употребляемыми элементами иностранного («переквалификант», по аналогии с «курсант», «дипломант» и т. п.) или отечественного («переобученец») происхождения. Старые описательные фразы-обозначения («слесари — специалисты по отоплению») вполне уместно вытесняются соответствующими профессионализмами («слесари-отопленцы»).

Выискивая среди естественно возникающих в русском языке неологизмов якобы безграмотные слова, редакция «Правды», таким образом, подводит под эту рубрику сотни слов, сходных по своему образованию с вышеупомянутыми. Если ею осуждаются такие слова, как «бытовка», «оперативка», «переобученцы» и «отопленцы», то, очевидно, к ним следовало бы причислить неологизмы «курсовка», «непрерывка», «обезличка», «снабженцы», «окруженцы» и многие другие, как созданные по образцу давно существующих: «столовка», «ополченец» и т. д. В заключение отметим, что нападкам подверглись неологизмы, не имеющие политического характера[12].

---

[12] Впрочем, еще задолго до появления этой заметки в «Правде», а именно в 1943 г. в «Языке газеты» — практическом руководстве и справочном пособии для газетных работников, изданном Центральным кабинетом редакторов при Управлении пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) под ред. Н. Кондакова, не только критиковались действительно безобразные и ненужные неологизмы, как например, «халатник» — человек, халатно относящийся к работе, или фразы, вроде «в пальтовом цеху плохо идет обутюжка», но и сурово осуждались неологизмы, созданные по правилам русского языка: «принудильщик», «бесконтролье», «самочинец», «болтунство» и т. д. (стр. 176). Там же давались твердые установки для постепенной, но неумолимой ликвидации сложносокращенных слов, и не только неизвестных читателю инициальных абревиатур, но и таких казалось бы прочно вошедших в быт и безусловно понятных каждому советскому гражданину слоговых и комбинированных абревиатур, как «рабсила», «партпрос», «управдел» и даже «соцсоревнование». (стр. 176-77).

Однако, эта книга, вышедшая в разгар войны, не могла оказать существенного влияния на очищение языка, так как в то время эта проблема могла считаться второстепенной и ей начали уделять особое внимание только по окончании войны.

Подобную статью в центральном партийном органе с призывом к очищению русского языка, можно было бы назвать первой ласточкой или, скорее, буревестником, предвещавшим те громы и молнии, которые позже стал метать кремлевский вседержитель в ученых, пытавшихся в свое время, в угоду тому же Кремлю, доказать коренное качественное отличие русского языка советского периода от русского языка предыдущих периодов. Прежде всего досталось, конечно, акад. Н. Я. Марру, к тому времени уже покойному. Патриарх советского языкознания был убежден, что революция производит «нечто такое, что коренным образом видоизменяет наше отношение к русскому языку, и, может быть, переставляет его н и з о м в в е р х». (Подчеркивание наше — Ф.) — Избранные работы, т. II, стр. 374.

В своих высказываниях на дискуссии о советском языкознании, сперва печатавшихся наряду с другими статьями в «Правде» (лето, 1950) а позже объединенных в отдельной брошюре под названием «Марксизм и вопросы языкознания», И. Сталин попытался, обходя конкретные моменты, отвести новое место языку в философской системе марксизма, объявив старое определение его, как «надстройки», ошибочным. Старая формула, применявшаяся к языку школой Марра, была объявлена порочной, т. к. не соответствовала более курсу, взятому партией в последнее время.

В первую очередь следует учесть, что любая доктрина, исходящая от кремлевских вождей, всегда подчинена очередному заданию Политбюро. В период резкого и всё углубляющегося фактического размежевания коммунистической верхушки и народа, у правящей клики появляется настойчивая потребность в создании видимого единства советского общества, а так как основным средством общения и, значит, какого-то соединения есть язык, то И. Сталин решил отказаться от санкционированного раньше большевиками положения о «классовости» языка, и доказать теперь его универсальность.

Если бы речь могла ограничиться языком, присущим только «бесклассовому» социалистическому обществу, то единство и универсальность первого должны были бы оказаться теоретически чем-то самоочевидным, самим собою разумеющимся. Но дело заключается в том, что при современной ставке большевиков на преемственность «культурного наследия» предков, с одной стороны, и внутреннего признания уродливости и искажающей роли многих советских моментов в русском языке, с другой, необходимо было восстановить связь языка советского периода с его историческим источником — языком предыдущих поколений, нашедшим свое лучшее оформление в русском литературном языке, созданном классиками.

Общеизвестной является принадлежность творцов этого языка, в большинстве случаев, отнюдь не к классу пролетариата, что не помешало им пользоваться в основе добротным народным языком. Если бы большевики остались на своей старой точке зрения «классовости» языка, то им пришлось бы признать приоритет языка чуждых и даже антагонистических им классов. Гораздо выгод-

нее было объявить язык, в частности его литературный вариант, универсальным средством общения, обслуживающим все классы общества.

Итак, уже не доказывая якобы положительную исключительность и преимущества советского языка, большевики устами Сталина признали не скачкообразность (по Марру — стадиальность), а постепенность развития языка вообще, и русского в частности. Очень осторожно Сталин констатирует в русском языке послереволюционного периода определенный сдвиг (при полном игнорировании отрицательных моментов), с несомненным упором на стабильность его основных форм, сложившихся еще во времена Пушкина:

«Серьезно пополнился за это время словарный состав русского языка; выпало из словарного состава большое количество устаревших слов; изменилось смысловое значение значительного количества слов; улучшился грамматический строй языка. Что касается структуры пушкинского языка с его грамматическим строем и основным словарным фондом, то она сохранилась во всем существенном, как основа современного русского языка». (Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7).

После ряда очередных покаяний «марристов», во главе с акад. И. Мещаниновым, все участвовавшие и многие не участвовавшие в дискуссии советские ученые, писатели, поэты, критики и т. д. стали перепевать на все лады слова Сталина, по сути не так комментируя или углубляя их, как подчеркивая и превознося их «гениальность».

Вопросы языка советской художественной литературы в связи с высказываниями И. Сталина были поставлены на обсуждение на открытом партсобрании московских писателей в январе 1951 г., вызвавшем многочисленные отклики на страницах «Литературной Газеты» и других периодических изданий. В свою очередь доц. В. В. Новиков очертил в своей лекции, прочитанной в Академии общественных наук при ЦК ВКП(б), следующие задачи, стоящие перед советской литературой:

«Учение И. В. Сталина об общенародном языке ставит перед писателями огромной важности задачу — в совершенстве знать литературный язык классиков, повседневно изучать разговорный язык советского народа, уметь отобрать из живого разговорного языка такие слова, которые обогатили бы литературный язык».

В выступлениях и на страницах печати причинами недостатков языка современной художественной литературы назывались невнимательное отношение к основному материалу — слову, злоупотребление «местными речениями», не являющимися общенародными, перегрузка языка литературных произведений специальными терминами, иностранными словами и словами, лишенными образной выразительности, а также внесение в литературу «газетного языка». На все лады клеймилось пренебрежительное отношение советских писателей к языку русской классической литературы, особенно со стороны пролеткультовцев и рапповцев,

пытавшихся создать пропасть между языком предшествующих периодов и создаваемым ими «новым», «пролетарским» языком.

Однако, всю шумиху, поднятую вокруг «гениальных высказываний» Сталина о языке можно с полным правом назвать — «много шуму из ничего». Сталин только убрал из учения о языке теории, созданные в соответствии с политикой партии в довоенный период. Введение же в советское языкознание «нового» понятия об общенародном языке тоже не оказалось оригинальным: за много лет до Сталина выдающийся русский педагог К. Д. Ушинский писал:

«В языке одухотворяется весь народ и вся его родина... Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое, историческое живое целое».

VIII. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Послереволюционная орфографическая реформа русского языка (постановление Совнаркома РСФСР в декабре 1917 г.) была одним из первых мероприятий советского правительства, желавшего без промедления провести грань между языком царской России и языком России советской. Однако, эта реформа отнюдь не явилась «детищем большевизма», якобы исказившим исконно-русское правописание в угоду новым хозяевам бывшей Российской империи.

За сто с лишним лет до этой реформы, изгнавшей из обихода твердый знак и «ять», а именно в 1808 г., была уже напечатана с дозволения Санктпетербургского цензурного комитета любопытная книга — «Сравненія, замѣчанія и мечтанія, писанные в' 1804 году во время путешествія одним Русским. Перевод с' нѣмецкого. В' Санктпетербургѣ, В' тип. Императорскаго театра».

Читателю сразу бросается в глаза совершенно необычное для того времени правописание — отсутствие твердого знака в конце слов, с заменой его в однобуквенных словах (с, к, в) и в середине слов (с'естные, об'явилось и т. д.) апострофом. Перевод этой книги неизвестного автора был сделан Дмитрием Ивановичем Языковым, академиком, директором департамента Министерства народного просвещения, позже непременным секретарем Российской Академии. О нем мы читаем в «Русскомъ біографическомъ словарѣ» (т. 25, 1913, стр. 35-36):

> «В 1809 г. Языков кончил перевод своей первой части «Нестора», и она поднесена была государю, который приказал «издать за счет Кабинета перевод Языкова, с предоставлением в пользу его всех экземпляров, но с тем, чтобы эта книга, написанная переводчиком без буквы «ъ», была напечатана с употреблением сей буквы».
>
> Нужно иметь в виду, что Языков в то время силился вытеснить из русской азбуки буквы «ъ» и «ѣ».

Языков является до некоторой степени продолжателем дела Антона Алексеевича Барсова, ординарного профессора красноречия Московского университета и действительного члена Академии Наук, предложившего еще в 1768 г. новый, более сокращенный способ русского правописания, с повсеместной заменой буквы «и» буквой «і», уничтожением «ъ» в конце слов и заменой его в середине слов апострофом. Проект этот не был принят «по своему крайнему своеобразию» (см. Энциклопедический словарь, Брокгауз-Эфрон, т. 3, 1891, стр. 103).

Всё это были единичные попытки отдельных передовых ученых, но К. Солнцев в своей интересной статье «В преддверии орфографической реформы» (Новый Журнал, XXII, Нью-Иорк, 1949) показывает, что уже в 1903 г. Главное управление военно-учебных заведений (!) обратилось к Академии, подымая вопрос об упрощении правописания. Для этого во Втором отделении Академии Наук была образована специальная комиссия, члены которой в своем большинстве высказались за необходимость реформы правописания. Разработка этого вопроса была поручена таким светилам русской науки, как акад. Фортунатов и акад. Шахматов. Вокруг возможной реформы разгорелась такая ожесточенаня борьба, что окончательный проект «Постановления Орфографической комиссии» вышел только в 1912 г. И всё же, несмотря на старания неутомимого А. Шахматова и требования Всероссийского съезда преподавателей русского языка в средней школе, признавшего, что «реформа вполне назрела», дело с введением нового правописания всё затягивалось. Наконец, циркулярами от 17 мая и 22 июня 1917 г. Министерство Просвещения объявило о переходе к новой орфографии. Проект этой реформы был опубликован в Вестнике официальных постановлений Временного Правительства. Правда, вышеуказанные циркуляры касались только школы, тогда как Луначарский в декрете от 23 декабря 1917 г. распространил реформу на «все без изъятия государственные и правительственные учреждения». Почти через год, согласно декрету Совета народных комиссаров от 10 октября 1918 г. всей казенной печати было предписано пользоваться новой орфографией.

Вспомним бегло эту реформу:

Ликвидированы были буквы «і», «ѣ», «ѳ», равнозначущие «и», «е», «ф».

Относительно последних двух находим авторитетные высказывания акад. Я. Грота в его книге «Нѣсколько разъясненій по поводу замѣчаній о книгѣ 'Русское правописаніе'» (1886 г.), где он ссылается на Ломоносова, предлагавшего (еще в XVIII веке!) русской граматике игнорировать «фиту», а о пресловутом «ять» сам заключает, что «...так как е и ѣ произносятся совершенно одинаково, то в звуковом отношении оба начертания безразличны» (цит. соч., стр. 43).

Твердый знак (ъ) перестал писаться в конце слов и частей сложных слов, но в середине слов был сохранен в значении отделительного знака; практически же он был факультативно заменен апострофом ('). Однако, со временем в этой

последней функции он опять вошел во всеобщий обиход. В отношении же морфологии реформа, в основном, коснулась флексии, где произошли следующие замены:

-аго, -яго (косвенный падеж прилагательных, местоимений и причастий мужского рода) перешло в -ого, -его («доброго», «синего» вместо «добраго», «синяго» и т. п.)[1];

-ыя, -ія (прямой или косвенный падеж прилагательных женского и среднего рода мн. числа) перешло в -ые, -ие («добрые», «синие» вместо «добрыя», «синія» и т. п.);

«ея» (бывшее винительным падежом местоимения женского рода — «она») было заменено словом «ее» (ранее бывшим только родительным падежом того же местоимения); эта замена распространилась и на притяжательную функцию местоимения женского рода третьего лица («ее заботы» вместо «ея заботы» и т. п.);

«онѣ» (личное местоимение женского рода мн. числа) было заменено словом «они», чем достигнута унификация в мн. числе личных местоимений всех трех родов;

«однѣ, -х, -м, -ми», по аналогии, были заменены «одни, -х, -м, -ми».

Последние примеры, вне сомнения, свидетельствуют об отражении в реформе политического момента — уравнении женщины с мужчиной.

В приставках, кончающихся на «з» (без, воз, из, низ, раз, через, чрез), это «з» перед всеми последующими глухими согласными (в том числе и перед «с») должно быть заменено «с» (бескорыстный, восстание, исступление, ниспровергать, распахивать, чересчур, чресполосица).

Уже в конце прошлого столетия акад. Я. Грот свидетельствовал о наличии в русском языке давней традиции фонетически воспроизводить подобные префиксы в некоторых словах, где, правда, обывателем-нелингвистом эта префиксальность не осознавалась: «восход», «исполнять» и др. (см. цит. соч., стр. 5).

Еще более категорично высказался акад. Я. Грот в исправленном и дополненном издании своей знаменитой книги «Русское правописаніе», 1900 (стр. 47):

«...в слитном употреблении их перед безголосными *к, х, п, т, ф* перед шипящими *ч, ш, щ* и перед *ц* пишут по произношению: в о с, и с, н и с, р а с...

...Только перед *с* всегда удерживается *з*... Но правило изменять в названных предлогах *з* на *с* не распространяется на пердлоги б е з и ч р е з».

Последние предлоги (собственно говоря, приставки — Ф.), надо полагать, дольше задержались в правописании со звонким *з* даже перед глухими из-за их, так сказать, более резкой очерченности и экспрессивности.

Конечно, обобщение правила перехода *з* в *с*, за исключением

---

1 О потребности унифицированного правописания окончания род. падежа — о г о для имен прилагательных на — о й (большой, молодой и т. д.) высказывался задолго до Революции упоминавшийся выше акад. Я. Грот (цит. соч., стр. 35).

производных от имен собственных, как кавказский, французский и т. д., очень облегчило задачу школьного изучения орфографии.

К орфографическим проблемам следует отнести и правописание несмягченного «е», часто передаваемого через «э». Уже в период, предшествовавший Второй мировой войне, делались попытки унификации и нормализации в этой области (см. «Словарь иностранных слов», 1940), но они не привели ни к какой-либо реформе, ни к практическому применению предлагавшегося принципа, при котором «э» должно было бы писаться в словах иностранного происхождения, только открывая или составляя собою слог (Эмпедокл, фаэтон и т. д.). В словах же, где бывшее «э» оказывается в срединном или замыкающем слог положении, оно должно перейти в обыкновенное «е» (ленч, леди, Доде и т. п.). Из-за неадэкватности русского «э» иностранным гласным (lunch, lady, Daudet), нормализация здесь оказывается в корне искусственной, а потому она, очевидно, и не внедрилась в правописание. Так, в «Словаре иностранных слов» под. ред. И. В. Лехина и Ф. Н. Петрова (изд. 4, перер. и доп., Москва, 1954) находим два варианта: «леди», «лэди».

Акад. С. Обнорский определяет норму правописания «е» и «э» в русских словах иностранного происхождения степенью ассимиляции их русским языком. Так он считает вполне законным наличие «е» в словах давно и прочно вошедших в русский язык: «леди», «вена», «ректор», «комета» и др., одновременно признавая оправданным написание через «э» слов, якобы менее распространившихся в русском языке, как «дэнди», «кашнэ» и др. Условность подобного подхода к нормам орфографии слов иностранного происхождения кажется нам очевидной.

Об этом говорит и С. Крючков в своей книге «О спорных вопросах современной русской орфографии» (стр. 5):

> «Нет последовательности в изображении звука *э* с предшествующим твердым согласным в заимствованных словах, например: п*э*р, но д*е*нди; м*э*р, но кашн*е*».

До некоторой степени наиболее официальной точкой зрения в данном вопросе можно считать ту, которой придерживается проф. А. Шапиро, ибо его книга «Русское правописание» (1951) была издана под эгидой Академии Наук СССР.

Но дело в том, что проф. Шапиро, по сути не раскрывает причин правописания *э* или *е* в заимствованных словах, а просто констатирует его: «...п е н с н э, м э р (то же в некоторых иноязычных именах собственных: Т э н, М а д л э н и т. п.); большей же частью в тех случаях, когда согласный в таких словах произносится твердо, гласный *э* обозначается буквой *е*: т е м п, д е м п и н г, Ш о п е н, М ю с с е». (стр. 27).

Что касается старых заимствований, то и здесь наблюдается полная непоследовательность, даже более глубокая, так как одни и те же морфемы-графемы (напр., греческие приставки épi и 'éu) дали в русском языке различное отображение: епископ, епитемья, но эпидерма, эпилог; Европа, но эвфемизм и т. п.

Наконец, в позднейшей (1954 г.) редакции Приложения 1

к «Правилам русской орфографии и пунктуации», служащем как бы путеводителем по правописанию слов, вызывающих закономерные колебания, находим рекомендацию писать «кеб» и «бекон».

В общем же тенденция, хотя еще и не утвердившаяся, к замене «э» обыкновенным «е» может считаться закономерной из-за вышеуказанного несоответствия этого «э» иностранным гласным, свое же «е» может восприниматься чем-то подобным английской нейтральной гласной, служащей здесь заместителем всевозможных иностранных гласных.

Не менее убедительное подтверждение унифицирующей роли «е» находим в русских алфавитных абревиатурах, где в действительности произносимое «э» всё же часто изображается через «е»:

Тут наш капе[2]. (Павленко, Счастье, 261).
Двигались «газы», «се-те-зе»... (Там же, 244).

Здесь кстати будет вспомнить слова такого видного деятеля в области нормирования русской орфографии, как акад. Я. Грот, указывающего в своей книге «Русское правописаніе» (стр. 78) на то, что «...в нарицательных... которые в каждом языке видоизменяются по требованиям его фонетики, мы не обязаны применяться к тонкостям иностранного происхождения».

Но с другой стороны не следует забывать, что именно в правописании чужих родному языку слов важна нормативность, и что, как правильно замечал В. Жирмунский («Национальный язык и социальные диалекты», стр. 8) «...графическая фиксация звучащей речи оказывает на развитие языка прямое воздействие, которое не всегда достаточно учитывается».

Акад. Я. Грот, выказавший некоторое безразличие к произношению заимствованных слов, всё же считал, что «...всего нужнее означать с возможною точностью форму иностранного имени собственного...» («Нѣсколько разъясненій...», стр. 39). Там же «отец русского правописания» высказался положительно (и вполне справедливо!) о появлении в русских шрифтах (к сожалению, скоро исчезнувшей) литеры *ё*, способной, по мнению маститого академика, создать в его родном языке качественный адэкват западно-европейским графемам, в частности, немецкому *ö* (напр., Ö s e l) или французскому e u (напр., E u).

Обращаясь к более современным авторитетам, следует упомянуть указания акад. Л. Щербы на то, что «...надо писать адэпт, адэкватный, тэрор и под., но тема, термометр, десант, потому что так говорят по-русски.

Впрочем, по поводу предложенных написаний должно сказать, что может быть, не все так произносят, как здесь указано; ...можно подойти и совсем иначе: можно защищать сохранение их традиционного вида, имея в виду, что они представляют из себя интернациональный багаж русского языка и облегчают изучение иностранных языков...» («Транскрипция иностранных слов», стр. 189).

---

[2] Это слово встречается и в правописании «капэ».

Несколько далее, как бы полемизируя с самим собой, акад. Л. Щерба признает право условного отображения, например, французского *é* не *э*, а простым *е*, базируясь на том, что и в русских словах, которым свойственен звук *э*, даже в сочетании с предыдущим твердым согласным: *шэ, жэ, цэ* это *э* игнорируется и они пишутся: ш е с т, ж е с т ь, ц е л. Что же касается таких французских имен собственных, как Д о д е, М ю с с е и подобных им, то нет надобности написания их через *э*, так как в сознании интеллигента, начертание *е* в иностранной фамилии будет автоматически ассоциироваться с западно-европейским открытым *е*.

Здесь же уместно отметить и любопытную эволюцию правописания «и» — «ы» в словах с первоначальными «и» в корне (итог, идея), которое сначала в звучании, а потом и в написании превратилось в «ы», будучи склеенным с префиксом, оканчивающимся на зубной согласный (подытоживать, безыдейный). В самое последнее время наблюдается тенденция к восстановлению в подобных словах первичной графической формы (подитоживать, безидейный)[3].

Безусловно здесь нельзя обойти вниманием установку наиболее авторитетного и сравнительно недавно вышедшего (1948) «Словаря современного русского литературного языка», Академия Наук СССР, т. I. В нем жирным шрифтом дается правописание того или иного слова, являющееся основным, наиболее употребительным и современным. Тонким шрифтом в конце каждой вокабулы даются (если они есть) дополнительные, менее употребительные или просто устарелые правописания. Так, основными словами даны «безидейный», «безинициативный», но «безызвестный», «безыменный или безымянный» и... «безынтересный», из чего можно заключить, что этимологическая первичность «и» сохраняется только в основах иностранного происхождения, недавно создавших русские слова в агглютинации с русскими аффиксами; слова же исконно-русские, равно как и слова с иностранной, но давно заимствованной основой, даны в правописании с утвердившимся, как в речи, так и в письме, «ы»[4].

Еще большая неустойчивость наблюдается в правописании

---

[3] Упоминавшийся выше проф. Шапиро, в своей книге «Русское правописание» (стр. 47) говорит о некоей эволюции графического строения слов, состоящих из основ иностранного происхождения, начинающихся с «и», и своеязычных аффиксов:

«В соответствии с основным принципом русского правописания, после приставки, оканчивающейся на согласную и слившейся в одно целое с корнем или с другой приставкой, начинающимися звуком и, следует писать букву ы... Это правило распространялось ранее и на приставочные образования с иноязычными корнями, т. е. на такие слова, как б е з ы д е й н ы й, б е з ы н т е р е с н ы й. Однако, стремление сохранить в словах этого типа без изменения внешний вид корня привело к написаниям б е з и д е й н ы й, б е з и н т е р е с н ы й, с и м п р о в и з и р о в а т ь и т. п., прочно вошедшим в практику последних лет».

Далее проф. Шапиро высказывает опасение, что морфологическое правописание (с «и») может повлиять на произношение, сделав его неправильным.

[4] Полное подтверждение нашего предположения имеется в статье С. Крючкова «Спорные написания...» (стр. 36). Аналогичные рассужде-

коренных «ё» — «о» с предыдущим шипящим. Для иллюстрации позволим себе привести следующую выдержку из фельетона П. Лучевого «Чертовщина» (К р о к о д и л, № 2, 1947):

«Перед нами два учебника по русскому языку для средней школы одного и того же автора. В одном написано «желудь», а в другом «жолудь»... Как правильно написать: «сам черт или сам чорт не разберется».

Излишняя «морфологичность» в подходе к правописанию чередующихся гласных осуждалась всё тем же акад. Я. Гротом. Он видел в этом, равно как и в лукавом мудрствовании по поводу переноса частей слов из строки в строку, совершенно неоправданный педантизм.

Следует отметить, что филолог-академик, работавший задолго до Революции, высказывал значительно более либеральные и созвучные движению живого языка взгляды, чем многие советские лингвисты, подчас проявляющие несравненно большую косность:

«При всеобщей грамотности нормы нашей орфографии вошли в плоть и кровь русского народа... ломка такого важного средства общения (письменности — Ф.) была бы политически вредным социальным экспериментом» (А. Гвоздева, Вопросы современной орфографии и методика ее преподавания, стр. 123).

Однако, в авторитетной книге проф. Шапиро «Русское правописание», несмотря на скептическое замечание (стр. 41), что, мол, «...приходится признать, что в области употребления *о* и *е* после шипящих существует значительный разнобой...», в другом месте (стр. 51) имеется прямое утверждение новой единицы русской азбуки:

«В настоящее время буква *ё* считается самостоятельной буквой в нашем алфавите, число единиц которого равно 33, между тем как со времени реформы правописания 1917-1918 гг. до 1943 г. оно равнялось 32!»

Если присмотреться к истории буквы *ё* в русском языке, то мы увидим, что еще Карамзин ввел ее вместо буквенного сочетания *іо*, чем поместил ее в ряд с другими иотированными: *я, ю, е*. Однако, это нововведение не привилось, — очевидно, из-за общего избежания надбуквенных знаков (исчезли постепенно в русском языке *і, ї*; осталась только одна буква с надстрочным знаком — *й*). Правда, декрет Совнаркома от 23 декабря 1917 года имел следующее указание: § 5. Признать желательным, но не обязательным употребление буквы *ё*. В следующем же году — 10 октября 1918 г. — параграф, касающийся *ё* был опущен.

ния находим и в его вышеупомянутой книге «О спорных вопросах...» (стр. 23-24):

«Теперь намечается правило, предлагающее в иноязычных корнях, а также в русских корнях после иноязычных приставок сохранять *и*, например: симпровизировать, контригра, панисламизм... Устойчивее сохраняется *ы* в слове небезынтересный. Это объясняется установившейся традицией и сильным обрусением слова интерес».

В вышеуказанном Приложении 1 к «Правилам русской орфографии и пунктуации» рекомендуется писать «безидейный», «предистория».

Несмотря на заявление проф. Шапиро, что начиная с 1943 г. *ё* стала 33-ей буквой русского алфавита, практическое ее применение остается очень ограниченным.

Говоря об орфографических сдвигах в русском языке последнего времени, следует остановиться на правописании слов иностранного происхождения с удвоенными согласными. Естественно, что массовое усвоение подобных слов происходит значительно скорее, чем ознакомление с самими языками, в которых эти слова возникли, или из которых они были заимствованы русским языком. Таким образом, соответственно общей тенденции к упрощению, распространяется и частично утверждается, как увидим ниже, правописание слов «дифференциал», «коэффициент», «катарр» и многих других без удваивания согласных: д и ф е р е н ц и а л, к о э ф и ц и е н т, к а т а р и т. п.

Составителями «Словаря иностранных слов», 1933, была сделана попытка нормализовать это явление путем введения правописания, при котором все русские слова иностранного происхождения с удвоенными согласными предлагалось писать через одну согласную, за исключением тех слов и их производных, где предшествующая согласной гласная оказывается ударенной («колонна», «касса», а по ним и «колоннада», «кассир» и т. д.).

Такая реформа обладала бы определенной не только внешней, но и внутренней логичностью, так как, по сути, закономерно расширила бы круг слов с уже выпавшими до Революции согласными (ср., например, со словом «атака» — от франц. attaque, «адрес» — adresse и мн. др.).

В официально-нормативном четырехтомном «Толковом словаре русского языка», 1936-40, наблюдается компромиссное решение проблемы — одна из двух согласных помещена в скобки, что должно говорить об альтернативности ее написания. В последующих же официальных словарных изданиях полностью восстановлена старая удвоенность согласных, и допущены очень немногочисленные исключения.

Очевидно, неспособность широкой публики отличать слова иностранного происхождения от исконно-русских, а главное, проанализировать их лингвистически, приводит к невозможности введения хотя бы такого ориентирующего критерия, как ударение. Так, например, довольно распространенным, даже среди людей средней культуры, является правописание слова «раса» (от франц. race) через два «с» («расса» — надо полагать, по аналогии со словами «касса», «масса» и т. п.).

Таким образом, вышеуказанный правописный момент остается пока, мы бы сказали, под влиянием официальной традиционности, с одной стороны, и «самотека», с другой — имеем в виду медленное и непоследовательное, но упорное «упрощение» слов иностранного происхождения[5].

---

[5] Как и следовало ожидать от старого ученого и академика, убежденным противником самотека в орфографии выступил Л. Щерба («Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий»):

«Как и в других областях «самотек» ведет к анархии, а анархия

* * * * *

Конечно, с начала Революции произошло много изменений, требовавших нормализации, но бесконечно заседавшие правительственные комиссии так и не создали никакого определенного законопроекта. Одной из животрепещущих проблем оставалась орфографически-морфологическая (в основе орфоэпичная) проблема окончаний. После Революции это коснулось в первую очередь множественного числа имен существительных мужского рода, обозначающих профессию.

Обычное, в подобных случаях, окончание «ы» переходит во всё большем и большем количество слов в «а», с соответствующим перенесением ударения на последний слог, чем по сути только интенсифицируется тенденция, наметившаяся уже в конце XIX ст. (профессоры — профессора, докторы — доктора, инспекторы — инспектора). Все же слова «инженера», «офицера», «шофера» считаются еще просторечными. Здесь есть определенная закономерность: в первом ряде слов ударение находилось на третьем от конца слоге, чем уже заранее снижалась четкость произношения последнего слога и создавались предпосылки слабого сопротивления переходу в другой гласный. Во втором ряде слов ударение падает на второй от конца звук, чем обеспечивается большая сопротивляемость новой огласовке, но, конечно, неумолимый закон аналогии заставит скоро и эти слова приобрести новое оформление, унифицирующее множественность имен существительных мужского рода, преимущественно с конечным «р» и преимущественно в словах иностранного происхождения.

У акад. С. Обнорского в его небольшой книжке «Культура русского языка» (стр. 25-7) находим следующее:

«Окончание — *а* в им. мн. существительных муж. рода новое по происхождению. Оно первоначально было окончанием им.-вин. падежа двойственного числа у подвижно-ударяе-

---

нетерпима и в области транскрипции иностранных фамилий и названий... стр. 187-8.

...написание а г г р е г а т (несмотря даже на французское a g r é g a t) объясняется восхождением к латинской этимологии и решительно не может быть поддерживаемо. Таким образом самым естественным является здесь чисто фонетический принцип на основе живого русского литературного произношения. Так следует писать: а б а т, а к о р д, а к у р а т н о, а р т и л е р и я, а с и с т е н т, а т е с т а т, а ф е к т, э ф е к т и под. (ср. установившиеся правописания: а р е с т, а д р е с, а т а к а, а т р и б у т); далее следует писать: д ь я в о л, д ь я к о н (д и а в о л, д и а к о н могли бы быть лишь стилистическими варьянтами), д ь я к, м а т е р ь я л ь н ы й, м и н ь я т ю р н ы й, п ь е с а, ф о р т е п ь я н о и под. (ср. установившиеся к у р ь е р, а р ь е р г а р д); также следует писать: б у г а л т е р (хотя Buchhalter), г а л с т у к (хотя Halstuch), б у ш п р и т (хотя boeghsprit) и под. Однако, конечно, надо писать: к а с с а, в а н н а г р у п п а, г е е н н а, в и л л а и под., потому что так говорят по-русски. Точно так же следует писать: м а т е р и я, к а м п а н и я, к о м п а н и я, и под. по тем же причинам. Далее, конечно надо писать: м е т и л, л а р и н г и т, ц е л у л о и д, но а л ю м и н и й, э л ь и под...» (Стр. 189).

мых существительных. Например: б е́ р е г, б е́ р е г а и два берегá; г о́ р о д, г о́ р о д а и два городá... С Петровской эпохи (эти формы — Ф.) заметно растут и в пределах русской лексики на протяжении XIX в. становятся нормой нашего литературного языка...»

Однако, замечает акад. Обнорский «...современным общим литературным нормам так противоречат формы им. мн. о ф и ц е р á, и н ж е н е р á, д о г о в о р á, так как ед. число от них — с наконечной ударяемостью и н ж е н е́ р, о ф и ц е́ р, д о г о в о́ р».

Проблема окончаний -ы, -и — -а, -я, правда, без подчеркивания момента ударения наглядно представлена Л. Успенским в его статье «Грамматика русского языка» (жур. «В помощь преподавателю русского языка в Америке», Сан-Франциско, т. 8, № 31, 1954, стр. 37):

«Автор спорит с корректором. «Я повсюду слышу, как все говорят «цеха», «кондуктора», «корректора»! Я и пишу так. А вы мне это запрещаете! — негодует он.

«Да! — отвечает корректор. — Так писать нельзя. Надо писать «наши мощные цехи», «наши квалифицированные корректоры».

«Но ведь не скажете: «В поликлинике работают лучшие докторы» или «Вдоль улицы выстроились многоэтажные домы»? Так выражались сто лет назад! — не сдается автор.

«А вы не пишете «продают вкусные торта», а говорите «продают торты»!

Кто из них прав? Мы не пишем и не говорим «домы», хотя еще Гоголь выражался именно так: но мы сочтем ошибкой множественное «сома» от единственного «сом». Мы спокойно говорим «токаря», «слесаря», но считаем невозможным форму «косаря». В чем же разница между этими как будто одинаковыми формами слов?

Грамматика, и только она, ответит вам на этот вопрос: ответит словами Ломоносова: «...свойство нашего российского языка убегает от скучной буквы И... во множественном числе многих существительных вместо И выговаривают и пишут А: облака, острова, леса... вместо облаки, островы, лесы...»

Процесс этот, наблюдавшийся Ломоносовым 200 лет назад[6], продолжается и поныне, захватывая всё большее и большее число существительных».

В художественной литературе советского периода эта тенденция перехода окончаний -ы, -и в -а, -я встречается довольно часто:

...А Глеб всматривался в артель и радостно кивал шлемом: — А-а... Бондаря... Кузнецы... Электрики... Слесаря... Братва! (Гладков, Цемент, 20).

Умирали разведчики... миномётчики, пекаря, летчики, медсестры. (Эренбург, Буря, 252).

---

[6] М. Ломоносов, «Россійская грамматика», С. Петербург, 1755, стр. 53.

Особенно же богат подобными формами язык Шолохова, где они наблюдаются не только в мужском роде, но и женском:

Церква закрывают... (Поднятая целина, 26).

Как их, враженят, разбирать, ежели они почти все одинаковые. Их и матеря будут путать... (Там же, 81).

У вас кровя заржавели от делов[7]. (Там же, 227).

Тенденция эта оказалась настолько сильной, что эти формы проникли и в поэзию:

Хоть бы секунду, секунду хотя-бы
Открыть клапана́[8] застоявшихся бурь...
(Сельвинский, Улялаевщина, 9)

Тройка, гей, безалаберных коней
Вниз пущусь на степя с обрыва я.
(Сельвинский, Цыганская)

Но вот формы «скатертя́», «парохода́», «шинеля́» и пресловутые «средства́», «прибыля́» звучат совсем одиозно, хотя и встречаются довольно часто в живой речи.

Академик С. Обнорский в своей статье «Правильности и неправильности современного русского литературного языка» (стр. 240) замечает, что:

«Очень многие примеры с формами на — а́... обязаны своим происхождением профессиональной речи, типически свойственны ей и не могут быть нормализованы для общего литературного языка».

Это не мешает акад. Обнорскому признавать закономерность утверждения в литературном языке таких форм, как «шелка́», «доктора́», «директора́». Им же признается факультативность употребления одного из двух вариантов старых слов:

е́гери — егеря́,
то́поли — тополя́,

что иногда объясняется и инстинктивной склонностью языка семантически использовать разницу ударений:

хле́бы — хлеба́,
то́рмозы — тормоза́.

В. Гофман, говоря о небольшой книге Михаила Презента «Заметки редактора», 1933 («Язык литературы», стр. 68), отмечает:

---

[7] Попутно утверждению в общем языке новой формы окончаний множественного числа имен существительных (*а, я*) следует отметить и просторечную тенденцию к наращиванию флексии *-ов* в род. падеже множ. числа имен существительных среднего рода, что признается чуть ли не закономерным таким тонким знатоком литературного языка, как акад. Щерба, в одной из его последних статей («Опыт общей теории лексикографии», стр. 97):

«...если какой-либо директор кино, желая обновить русский язык, сделает аншлаг на дверях своего театра м е с т о в н а с е г о д н я б о л ь ш е н е т, то реакция на это будет одна: к а к э т о в ы п о з в о л я е т е н е г р а м о т н ы м л ю д я м п и с а т ь а н ш л а г и в в а ш е м т е а т р е? И это несмотря на то, что формы м е с т о в, д е л о в имеют по всей вероятности шансы на успех в будущем».

[8] Ударение поставлено самим автором.

«Возмущает М. Презента (это коренной номер пуристов) и формы: редактора́ вместо редакторы, адреса́ вместо адресы и т. п.... А между тем, такие формы — закономернейшее и распространеннейшее явление в русском литературном языке еще дореволюционной эпохи. В стилистической грамматике строгого В. Чернышева («Правильность и чистота русской речи», изд. 3-е, сокращ., 1915 г., § 144, стр. 86-87) читаем: «В современном литературном русском языке следующие формы существительных мужского рода в именительном (и винительном) падеже множественного числа имеют окончания а, я вместо ы, и: адреса, редактора, профессора и т. д. и т. п. — идет длинный перечень слов».

Вторя Презенту, Е. Галкина-Федорук в книге «Современный русский язык» (стр. 19) категорически утверждает, что «...просторечными считаются формы множественного числа имени существительного на а вместо ы, например: договора, выговора, вместо договоры, выговоры».

Ударение на последнем слоге (в профессиональных арго) укоренилось даже в именах существительных единственного (!) числа — «искра́»[9], «магнето́». С другой стороны, иногда, наоборот, ударение передвигается к началу: «шофе́р» у значительного числа говорящих превратилось в «шо́фер». То же наблюдаем и в слове «до́быча» (напр., угля на Донбассе), получившем официальное признание, как проникший в широкий обиход производственный термин.

Понижение культурного уровня русской интеллигенции, — естественной законодательницы орфоэпии, — в первые два десятилетия Революции, произошло вследствие того, что социальные низы стремительно поднялись вверх. Они стали утверждать в общем разговорном языке просторечные ударения, особенно в словах иностранного происхождения: «мага́зин», «ква́ртал», «по́ртфель», тот же «шо́фер» и т. д. Передвижение ударения можно отметить и в исконно-русских словах: «подошва́», «мелько́м», «петля́» (наблюдавшееся, правда, но далеко не столь распространенное в дореволюционные годы). Интересно отметить, что если в первом случае ударение покидало последний слог, перемещаясь поближе к началу слова, то в исконно-русских словах часто наблюдался обратный процесс — передвижение ударения на последний слог.

Конечно, далеко не всегда можно было проследить закономерность подобного явления при засорении речи безграмотными ударениями, принявшими буквально массовый характер, о чем, например, рассказывает Р. Березов в своей статье «О курьезах и капризах языка в Советском Союзе». (Новое Русское Слово, Нью-Йорк, 3 июля 1949):

---

[9] Это явление настолько характерно, что оно отражено даже в советской поэзии (Н. Грибачев, Стихотворения и поэмы, 215), причем ударение поставлено самим автором:

Не искра́, должно быть, гук
отбивается
от рук.

«В канун 1 мая и 7 ноября в клуб писателей присылали докладчика из отдела печати ЦК. Обычно это был какой-нибудь красный профессор из «Института красной профессуры». Слушая докладчика, я записывал его ударения. Однажды я записал 53 ошибки «профессора».

В. Викторов в статье «Язык великого народа» (Комсомольская Правда, 16 окт. 1937) отмечает:

«Добрая половина комсомольских работников по сей день говорит «выбора́», а не «вы́боры», «Наркомзём», а не «Наркомзем», «сельско́е хозяйство», а не «се́льское хозяйство» и т. д. и т. п.».

Употребление неправильных ударений приняло такой массовый и катастрофический характер, что А. Ефимов, автор вышедшей тиражем в 75.000 книги «О языке пропагандиста» (Моск. рабочий, 1951), оказался вынужденным снабдить свою работу «Словарем правильного произношения» наиболее употребительных слов[10].

Можно указать и на случай, запомнившийся авторам. В 1939 году, в период повышения грамотности студентов (!), аспирант-филолог Киевского университета Р., начал свою вступительную лекцию русского языка на историческом факультете следующей многообещающей фразой:

— Хотя многи́е из вас не умеют грамотно писать, но я научу вас.

В добавление к вышесказанному можно упомянуть, что перемещение ударения не ограничилось именами существительными, так оно распространилось и на имена прилагательные:

зава́дский — заводско́й,
пла́новый — планово́й.

Насколько ударение в современном русском языке является одним из наиболее неотстоявшихся моментов, можно судить по тому, что некоторые прилагательные имеют параллельную трехвариантность:

фла́нговый — флангово́й — фланговой.

Как видим, с переходом ударения на последний слог изменилась и огласовка ударенного окончания.

Здесь следует указать на то, что в области орфоэпических устремлений некоторое время после Революции господствовала тенденция утвердить в прилагательных мужского рода окончание «-ой» даже в словах с неконечным ударением (ру́сской, вели́кой и т. п.), что явилось влиянием московского говора. Но это явление не распространилось на литературу, а ограничилось практикой (да и то недолговременной) московского радиовещания.

В литературном, как разговорном так и письменном языке сохранилась орфоэпическая (соответствующая и современной орфографии) традиция Петербурга-Ленинграда[11].

---

[10] Следует отметить, что трактовка произношения некоторых слов А. Ефимовым является спорной.

[11] В книгах, напечатанных до стабилизации русской орфографии, достигнутой при акад. Гроте, встречаются окончания «-ой» вместо «-ий».

Интересное и, пожалуй, справедливое объяснение этому находим у видного английского «руссиста» W. K. Matthews (The Structure and Development of Russian, p. 170):

«...Уничтожение значительной части среднего класса и дворянства и наплыв в обе столицы множества говорящих на разнообразных диалектах, равно как и рост грамотности, — всё это привело к упадку московского «стандарта» русского языка и утверждению консервативного правописания-произношения в большей гармонии с ленинградским «стандартом». (Перевод наш. — Ф.).

Просторечные ударения коснулись также и глаголов. Например, очень распространенными в общеразговорном языке стали такие формы, как:

звóнишь, -ит, -им, -ите, -ят вместо звони́шь, -и́т, -и́м, -и́те, -я́т;

пóнял, -а, -и вместо поня́л, -а́, -и́,

где перемещение ударения, очевидно, свидетельствует об общей тенденции отмирания окончаний при спряжении глаголов, связанной с перенесением ударения на корень-основу.

В связи с очень важным для литературного языка моментом ударения и огласовки необходимо особо остановиться на судьбе подударного «е». Следует отметить, что академик Обнорский, на которого мы уже неоднократно ссылались, проявил здесь некоторую, мы бы сказали, неустойчивость. Так, например, «законный» приоритет признается им за неиотированными формами «е» в суффиксах прилагательных причастного происхождения, но параллельно, с якобы единственно-правильной огласовкой «иноплеменный» допускается и «разноплемённый». Несколько пуристическим может показаться и требование акад. Обнорского произносить «рассек» и «осекся» вместо вошедших в общий язык «рассёк» и «осёкся».

Попутно упоминаются и имена существительные, где иотирование воспринимается, очевидно, как особо-кощунственное: «опёка», «издёвка», «смётка», «слёжка». Здесь нам кажется, что по трудно-определимым причинам крайние слова этого ряда — «опека» и «слежка» действительно задержались в разговорном языке в своей старой неиотированной огласовке, в то время как «издёвка» и «смётка» не могли бы уже быть заменены «издевкой» и «сметкой»[12].

Неустойчивое положение или лучше скажем, неустоявшаяся, «неповсесловно» распространившаяся тенденция иотирования подударного «е» вызывает необходимость посильной для руководящих кругов регламентации правописания «е» — «ё». Но выделение и печатание «ё» как самостоятельной литеры проводится

---

12 Небезинтересно будет привести здесь высказывания всё того же до сих пор непревзойденного авторитета в области русского правописания акад. Я. Грота («Русское правописаніе», стр. 14):

«Образованный язык допускает обращение *е* в *ё* только в ударяемых слогах. В народной же речи этот звуковой переход является во многих слогах, большею частью ударяемых, частью же и в неударяемых, но в литературном языке удерживающих неизменное *е*, напр. народ местами говорит: ё м у, с м ё р т н ы й, п ё р с т».

не повсеместно в Советском Союзе, на что и жалуется упоминавшаяся нами выше А. Гвоздева (см. цит. соч., стр. 119).

Переходя к разбору морфологических изменений в послереволюционном русском языке, следует отметить, что большинство из них в той или иной степени связаны и с семантическими моментами. Это очень ярко сказалось на проблеме рода.

* * * * *

В своей статье «Новые слова» (К р а с н а я Н о в ь, № 4, 1939) Л. Боровой правильно отмечает, что «полное уравнение женщины в правах с мужчинами во всех областях общественной жизни и почти во всех профессиях произвело также очень заметные перемены в языке».

Далее, подкрепляя свою посылку убедительными конкретными примерами, автор статьи продолжает:

«Это сказалось прежде всего в исчезновении слова «женщина» перед наименованием многих профессий... Наряду с летчиком существует теперь летчица, наряду с диктором — дикторша. (Особенно это показательно для военного времени — добавим мы: «На батарее были девушки-зенитчицы, прибористки..., разведчицы». — Гроссман, Годы войны, 174). Но такое словообразование возможно было только в отношении новых профессий. Прибавление окончания женского рода к названию старой профессии часто оказывалось невозможным, потому что такие слова уже ранее существовали в языке, но значили они совсем другое: «инженерша» означало исторически жену инженера, а не инженера-женщину. Поэтому инженер, конструктор, строитель, архитектор, водолаз, профессор, доктор, композитор и т. д. стали обозначать специалистов обоего пола без различия. Так же укрепились для обоих родов без различия слова политического языка: агитатор, парторганизатор, секретарь парткома или месткома».

Интересное и убедительное объяснение того, почему за многими именами нарицательными одушевленными, формально словами мужского рода, могла закрепиться двойная функциональность — мужского и женского пола — находим у проф. В. Виноградова в его труде «Русский язык» (стр. 62 и стр. 68):

«...в категории мужского рода ярче выражена идея лица, чем идея пола (ср. ч е л о в е к и отсутствие формы ч е л о в е ч и ц а). В именах существительных, являющихся именами женщин, идея пола ощущается резче и определеннее».

«Дело в том, что слова мужского рода, относящиеся к категории лица, прежде всего выражают общее понятие о человеке — его социальную, профессиональную или иную квалификацию, независимо от пола. Формой мужского рода характеризуется имя человека вообще. Поэтому названия лиц в форме мужского рода могут относиться и к женщинам, если нет упора на половую дифференциацию особей. В категории мужского рода очень заметно значение социально-активного лица».

Подтверждением правоты акад. Виноградова является применение в языке семантической пары г е р о й - г е р о и н я. Действительно, там, где элемент пола не играет основной роли, слово «герой» может относиться как к мужчине, так и к женщине: Герой Советского Союза (Валерий Чкалов, Валентина Гризодубова), Герой Социалистического Труда (Василий Алексеевич Дегтярев, Шамама Хасанова).

Там же, где звание может относиться только к представителю одного пола, именно женского, употребляется соответствующая форма: «мать-героиня» (многодетная мать).

А. Миртов в своей статье «Из наблюдений над русским языком в эпоху Великой Отечественной войны» (стр. 99) так характеризует положение с оформлением женского рода в русском языке последних десятилетий:

> «...называть ее (женщину — Ф.) по профессии мужа стали всё реже и реже... Процесс этот почти закончился к началу Великой Отечественной войны и совершенно закончился в годы военного времени... Если нужно женщину назвать по мужу, в официальной речи говорят: ж е н а г е н е р а л а, ж е н а п о л к о в н и к а, ж е н а о ф и ц е р а, ж е н а д и р е к т о р а, ж е н а п р о ф е с с о р а и т. д.; слова г е н е р а л ь ш а, п р о ф е с с о р ш а, о ф и ц е р ш а теперь доживают свой век в просторечии, в семейном или шуточном употреблении».

Отказ от применения соответствовавших женскому роду суффиксов — *к*[13], *их* (врачиха), *иц* (полковница), *ш* (кассирша) — привел к разнобою в согласовании данных имен существительных с именами прилагательными, глаголами и местоимениями. А. Миртов приводит очень наглядный пример из рассказа В. Лидина «Дело №»:

> «Кассир, немолодая и полногрудая Елена Ивановна, заходила в свою уединенную клетушку... И каждый, кто видел ее пухлые руки...»

Ироническое отношение к так сказать «двухродности» профессиональных обозначений наблюдается даже в официальном сатирическом журнале «Крокодил»:

> «Машиниста Степанова знаешь? — Еще бы! — Женился. — На ком? — На начальнике станции». (1939, № 33).
>
> «Теперь у нас в колхозе прибавится еще один старший механик. — Кто? — Муж нашего механика». (1945, № 22).

Далее Миртов указывает на два основных пути дифференциации родов: 1) придание имени существительному пояснительного слова — ж е н щ и н а - в р а ч, что возникло еще в конце XIX ст., но не привилось; 2) суффиксация — *иц* (ударница, колхозница, наводчица и т. д.), *к* (комбайнерка, партизанка, диверсантка и т. д.). Что касается субстантивированных прилагатель-

[13] В некоторых случаях употребление этого суффикса в одном и том же семантическом ряду невозможно, как, например, в словах машинист(-*ка*), пилот(-*ка*), где внешне сходные слова разнятся не только в роде, но и в самом содержании.

ных, то здесь происходит простое изменение родового окончания — вожат*ая*, звеньев*ая*, военн*ая*:

«Товарищ в о е н н а я — окликнул меня звонкий женский голос». (Джигурда, Теплоход «Кахетия»),

хотя и не исключаются случаи такие как, например:

«Я уже теперь с т а р ы й в о е н н ы й — говорит Валя Тимофеева». (И з в е с т и я, 19. VII. 1941).

Также к области флексии следует отнести, по сути семантический вопрос формы множественного числа имен существительных абстрактных, когда-то допускавшихся только в единственном числе. Теперь же в музыке мы встречаем «Десять мимолетностей» Прокофьева, в поэзии — «любвишки» и «любвята» у Маяковского. Особенно часты подобные формы у Сельвинского:

И матовый пузырь, оправленный в кость...
Гранеными ледышками стучался от энергий.
(Улялаевщина, 7)

Весь организм завода. Сталь.
Животная мощь электричеств.
(Избранные стихи, 9)

У Н. Шпанова также находим рассказ «Пятьдесят бесконечностей» (сборник «Горячее сердце», Москва, Советский писатель, 1942).

Следует, однако, отметить, что и до Революции подобные формы встречались спорадически в литературе, в частности у В. Брюсова:

Приидут дни последних запустений...
...Ни светов, ни красок нет.

и даже еще у А. Герцена:

...все задержанные злобы этого человека распустились. («Былое и думы», ОГИЗ, Ленинград, 1946, стр. 72).

Здесь следует подчеркнуть, что необычным до Революции множественное число имен существительных абстрактных было только для художественно-литературного языка, что же касается науки, в частности математики, то там всегда выглядели вполне нормальными такие формы, как «многообразие бесконечностей», «бесконечности различных категорий» и им подобные[14].

Но наиболее вызывающим явлением оказалась просторечная, но очень сильная тенденция «орусачивать» многие слова среднего рода иностранного происхождения. Эти слова подвергаются склонению:

---

[14] Кстати, затронув вопрос свободного употребления после Революции множественного числа имен существительных абстрактных, можно вскользь заметить, что в отдельных случаях наблюдается обратное явление, т. е. отсутствие некоторых имен существительных собирательных, правда внешне оформленных как имена существительные единственного числа, но носящих характер множественности. Имеем в виду слова с обобщающим суффиксом -с т в-. В официальной прессе избегают употребления таких слов, как о ф и ц е р с т в о, с т у д е н ч е с т в о, — очевидно в угоду общеполитической тенденции избегать чего-либо напоминающего о корпоративности.

...этот трамвай, который сейчас выйдет из депа...[15] (Ильф и Петров, 12 стульев, 100).

Особенно показательно в этом отношении слово «бюро»:

Стой! Я был твоим знакомым,
Девушка из Райстатбюра!
(Безыменский, Стихи о комсомоле, 61)

...Вы меня принимали за дурака и били Промбюром... (Гладков, Цемент, 207).

А у Маяковского мы находим не только флективность падежей, но и вольное изменение рода:

Я, товарищи, из военной бюры[16].
(Маяковский, Хорошо, 116)

Во всяком случае эта тенденция к склонению иностранных слов среднего рода настолько сильна и живуча в современном русском языке, что уже упоминавшийся выше А. Ефимов вынужден был напомнить агитаторам и пропагандистам, в помощь которым предназначена его книга, что «к числу несклоняемых слов относятся п а л ь т о, б ю р о, д е п о, п е н с н э, к а ш н э, к а к а д у, г а л и ф э и др.» (стр. 116).

Обратное явление, т. е. тенденцию к несклоняемости имен существительных, правда собственных, а не нарицательных, как отечественных, так и иноязычных, отметил Ф. Гладков («О культуре речи», стр. 233):

«...с древних пор известно из элементарной грамматики, что существительные собственные согласуются в падеже со своими нарицательными. Но пишут: «в селе Смоляевка», «мост через реку Сура», «сплав леса по реке Чусовая». А по-русски надо бы писать и говорить «в селе Смоляевке», «мост через реку Суру», «сплав леса по реке Чусовой». Наши переводчики и нередко писатели и корреспонденты пишут и говорят, не согласуя в падеже иностранных мужских имен и фамилий: «встреча с Альфредом Дюваль» (т. е. с Альфредом Дювалем), «оркестр под управлением Франца Крейслер» (т. е. Франца Крейслера)...»

---

[15] Становясь флективным, это слово дало производные, проникшие и в литературный язык:

Деповцы были озабочены...
(Л. Раковский, Константин Заслонов, Москва, Детгиз, 1950, стр. 13).

Он вместе с деповскими друзьями-слесарями направлялся в армию. (Там же, 173).

[16] Любопытно отметить, что Маяковский, возможно в данном случает отразил момент, характерный для большинства говоров южно-великорусского наречия, носители которого вливаясь, особенно после Революции, в разношерстную массу столичных жителей, привносили в нее и свою речь. Дело в том, что среди упомянутых говоров русского языка отсутствует... средний род (см. Ф. Филин, Новое в лексике... стр. 152).

Еще более обобщающее замечание по данному вопросу находим в капитальном труде акад. С. Обнорского «Именное склонение в современном русском языке» вып. 1, 1927 (стр. 65): «В литературном языке, с его южно-великорусским по происхождению вокализмом, категория ср. рода в начальном процессе разрушения... Нет никакого сомнения в том, что, еслибы не известная традиция языковых форм и не норма грамматик, следов разрушения категории ср. рода в литературном языке было бы значительно более».

Во всем этом, видимо, проявляется влияние военного, штабного языка, где принято говорить и писать: «в населенном пункте Ивановка», «правее Сидоровка» и т. д.

Следует добавить, что кроме военного влияния на несклоняемость второго элемента (нарицательного) парного словосочетания, здесь сказывается общее тяготение современного русского языка к определенной, пока еще ограниченной аффективности. В парном или более сложном (тройном, четверном и т. д.) словосочетании обычно выделяется один управляемый предлогом элемент, — остальные как бы «подвешиваются» к нему в номинативной форме. Наиболее ярко этот процесс проявился в сложных числительных и их производных (см. стр. 169).

Характерной также для современного русского языка оказалась усиленная номинализация прилагательных (употребление их в функции существительных):

беспризорный (ребенок),
встречный (промфинплан),
сочувствующий (делу партии),
посевная, уборочная (кампания),
легковая, грузовая (автомашина),
огневая (позиция; ср. со старым словом «передовая») и т. д.[17].

Процесс номинализации затронул и другие, родственные именам прилагательным по своей функциональности, грамматические категории: причастия и порядковые числительные, иногда номинализирующиеся совместно:

заброшенный (лицо, «заброшенное» воздушным или иным путем в тыл врага для партизанской деятельности),
вторая (пятилетка),
третий решающий, четвертый завершающий (год пятилетки).

Часто стало встречаться составление прилагательных:

рабоче-крестьянский,
инженерно-технический,
тарифно-нормировочный,
идейно-политический

---

17 Об аналогичном явлении сращивания прилагательных с существительными, только с приобретением первыми грамматической формы вторых говорит и С. Ожегов («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 31), где среди просторечных уменьшительных и глагольных конструкций, проникающих в литературный язык, упоминается и «именное словообразование, заменяющее целые сочетания (напр. «самописка» — самопишущая ручка, «зачетка» — зачетная книжка, «зажигалка» — зажигательная бомба, «гражданка» — гражданская служба, жизнь в отличие от военной). Слова этого рода при благоприятных условиях прочно входят в состав литературной нормы (например «зенитка» — зенитное орудие)».

Со своей стороны укажем на «уплотнение» в одно слово таких лексических сочетаний, как, например, «кабинетный работник» или «служебное помещение»:

...Найдется нашему кабинетчику штатное сидячее местечко — просиживать стул в полное свое удовольствие.
(Панова, Ясный берег, 197)

Бекишев и Толя пошли в служебку и составили акт.
(Там же, 177)

— это в случае равновесия между двумя компонентами сложного прилагательного; если же один из них оказывается «служебным», то происходит полное слияние:

краснознаменный,
белогвардейский,
малолитражный и т. д.[18].

В прилагательных наблюдается некоторое «осложнение» — исчезает краткая форма, почти повсюду заменяемая полной. Так, например, если раньше можно было сказать «нож остёр» или «конь быстр», то теперь единственно возможным (кроме поэзии) будет: «нож острый», «конь быстрый». Здесь определенно происходит унификация кратких и полных (членных) прилагательных. По закону аналогии членная форма прилагательных в аттрибутивной функции перенеслась на прилагательные в функции предикативной. (Однако, во многих фразеологических оборотах, отличающихся стабильностью и традиционностью, краткая форма сохраняется и поныне: «он остер на язык», «у него хлопот полон рот» и т. д.).

Интересно отметить, что в цитированной выше книге акад. В. Виноградова «Русский язык», хотя и нет прямых указаний на исчезновение в современном русском языке имен прилагательных в краткой форме, но отдельные ссылки на это явление всё же имеются:

> «...Любопытно, что у Гоголя в публицистическом стиле краткие формы прилагательных на «-ск-» еще употребительны. В современном языке они уже совершенно невозможны». (Стр. 271).

В той же главе, но несколько выше акад. Виноградов обращается к авторитету сербского слависта проф. Кошутича, а затем и известного русского языковеда проф. А. Пешковского:

> «...Проф. Р. И. Кошутич обратил внимание на то, что в русском языке последнего времени употребление кратких форм прилагательных свойственно, главным образом, книжному языку, а в разговорной речи интеллигенции они обычно заменяются полными, даже в функции сказуемого. Например: о н — д о б р ы й чаще говорится, чем о н — д о б р; о н в е с ь к р а с н ы й гораздо лучше, чем о н в е с ь к р а с е н. Эти мысли были затем развиты и углублены проф. А. М. Пешковским: «Краткая форма в ее исключительно предикативном значении есть явление чисто литературное...» (стр. 264).

Постольку, поскольку революции обычно содействуют исчезновению книжных форм и утверждению разговорных форм, то

---

[18] О значимости развития сложных прилагательных говорит и С. Ожегов в упоминавшейся выше статье (стр. 35):

> «...широкое распространение получили сложносоединенные слова, главным образом прилагательные. Они образуют очень тесное сочетание, почти лексему, отражающую особый оттенок мысли, например: «организационно-массовый», «планово-предупредительный ремонт», «научно-исследовательский», «идейно-воспитательный», «партийно-просветительный», «инженерно-технический» и т. п.».

вполне естественным и закономерным оказывается утверждение в русском языке последнего периода монополии полных (членных) имен прилагательных.

Среди современных славистов, отметивших вытеснение кратких форм прилагательных полными, можно назвать и проф. Л. Булаховского («Курс русского литературного языка», стр. 223):

«В старых школьных грамматиках узаконялся только первый тип (неполных прилагательных в предикативной функции — Ф.); однако, второй (полный — Ф.) всё более заявляет свои права на существование в литературном языке...»

Аналогичное высказывание находим и в послевоенном учебнике, составленном преподавателями Московского университета («Современный русский язык. Морфология», стр. 141):

«...случаи невозможности образования кратких форм качественных имен прилагательных весьма многочисленны. Они свидетельствуют о том, что эта категория является малопродуктивной и ограниченной со стороны своих грамматических возможностей».

* * * * *

В склонении имен числительных можно видеть определенное упрощение. Так, например, раньше надо было из трех имеющихся числительных просклонять все: «семьюстами семьюдесятью семью», а теперь — достаточно только последнее из них: «семьсот семьдесят семью».

Это явление рассматривает и акад. В. Виноградов («Русский язык», стр. 288):

«...при наличии явных признаков самостоятельной грамматической категории современные русские имена числительные представляют довольно пеструю морфологическую картину. В грамматических формах числительных — при господстве синтетизма — наблюдаются явления аналитического строя и обозначаются своеобразные приемы агглютинации компонентов (при образовании составных именований: с тысяча двести пятидесятью бойцами)».

Несколько выше акад. Виноградов ссылается на упомянутого нами Рад. Кошутича («Граматика руског језика», II, Облици, 1914, стр. 124), отметившего явно-переходную форму — «с двумя тысячами пятьсот пятьдесят двумя солдатами», свидетельствующую о том, что в начале нашего века в сложных числительных уже отсутствовала флективность в именованиях сотен и десятков, при сохранении ее в тысячах и единицах. Теперь же мы можем наблюдать сохранение флективности только у последнего компонента сложного числительного.

Просто смелыми можно назвать некоторые образования, так сказать, «числительных-существительных» (см. выше о номинализации). Тогда как в дореволюционное время допускались подобные слова в пределах единиц (двойка, тройка и т. д.), теперь можно встретить и такое слово, как «тридцатьчетверка», т. е. танк Т-34, или «сорокопятка»:

— Танк ты мой, «тридцатьчетверочка»,
Друг-товарищ боевой.

(О. Колычев, Стихи и песни,
Сов. Писатель, Москва, 1951, 84)

Маленькие оглушительно-звонкие «сорокопятки»... Эти пушки пехота ухитрялась протащить с собой... (Смирнов, В боях за Будапешт, 73).

* * * * *

Наиболее заметным и в определенной степени существенным новшеством в современном русском языке оказалась абревиатура — очень мало распространенная раньше (надобы — надо, спаси Боже — спасибо, государь — сударь, а из более близких по времени образования — «Ропит» — Русское общество пароходства и торговли, «Юротат» — Южно-русское общество торговли аптечными товарами, «Продуголь», «земгусар», «капераНг» и несколько других).

Теперь абревиатура стала непременным элементом почти каждой фразы:

Приходят представители харьковских заводов, сотрудники окрисполкома и наробраза, сельсоветы соседних сел. (Макаренко, Педагогическая поэма, 189).

Обливаясь потом, бегал Глеб в совпроф, в окружком, в учпрофсож. (Гладков, Цемент, 95).

Обижают деревни разверсткой, много жульничества во всех этих комхозах, продкомах и совнархозах. (Либединский, Неделя, 6).

В вышеприведенных примерах (кроме слова «сельсоветы»; см. ниже о комбинированной абревиатуре) речь идет о слоговой абревиатуре, т. е. такой, где слово состоит из частей двух или более слов, обычно входящих слогами в новосоставленное слово[19].

Наряду со множеством слоговых (наробраз, селькор и т. п.) абревиатур со всё возраставшими темпами развивалась инициальная абревитаура, часто возникавшая параллельно менее сокращенной форме (ФЗУ = фабзавуч, рик = райисполком, МК = местком) или являвшаяся единственной формой сокращения (СТО, ГТО, ПВХО).

Здесь следует отметить, что в то время, как создавались параллельные равнозначащие слоговые и инициальные абревиатуры, в пределах самой инициальной абревиатуры можно наблюдать две категории:

а) инициально-фонетическая, т. е. адэкватная в своем написании и произношении (бриз, ВЭО, нэп, дзот, КИМ, рик и т. д.);

б) инициально-алфавитная, при чтении которой буквы произносятся согласно их алфавитному наименованию (ГПУ,

---

[19] Своеобразным подтипом слоговой абревиатуры является по удачному выражению Абакумова «абревиатура с эксорбированными (выщербленными) частями», как, например, э с м и н е ц (кстати, существовавший еще в языке царского флота). От себя можем добавить новообразованные н а р к о м а т и в о е н к о м а т.

НКВД, КП, НЗ, ИТР и т. д. — пишущиеся только с большой буквы).

Именно в развитии инициальных абревиатур (в частности, категории «б») лучше, чем в чем бы то ни было, наблюдается диалектика языка. Инициально-алфавитная абревиатура, по сути, произносится как слоговая (в большинстве случаев) — соответственно алфавитному наименованию ее согласных. Итак, зрительно она подобна некоему буквенному символу, отмеченному вдобавок еще правописанием с большой буквы, характерным для имен собственных, в речи же она расширяется формально в слоговую, становясь как бы полным словом. Сочетание слов, максимально сокращенное в письме в литерный символ, через свою речевую слогообразность вновь превращается в обычное имя существительное нарицательное:

Веди комбата мимо своего капэ... (Бубеннов, Белая береза, 101).

Может, добавка к этой, к эн-зе — высказал предположение Умрихин; вечером был выдан неприкосновенный запас... (Там же, 330).

— Наши автоматы... Пэпэша... Изредка, сберегая патроны, короткими очередями и одиночными постреливали пэпэша (т. е. ППШ — пистолет-пулемет Шпагина — Ф.). (Вершигора, Люди с чистой совестью, Испр. и доп. изд., 588).

Итээры завода устраивали вечеринку. (Крымов, Танкер «Дербент», 48).

Очевидно, во втором случае, автор подсознательно чувствует некоторую непривычность для языка слогового изображения этой абревиатуры и, во-первых, дает ее, разделяя компоненты дефисом, во-вторых, расшифровывает ее полностью в конце фразы.

Редки, но не исключительны случаи с превращением иностранных инициальных абревиатур в алфавитно-слоговые. Это, конечно, возможно только тогда, когда иностранные буквы способны раскрыться в алфавитном произношении данного языка средствами русской звукописи, как, например, ТВС:

Вы же сами знаете... что у меня тебеце. (Фадеев, Молодая Гвардия, 252).

В целом, в языке за инициальными абревиатурами скрываются названия центральных или широко известных стране органов, учреждений, предприятий, учебных заведений и т. п. (ЦК, ВКП(б), ОНО, ЗИС, ВЭО, КУТВ), а также союзных республик (РСФСР, УССР и т. д.).

Слоговая абревиатура обыкновенно служит для названия более рядовых органов, учреждений и пр. (ревком, нарсуд, рабфак, ликбез), а также должностей, званий и пр. (помбух, комдив, селькор). В редких случаях наблюдается скрещение слоговой и инициальной абревиатуры (райЗУ, облОНО, Губчека).

Вышеуказанные примеры скрещения являются одним из видов комбинированной абревиатуры. Но значительно более распространенную разновидность ее представляет собой сращение части одного слова (в виде слога) с целым другим словом:

А я — в женотделе, Глеб... Нюрка — в детдоме. Иди, отдыхай... Разговор у нас будет потом. Сам понимаешь: партдисциплина... (Гладков, Цемент, 8).

Некоторые смешанные (комбинированные) абревиатуры с чисто формальной точки зрения оказывались абсурдными, как, например, «Главрыба» или «Главспирт» (Главная рыба, Главный спирт), что, по сути, являлось чрезмерным сокращением словосочетаний — «Главное управление рыбной промышленности», «Главное управление спирто-водочной промышленности». Тем не менее, очевидно, наличие в этих терминах наглядных слов «рыба» и «спирт», и слога «глав», общего для подобных государственных предприятий, создало жизненность этим абревиатурам.

Однако, бывают случаи, когда в комбинированной абревиатуре полному слову предшествуют два и более слога, каждый из которых является частью сокращенного слова (сельхозартель, Главсевморпуть).

В последнее время тенденция к безудержным сокращениям стала выводиться и господствующей формой абревиатуры оказалась именно комбинированная (спецшкола, хозрасчет, соцсоревнование и множество других).

Если в русском языке последнего периода наблюдается падение темпов в развитии или скорее умножении инициальных, алфавитных и особенно слоговых абревиатур, то одновременно за некоторыми слогами-сокращениями закрепилась функция, так сказать, «многоформантности», о чем свидетельствует С. Ожегов в своей статье «Основные черты развития русского языка в советскую эпоху» (стр. 35):

«...Многие первые элементы сокращений настолько прочно вошли в словарный состав общего языка, что создали своеобразный слой лексико-морфологических элементов, утративших морфологические связи со своим источником, и служащих для образования целых серий по виду сложносокращенных слов, но в действительности не имеющих за собой реально сокращаемых сочетаний. Сюда относятся такие лексико-морфемы, как «кино», «авто», «лесо» и многое другое».

Аналогичные наблюдения проводятся и в книге «Язык газеты» под ред. Н. Кондакова (стр. 174):

«Некоторые темы входят в соединение с многими словами, поэтому их начинают воспринимать как приставки, способные присоединяться чуть ли не к любому слову: п р о ф ж и з н ь, п р о ф х р о н и к а, п р о ф и з д а т, п р о ф в з н о с ы, п р о ф ч л е н с т в о, п р о ф п р е д л о ж е н и е и т. д. Темы, часто употребляющиеся, пытаются жить даже самостоятельной жизнью: склоняются, приобретают новые суффиксы: п р о п ы (пропагандисты), з а в ы (заведующие), т о р г и (торговые организации). Это явление более распространено в устной речи, но встречается и в газетах».

Очень показательным в отношении насыщенности совет-

ского языка абревиатурами всех видов является следующий отрывок из «Поднятой целины» Шолохова (стр. 8-9):

— Ты, товарищ, поедешь сегодня же в качестве уполномоченного райкома проводить сплошную коллективизацию. Последнюю директиву крайкома читал? Как только организуем агитколонну, пришлем ее к вам. А пока езжай на базе осторожного ущемления кулачества создавать колхоз. Потом уже создадите и обобществленный семфонд на всю площадь посева в 1930 г.... В Гремячем партячейка из трех коммунистов. Секретарь ячейки и председатель сельсовета — хорошие ребята, красные партизаны в прошлом. Сейчас зайди к нашему заворгу и езжай. Я скажу, чтоб тебя отправили на риковских лошадях...

Внедрение абревиатур в советский язык было настолько глубоким, что оно затронуло даже область имен собственных, как, например, «Владлен» (Владимир Ленин) — имя, часто дававшееся советским детям в 20-х годах, и географических названий «Гопри» (Голая пристань»), ЮБК (Южный берег Крыма), ст. Минводы (Минеральные воды), иногда полушуточных:

Пошел по Примбулю (Приморскому бульвару; ср. с французским Boul'Mich' — Boulevard St. Michel в Париже — Ф). (Некрасов, В окопах Сталинграда, 230).

Л. Ржевский, описывая Москву конца тридцатых годов, замечает, что

«...юные москвичи на своем новом советско-московском наречии шопотом уговариваются о свидании вечерком «на твербуле у пампуши» (на Тверском бульваре у памятника Пушкину)...» (П о с е в, 5 июня 1949).

Абревиатура — явление, давно известное на Западе (особенно в США) и, по сути, вполне положительное и отвечающее требованиям эпохи, в советской России получило более, чем широкое распространение. Несшийся поток новых слов, характеризующих понятия и вещи, порожденные советской системой, настолько наводнял язык, что последний вынужден был прибегать к постоянным сокращениям. С одной стороны, темпы жизни, а отсюда и темпы речи требовали краткости, с другой — язык разбухал от массы новых слов. Поэтому неологизмы немилосердно сокращались, чтобы быть втиснутыми в «скороговорную» речь революционной эпохи. Они повторяли, подчас, форму уже существовавших ранее слов, что создавало иногда нелепые ассоциации. Так, например, названия многих учреждений, учебных заведений и т. д. совпадали с уже имевшимися в языке именами нарицательными:

ВИНО — Всеукраинский институт народного образования;

ГИМН — Государственный институт музыкальной науки;

ОСА — Общество современной архитектуры;

ОКО — Всероссийское объединение кинематографических обществ (в начале Революции);

НОЖ — Новое общество живописцев, возникшее в Москве в 1921 г.;

ХЛАМ — Художники, литераторы, артисты, музыканты — клуб людей искусства в Киеве, в первые годы Революции; конечно, здесь это название было нарочито-пародийным.

Институт Востоковедения Академии Наук (ИВАН), помещавшийся в здании библиотеки той же Академии (БАН) в Ленинграде, так и именовался научными работниками — «Иван в бане».

Иногда подобные сокращения, не совпадая графически с ранее существовавшими полными словами, были близки им фонетически:

МИНЯ — Московский институт новых языков;

АСНОВА — Ассоциация новой архитектуры;

ПРОКОЛЛ — Производственный композиторский коллектив (при Московской консерватории, 1925).

Недаром возник анекдот об одном задурманенном сокращениями гражданине, который, стоя у двери, тщетно пытался расшифровать надпись на ней: «ВХОД».

— ВХОД! Чорт его знает, что оно такое: Всесоюзный хозяйственный отдел движения? Временная художественная организация декораторов? Ничего не пойму...

Действительно, обалдевшему от сокращений человеку трудно было понять, что ВХОД — это... вход.

Именно кабалистичность абревиатурных форм многих советских слов дает пищу народному остроумию. Часто абревиатуры являются смысловыми зернами антисоветских анекдотов. Так, во время голода 1933 г. перед роскошными витринами «Торгсина» толпами простаивали не только голодные городские жители, не имевшие золота для покупки продуктов питания, но и истощенные крестьяне из ближних сел, зачастую умиравшие у ярко освещенных витрин. Тогда название этих магазинов стало расшифровываться не как слоговая абревиатура «Торговля с иностранцами», а как инициальная: «Товарищи, опомнитесь! Россия гибнет, Сталин истребляет народ!» Аналогичным в своей трагической сатиричности является и раскрытие абревиатур «ГПУ» — «Господи, помяни усопших!» и «НКВД» — «Не знаем, когда вернемся домой...»

«ВСНХ» в чтении справа налево расшифровывалось «Холера на советскую власть», а слева направо — «Воруй смело, нет хозяина», вместо официального «Высший совет народного хозяйства». «СССР» читалось «Смерть Сталину, спасай Россию», «ВКП(б)» расшифровывалось как «Второе крепостное право (барщина)», а «РСФСР» — «Редкое, случайное феноменальное сумасшествие России», или более ранее: «Распустили солдат фронтовиков, собрали разбойников». К раннему же периоду Революции относится и ядовитая абревиатура «присос» — приверженец советской власти.

Позже, в виде пародий на уродливые абревиатуры были созданы сокращения названий заместителя несуществующего комиссара по морским делам — «Замкомпоморде» и «исполняющего

должность (не менее мифическую) инспектора отдела труда при Московском округе путей сообщения» — «идиот при мопсе».

Часто абревиатуры являлись по ассоциации (шкраб — школьный работник; ср. с просторечным «шкрябать») или просто по звучанию (Высовнархоз) сугубо антиэстетичными, что в свое время отмечалось Лениным, считавшим, что нельзя вводить в русский язык подобные уродливые слова. Даже новатор Маяковский разделял возмущение Ленина многими сокращениями:

Например
вот это
говорится или блеется?
Синемордое,
в оранжевых усах,
Навуходоносором
библейцем —
«Коопсах».

(Юбилейное)

Константин Федин в своем «Фельетоне о языке и критике» (З в е з д а, № 9, 1929) с возмущением писал:

«...я не боюсь прослыть пуристом, если назову безобразным озорством такое, довольно распространенное в Ленинграде, сокращение: «моснарврайрабкоп». Это — клинический случай глоссолалии, сочетание бессмысленных словесных обрезков, которое вряд ли сумеет выговорить каждый сотый человек и — понять каждый тысячный».

Много лет спустя некоему Осипу Черному пришлось отметить существование еще более безобразно-громоздкой (двадцатисемибуквенной!) абревитауры:

«Существует в Москве объединение со странным, почти непроизносимым названием: «Мосгорпроизводбыткоопинсоюз». (Л и т е р а т у р н а я Г а з е т а, 26 июня 1948).

Подобное же явление отмечает и С. Бабаевский в своей книге «Кавалер Золотой Звезды», удостоенной сталинской премии 1948 г. и рисующей послевоенный период:

«...название этой конторы состоит из такого неудачного сочетания гласных и согласных звуков, что произносить его вслух очень трудно» (стр. 158).

Некий А. Черниченко в статье, помещенной в «Правде» от 24 сентября 1954 г., присоединяет свой голос к критикам тяжеловесных абревиатур в названиях различных организаций. Приведя перечень таких труднопроизносимых слов, как «Главзаготльнопром», автор возмущенно восклицает:

Язык можно сломать, если попробуешь выговорить только половину столь мудреных названий!

Но в особую ярость приводило распространение абревиатур тонкого и остроумного знатока русского языка А. Горнфельда («Новые словечки и старые слова»):

«Новые по устремлению, эти слова допотопны по конструкции; неуклюжие, неповоротливые ихтиозавры языка...

Их слишком много нахлынуло сразу, этих телеграфных адресов вместо слов; они условны, а живое слово безусловно... Они остаются в языке инородными телами — и, равнодушный к их бытию, он извергает их по мере возможности.

...В этих новых словах нет ощущения так называемой внутренней формы. Наши слова обозначают нечто потому, что нечто значат; иногда их этимология (т. е. предшествующее их значение) нам ясна, иногда темна; но мы знаем, что она есть, что слово имеет корень, из которого выросло. У ЦИК'а же нет корня... (стр. 15)... они (абревиатуры—Ф.) держатся не осмысленностью, а силой» (стр. 17).

Действительно, история доказала недолговечность этих конструкций. Однако, еще более недолговечными оказались высказывания самого А. Горнфельда, бесследно исчезнувшие в более позднем издании («Муки слова», Москва-Ленинград, 1927), причесанном и подстриженном под кремлевскую гребенку.

Со временем советская пресса стала критиковать крайности в том процессе, которому в целом сама потворствовала. Можно сказать, что сами официальные органы пришли к признанию массового и губительного для языка злоупотребления сокращениями, и старались обуздать «словотворчество» советских чинуш и всех тех, кто преступно-небрежно относится к родному языку:

«Прямым издевательством над читателями являются бессмысленные сокращения, которыми всё еще пестрят многие газеты. Вот заголовки из газеты «Батумский рабочий» — «Практика студентов на БНЗ прошла неудовлетворительно». Какой БНЗ? Где он — этот БНЗ? Что это значит? Только в одном номере газеты «Куединский льновод» (Свердловская область) мы обнаружили следующие сокращения: РКШ, пожохрана, лесозаг, СПО... Люди пишут об интересных, важных, волнующих событиях, о героизме труда. И вот живые, яркие факты нашей жизни незадачливые газетчики обволакивают унылыми, непонятными словами вроде УКС, КПЦ, ДПД, ЛПТ, замдир (это означает — заместитель директора)». (П р а в д а, 2 февраля 1938, Обзор печати).

С осени 1938 г. в почтово-телеграфных отделениях Советского Союза появились объявления, вещавшие, что «с первого сентября сего года сокращения, не употребляемые в разговорной речи и печати, не будут приниматься. Основание: приказ наркома...»

Но приказы наркома приказами, а загадочные и неудобочитаемые сокращения продолжали еще и спустя много лет наводнять даже... сами приказы советских сановников:

«Издательства районных газет получили недавно приказ начальника Главполиграфиздата... Даже человек семи пядей во лбу и с самым высшим образованием не смог бы уразуметь такие, например, слова приказа:

ВНИИППИТ, ПЭО с ВНИИППИТ'ом, ПТУ и т. д.

Давно бы пора отказаться от воспроизведения подобных «слов» на печатной бумаге. Нельзя портить ее словесной про-

дукцией пэоптувниипитовского качества. Надо и печать уважать, и русский язык, и читателя». (К р о к о д и л, № 15, 30 мая 1950).

Впоследствии тенденции к очищению языка стали развиваться всё более и более. Так, после войны в вышеупомянутом учебнике «Современный русский язык» (стр. 130) находим очень резкое высказывание об абревиатурах:

«Необходимы разумные ограничения в употреблении и образовании сложно-сокращенных слов. Лишь очень немногие из них попадают в словарный состав языка, большинство остается в пределах условной профессионально-служебной номенклатуры».

С несколько иной точки зрения об абревиатурах высказывается в своем курсе лекций по лексике Е. Галкина-Федорук (стр. 127):

«На наших глазах стареют и становятся историзмами слова, которые совсем недавно употреблялись, а теперь вышли из активного употребления:

...Нарком, Наркомпрос, Комбед... губсоюз, совдеп, батрачком... рабфак, крестком и т. д.».

После такого перечня сокращенных слов невольно возникает мысль о быстротечности советских форм.

Небезинтересно будет здесь отметить, что широкими массами абревиатуры часто не воспринимаются как символические сокращения сложных сочетаний слов. В просторечии, обычно, они совершенно утрачивают свое, так сказать, чисто внутрисловесное, аналитическое содержание (это особенно касается инициальных и алфавитных абревиатур) и ассоциируются непосредственно с самим учреждением, названным в абревиатуре. Сама же абревиатура в данном случае теряет свою условную аморфность, т. е. афлективность и, согласно тому или иному окончанию, склоняется в соответствующих падежах:

ЧК — чека:

...в Москве
чекой
конфискован...
(Маяковский, Кафе)

МТС — эмтеес:

...пришел главный механик из эмтееса...[20] (Гроссман, Годы войны, 18).

---

[20] Одним из доказательств самодовлеющего существования абревиатур в народе является их грамматическая продуктивность. Из нижеследующих цитат видно насколько сокращается речь при использовании прилагательного, произведенного от абревиатуры:

...помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал еще по эмтеэсовским делам.
(Полевой, Повесть о настоящем человеке, 120)

...Мчит меня вдаль
галопом
Досармовский
конь тонконогий.
(Юлия Друнина, Стихи, Москва Мол. Гвардия, 1952, стр. 65)

Вглядываясь в родовую функциональность инициально-алфавитных и алфавитно-слоговых абревиатур, можно установить, что в первом случае четкое соответствие букв абревиатуры начальным буквам слов, ее составляющих, сохраняет за ней ощутимость непосредственного символа соответствующего словосочетания (Чрезвычайная Комиссия), но с потерей флективности, как, например:

...он работает в ЧК (но... в чеке);

...они служат в РККА (алфавитно-слоговая форма отсутствует).

Когда же, во втором случае, алфавитная абревиатура раскрывается в алфавитно-слоговую (чека), то она как бы становится обычным словом, подверженным флективности, в согласовании с родовым окончанием (здесь «а»).

Возвращаясь к алфавитным абревиатурам неслогового типа можно установить, что при их афлективности им всё же приходится согласовываться в роде и числе с глаголами и прилагательными. Как правило, род определяется основным компонентом абревиатуры:

СВБ (Союз воинствующих безбожников) принял...

...боевые ОВ (отравляющие вещества).

Если в инициальных и алфавитных абревиатурах род обычно определяется основным компонентом, то в слоговых он всегда связывается с окончанием, а так как подобные абревиатуры заканчиваются закрытым слогом, то конечным звуком-буквой оказывается согласный — показатель мужского рода.

Это тяготение абревиатур к конструкциям мужского рода — только частное явление общей тенденции русского языка, подчеркнутой проф. В. Виноградовым («Русский язык», стр. 70):

«...Не подлежит сомнению, что грамматической базой, отправным пунктом родовых различий имен является в современном русском языке мужской род. Это выражается в том, что всякая тема или корневая морфема, оканчивающаяся на твердый согласный и указывающая на лицо, вещь, учреждение, словом на предмет, может стать без суффикса именем существительным почти исключительно мужского рода (ср., например, сокращенные слова: ширпотреб, домком, комсод, исполком, комвуз, пролеткульт, истпарт и т. д.)».

Создание слов-абревиатур стимулировалось, главным образом, двумя моментами: во-первых, темпами жизни, т. е. убыстрен-

---

вместо: ...которого лично знал еще по делам машинно-тракторной станции... или ...конь тонконогий Всесоюзного добровольного о-ва содействия Советской Армии.

Наиболее распространенным производным от абревиатур (по своей грамматической категории всегда имен существительных) является также имя существительное. Как правило, это слово обозначает члена организации или сотрудника учреждения, названия которых представлены инициальным, алфавитным или слоговым сокращением: МОПР — мопровец; ЧК, НКВД, МВД, МГБ — чекист, энкаведист, эмведист, эмгебист; Наркомпрос, комсомол, ликбез — наркомпросовец, комсомолец, ликбезник.

ной речью, во-вторых, бюрократизацией государственного аппарата, принесшей огромное количество названий, определений, стандартизованных категорий и т. п. Конечно, в области фразеологии, где преимущественно действовал уже только один фактор убыстрения, тенденция к сокращениям ощущается слабее, но и здесь мы находим ряд абревиатур-эллипсисов.

Наиболее примитивные из них это номинализованные прилагательные (см. выше!) и числительные: «Первая конная» (армия), «третий решающий» (год пятилетки). Здесь следует отметить, что подобные эллипсисы, выигрывая, так сказать, в пространстве, становясь короче, одновременно выигрывают и в силе. Номинализующееся прилагательное, т. е. теряющее определяемое им существительное, вбирает в себя значение последнего и приобретает двойную функцию прилагательного-существительного, что создает более компактную образность, фиксирующую внимание именно на эпитете. Подобное соображение можно высказать и в отношении порядковых числительных. Особенной же выразительности эллипсисы достигают при совмещении числительных с прилагательными (ср. растянутое «третий решающий год пятилетки» и краткое «третий решающий»).

Подобная броскость характерна и для фраз-лозунгов, где внутреннее содержание может быть раскрыто только при предварительном знании соответствующего политического момента:

«Кто-кого?» (Кто кого победит — капитализм социализм или наоборот? — «Весь вопрос — кто кого опередит? Успеют капиталисты раньше сорганизоваться — и тогда они коммунистов прогонят, и уж тут никаких разговоров быть не может. Нужно смотреть на эти вещи трезво — кто кого!») — (Ленин, Речь на Втором Всероссийском Съезде Политпросветов, 17 окт. 1921).

«Догнать и перегнать!» (передовые капиталистические страны, в частности США, в их экономическом развитии. — «Либо погибнуть, либо догнать передовые страны и перегнать их также и экономически»). (Ленин, Грядущая катастрофа и как с ней бороться, сентябрь 1917).

Бесчисленное множество собраний, заседаний, митингов и т. п. в Советском Союзе породило эллипсисы, употребляемые при голосовании: «Кто за?», «Кто против?».

Очень распространенными стали полуарготические выражения «на все сто» (процентов) и «Давайте не будем!» (см. главу «Блатные» элементы»).

Часто эллипсисы встречаются в вариантах прощаний. Здесь, наряду с наиболее распространенным словом «Пока!», так возмущавшим А. Горнфельда, появилось выражение «До скорого!», а также стали употребляться вырванные слова из фразы «Желаю всего хорошего!»:

«Всего!» или —

— «Желаю», — сказал Александр, трогая коня.

«Желаю», — ответил Иван, и всем было понятно, чего желают братья друг другу... (В. Иванов, Пархоменко).

С уверенностью можно заявить, что именно эллипсис стал одним из синтаксически-стилистических моментов речи комсомольско-партийного актива, носителя партийного жаргона, выделяющегося даже в пределах общего советского языка. Об этом свидетельствуют и приводимые ниже цитаты, взятые из разговоров партийцев и комсомольцев:

— Позови кого-нибудь из кадров... (т. е. из отдела кадров — Ф.). (Павленко, Счастье, 12).

— Я — сапер. Она — медсестра. Сейчас думаем о заочном... (т. е. о заочном образованнии или институте — Ф.). (Там же, 84).

— Коммунист?

— Состою. С весны. (Бубеннов, Белая береза, 56).

Особенно яркой иллюстрацией вышесказанного является заметка некоего А. Ерохина, напечатанная в журнале «Крокодил» (цит. по Нов. Русскому Слову, Нью-Йорк, 23 сент. 1950). Основываясь на высказываниях, дословно записанных на одном заседании, происходившем в гор. Горьком, автор рассказывает, что заместитель управляющего областной конторы «Заготскот» (партиец, конечно! — Ф.) неожиданно заявил:

— «Товарищ Радайкин второй год сидит на свинье!».

Оказывается, это заявление вызвало недоумение только у стенографистки, все же присутствующие нисколько не удивились, даже сам Радайкин закивал в знак согласия головой: дескать, действительно, второй год сижу на свинье.

На самом деле эти слова надо понимать так: совхозы треста, который возглавляет товарищ Радайкин, сдают государству в мясопоставки только свинину.

...На трибуне управляющий трестом Росглавмолоко тов. Живилов. Назови его кто-нибудь в беседе коровой, он несказанно обидится, подаст в суд. А тут сам официально признается:

— Я даю молоко ежедневно!

Никто его не поправляет. Всем понятно: он хотел сказать, что молоко ежедневно доставляется в город.

...А оратор дальше возмущается:

— Нельзя же меня всё время бить на молоке!

Дадим справку: никто тов. Живилова (тоже, несомненно, партийца — Ф.) не бил, тем более на молоке. Его слова означают:

— Нельзя всё время ругать меня за плохую заготовку молока».

Автор заметки, взбешенный «тарабарским языком ораторов» предлагает, наконец, призвать их к порядку и «заставить говорить по-русски, а не на каком-то жаргоне».

В отдельных случаях наблюдается совмещение эллипсиса с эвфемизмом, где недоговоренность фразы является результатом желания не только быть кратким, но и смягчить этим сокращением внутреннее содержание данного выражения, как, например:

«она ездит» (в деревню за продуктами, т. е. спекулирует);
«он сел» (в тюрьму или арестован НКВД).

* * * * *

В советском языке обогащение лексики, использующее морфологические вариации, обусловлено, главным образом, двумя факторами: во-первых, появлением новых слов, уточняющих мысль, что свойственно всем европейским языкам, и во-вторых, появлением новых слов-понятий, присущих исключительно советской системе. Здесь используется словесный материал родного языка, т. е. в совершенно новом сочетании агглютинируются старые основы, префиксы, суффиксы и флексии:

-ка (суффикс «к» в совмещении с флексией «а») — слова иногда общего, иногда совершенно конкретного характера. Показательными для них являются, с одной стороны, их фразеологическая сокращенность: непрерывка = непрерывная рабочая неделя, обезличка = система обезличенного труда, ответственности, пятилетка = пятилетний план развития народного хозяйства в целом или в частности, самописка = самопишущее перо, зачетка = зачетная книжка, текучка = текущие дела и т. д., с другой стороны, во многих подобных словах (например, трех последних) даже в советский период еще ощущается некоторая просторечность, хотя они и проникают в литературу:

...в повседневной текучке забыли о простой человечности. (Лит. Газета, 6 февр. 1954).

Особо, конечно, следует выделить слова, в которых морфема «ка» является показателем женского рода, обычно от слов, оканчивающихся в мужском роде на -ец (см. ниже) — стахановка, партийка, выдвиженка;

-ик (слова, обозначающие представителей определенных групп — профессиональной, производственной, политической): водник, речник, пищевик, массовик, автоматчик, картотетчик, заправщик; передовик, срывщик; загибщик, аллилуйщик[21];

-щин (суффикс слов обобщающего характера с отрицательным смыслом): групповщина, обывательщина, штурмовщина (иногда употребляющиеся только неофициально: стахановщина, ежовщина и т. п.);

-ец (суффикс, входящий в наиболее широкий круг слов, охватывающих всевозможные группы людей): красноармеец, орденоносец, невозвращенец, выдвиженец, вторженец и т. д.

---

21 «Наблюдается тенденция к синтетическому сжатию составных обозначений, словосочетаний (из определяющего прилагательного и определяемого существительного со значением «работник, работающий, мастер» и т. п.) в одно имя сущ. (с основой относительного имени прилагательного и суффиксом *-ик* или каким-нибудь его вариантом), например: плановик (работающий в области планирования, как бы «плановый работник»); пищевик (работник пищевой промышленности); вечерник (студент вечернего факультета) и т. п.» (Цит. по «Современный русский язык», стр. 55).

К последней категории следует отнести и бесчисленное множество слов — производных от имен собственных, наблюдавшихся в языке и до Революции, но в несравненно более тематически-ограниченном масштабе, а именно — идейном (вольтерьянец, петрашевец, толстовец и т. п.). Теперь этот суффикс охватил самые разнообразные области жизни: военную, производственную, научную и т. д.:

корниловец, буденовец; изотовец, бусыгинец; мичуринец, челюскинец.

Исключительно широкое распространение получил и суффикс иностранного происхождения -ист, не просто перенесенный в составе иностранных слов, как это было в дореволюционном языке: монархист, эссеист, гедонист, марксист, а очень продуктивный на самой русской почве: троцкист, чекист, связист, очеркист, значкист и т. д.

Вообще наряду с типично русскими суффиксами, оказавшимися очень продуктивными после Революции, мы часто наблюдаем и компоненты иностранного происхождения. Очевидно, партийный жаргон принесенный большевиками из эмиграции, привел к соединению русских основ с западно-европейскими:

-изация — советизация, яровизация;

-изм — большевизм, троцкизм, бытовизм;

-лог, -логия — болтолог, треполог, болтология, трепология.

Говоря об иностранных суффиксах, следует отдельно остановиться и на форманте «-аж». И раньше этот суффикс встречался в словах французского происхождения (ажиотаж, абордаж и т. д.), но теперь он является признаком некоего собирательного понятия:

инструктаж (общее инструктирование);

фактаж (фактическая сторона чего-либо);

типаж (совокупность типичных черт);

листаж (число листов в книге; число выпускаемых издательством печатных листов).

Такого же порядка слова «метраж», «литраж», «кубаж», сосуществующее с более распространенным в языке словом «кубатура». Наиболее старое из слов подобного типа — «монтаж» отображает процесс собирания, тогда как производные от него — «фотомонтаж» и «литмонтаж» — показывают результаты такого собирательного действия.

Акад. С. Обнорский указывает на «...уже вышедшее из употребления и шутливое «подхалимаж». Здесь можно оспаривать маститого академика, т. к. это слово, о котором задолго до него писал К. Федин, во-первых не всегда имеет шутливый характер, а во-вторых, оно не могло выйти из употребления, ибо само явление всё еще очень распространено в Советском Союзе. Так, на-

пример, у Николая Грибачева в его «Стихотворениях и поэмах» (Гос. изд-во худож. лит-ры, 1951), на стр. 235 читаем:

— ласкою взять не думай,
не выйдет подхалимаж!

В газете «Советская Латвия», в номере от 10 февраля 1952 г., помещен фельетон под заглавием «В пылу подхалимажа», а в книге Л. Ленча «Дорогие гости», вышедшей в Москве в 1954 г., на стр. 164 мы также встречаем это слово:

— Правильно! — поддержал колхозника сержант. — На почве подхалимажа вы оскандалились, уважаемый, — факт!

Кроме неологизмов-имен существительных в русском языке появилось много неологизмов-глаголов, формально являющихся агглютинациями префиксов[22] и глаголов (подчас, с уже имеющимися префиксами), как, например:

за-снять, за-фильмовать, за-товаривать, за-бросить (людей, товары);
за-явиться, за-иметь, за-делаться (последние три — крайне распространенные вульгаризмы);
о-культурить, о-товарить;
про-работать, про-вернуть;
пере-осмыслить:

Вот бы где вас заснять, товарищ майор, и послать в «Огонек». (Эренбург, Буря, 712).

Могут товарищи наши к тебе заявиться... (Лидин, Изгнание, 98).

К тому времени, когда ты заделаешься агрономом, Цимбал тут всё окультурит. (Павленко, Счастье, 372).

Знал, что существует слово «отоваривать» (оно его очень смешило)... (Некрасов, В родном городе).

Я ж его, помните, как проработал на собрании. (Павленко, Счастье, 95).

В уже упоминавшемся выше «Фельетоне о языке и критике» К. Федин подчеркивает, что:

«Едва ли не самым модным послереволюционным словечком является приставка «за». Ей повезло не по заслугам.

Ни один уважающий себя репортер не напишет, что де «на Смоленском кладбище вскоре совсем перестанут хоронить». Нет. В газете будет значиться: «совсем прекратят захоронения». Или, что «на Волковом захоронено столько-то человек»[23].

---

[22] Попутно можно упомянуть об упрощенных агглютинациях глагольных основ иностранного происхождения, а именно глаголах с выщербленными суффиксами: систем*атизир*овать — систем*атиз*овать, бомб*ардир*овать — бомбить, с производными «разбомбить», «отбомбиться» (ср. также «бомбардировка» — «бомбежка»). Слово, как известно, из области артиллерии перекочевало в область авиации. Подобная дифференциация в значении наблюдалась и в дореволюционном языке, но оставалась, преимущественно, в пределах профессионального употребления, что можно наблюдать, например, в глаголах «формировать», с его широкой полисемией и «формовать» в узком техническом значении (отсюда же обозначение профессии: «формовщик»).

[23] Действительно, это нелепое слово настолько прочно привилось, что и двадцать лет спустя мы находим его на страницах «Изве-

Дальше. На ярмарку или в город, на базар или на склады у нас давно уже не привозят товара. Товар нынче «завозится», не иначе. «На Нижегородскую ярмарку завезена новая партия мануфактуры». «В Москву налаживается завоз крупы».

Кино всегда и во всем задает тон, и — конечно — «участники конференции будут засняты для кинофильма...»

...А кто в наше время не «заслушал» какого-нибудь доклада? Кто не «зачитал» протокола?

И вот уже взволнованы инженеры, и один из них вещает с кафедры: «если не оправдается запроектированное предложение...»

И тогда выступает на широкую арену писательство и остатками своего авторитета санкционирует грамматический бред. М. Чумандрин на одном заседании так прямо и сказал: «если не ясно, то я сейчас это замотивирую...»

Чиновничье, приказное выражение «заслушать» вошло, повидимому, в плоть и кровь, и его не оспаривают самые щепетильные языковеды. Но ведь даже писатели на собраниях «зачитывают свои рассказы», хотя до сих пор можно было... зачитать, скажем, чью-нибудь книгу, или кого-нибудь до смерти[24].

Новшества? Словотворчество? По-моему, это не так. На примере безобидной приставки «за» хорошо видно, как мало изобретательности проявляется в словесных новообразованиях и как упрямо шаблонная речь вытесняет собою многообразие оттенков нашего языка».

Годы показали, что несмотря на резкие выпады К. Федина и некоторых языковедов-пуристов против агглютинаций глаголов и предлогов, становящихся префиксами, эта агглютинация оказалась чрезвычайно прочной. Нельзя не отметить, что возникшие таким образом новые глаголы типа «зачитать», «заслушать» и т. д. приобрели одновременно с совершенностью вида и соответствующую ему некоторую временную суженность, а таким образом и определенную, если можно так выразиться, темповую четкость и собранность[25].

стий» от 7 янв. 1945 г.: — Вам бракосочетаться? Разводиться? Захоронять? — деловито спросила регистраторша... (Бр. Тур, Любовь и тара).

[24] В дополнение к высказываниям К. Федина можно привести пример с новым осмыслением слова «заслать», ранее употреблявшегося: 1) в отношении людей — заслать сватов, шпиона в стан врага и т. д.; послать в глушь; 2) в отношении предметов, посланных по неправильному адресу.

Теперь-же это слово стало синонимом «послать», «направить» и в положительном смысле: — Руководители Шумерлинского деревообделочного комбината (Чувашия), заслали недавно в Москву 14 вагонов мебели... (П р а в д а, 24 авг. 1950).

[25] Очень осторожно делается ссылка на современное употребление приставки «за» авторами сравнительно недавно появившейся академической «Грамматики русского языка» (1952), причем первыми в ряду примеров даются имевшиеся уже до Революции слова:

«...7. Закрепление действия, напр.; з а р и с о в а т ь, з а с н я т ь. Тип живой и продуктивный, получивший распространение преимущественно в последнее время.

В большинстве случаев борьба пуристов с победно утверждающимися закономерными новыми формами является нежеланием итти в ногу с эпохой, но иногда призывы к удержанию старых и изгнанию новых форм бывают вполне оправданными тем, что новая форма осуждается как неприсущая системе языка в целом, в то время, как старая справедливо называется закономерной.

Так, Е. Истрина, в своей небольшой книжке «Нормы русского литературного языка и культура речи» (стр. 21-22) указывает на пример «модного» в 20-х годах глагола «использóвывать», появившегося, как образование несовершенного вида при глаголе «испóльзовать». Порочность этого образования заключается в том, что оно игнорирует такой важный орфоэпический момент, как ударение. Закономерность перфективно-неперфективных пар, как р а з р и с о в а́ т ь — р а з р и с о́ в ы в а т ь, о б р а з о в а́ т ь — о б р а з о́ в ы в а т ь и т. п. создается общим для них всех моментом: ударением на флексии -а-, в то время как «испóльзовать» имеет ударение на корне. Но далее Е. Истрина, очевидно с удовлетворением, замечает, что «употребление его (глагола «использóвывать» — Ф.) быстро пошло на убыль уже с начала тридцатых годов».

В одном ряду с доосмыслением префикса «за», вызвавшем возражения со стороны К. Федина, находится и не менее распространенная приставка «от», к аблятивному значению которой прибавилось значение перфективного, законченного действия. Так, например, если раньше глагол «отрыть» был просто синонимичен глаголу «откопать» (клад, или, скажем, человека, засыпанного в шахте, в горах от обвала и т. д.), то теперь он чаще ассоциируется с глаголом «выкопать»:

Они шли... мимо только что отрытых позиций артиллерии... (Казакевич, Весна на Одере, 111).

Приставка «от» подчеркивает законченность действия и в следующих, новых глаголах:

Когда самолеты отбомбились... капитан сказал... (Там же, 270).

Поняв, что он уже отвоевался окончательно... он охотно сообщил всё, что знал. (Там же, 325).

Большое внимание уделяет модификации глаголов и их производным Л. Боровой (К р а с н а я Н о в ь, № 1, 1940):

«В современной разговорной речи укрепились возвратные формы от глаголов, которые раньше возвратных форм не имели:

Собрание отменилось...
Я уже отметился...

И наоборот, некоторые глаголы, которые требуют возвратной формы, стали применяться в безличной, непереходной форме или образовали свои существительные такого же рода:

«...8. Дополнительное значение «заранее», «на будущее время», напр.: з а г о т о в л я т ь, з а к у п и т ь, з а п р о д а т ь, з а п л а н и р о в а т ь. Тип живой, широко распространенный в настоящее время» (стр. 584).

срабатывание,
отталкивание,
срастание,
зазнайство,
обуржуазивание,
запарка (от запариться),
внедрение (не только от «внедрять»,
но и от «внедряться»).

Некоторые переходные глаголы образовали существительные, в которых переходность утрачена:

попадаемость (от: попадать во что-нибудь);
успеваемость (от: успевать в чем-нибудь)...

Наоборот, в народной речи иногда отпадает «возвратность» у чрезвычайно важного глагола — «трудиться»:

трудящий — вместо «трудящийся». («Новые слова»).

Через десятилетие о подобном же явлении упомянул и А. Ефимов («Язык пропагандиста», стр. 110):

«Типичной грамматической ошибкой является... неверное употребление возвратных причастий:

«Пришлось собрать и проверить все имеющие в наличности семена» (вместо «имеющиеся»), «трудящие массы» (вместо «трудящиеся»)...»

Что касается семантически близкого глагола «работать», то в производственном языке, имеющем теперь сильное влияние на нормативный литературный язык, находим необычную раньше для него переходность:

Военную продукцию уже не работали. (Панова, Кружилиха, 223).

Прибавим, что слова, отображающие процесс, действие, но облеченные в форму существительного («достижение», «оснащение», «установка») дополнились в советском языке и вторичными понятиями. Параллельно фразам:

...достижение вершины этой горы оказалось невозможным...

...оснащение кораблей проходило медленно...

...установка машин требовала больших затрат...

стали возможными и крайне распространенными фразы вроде:

«Наши достижения» (название журнала, выставки и пр.);

...современная армия должна иметь и современное оснащение...

...это — дорогостоющая заграничная установка...

а также в переносном смысле:

...целевая (идейная) установка...

* * * * *

Переходя к характеристике незначительных синтаксических изменений в русском языке, не следует забывать, что синтаксис наименее гибок; являясь как бы внутренним стержнем языка, он особенно противостоит внешним влияниям. С. Карцевский в своей книге «Язык, война и революция» правильно замечал, что

Октябрьская революция создала революционный словарь, а не революцию в языке, которая изменила бы все лексические, морфологические и синтаксические нормы.

Даже И. Сталин, выступивший в пресловутой дискуссии о советском языкознании, вынужден был констатировать, что «...русский язык остался в основном таким же, каким он был до Октябрьского переворота...» Далее он признает, что «...изменился в известной мере словарный состав...», но несколькими строками ниже заявляет — «...для чего это нужно, чтобы после каждого переворота существующая структура языка, его грамматический строй и основной словарный фонд (т. е. общераспространенные основы — Ф.) уничтожались... Какая польза для революции от такого переворота в языке?» (П р а в д а, 20 июня 1950).

Таким образом, И. Сталин не только признал отсутствие в русском языке революционного периода коренных изменений, но и подчеркнул нежелательность их. Этим была окончательно опровергнута установка «развенчанного» акад. Н. Марра, утверждавшего, что:

> «...человечество, идя к единству хозяйства и внеклассовой общественности, не может не принять искусственных мер, научно-проработанных, к ускорению этого мирового процесса». (Н. Марр, Избранные работы, II, 371).

После «исторических» высказываний И. Сталина о марксистском языкознании, перед советскими лингвистами возникла нелегкая задача исследовать русский язык в таком аспекте, чтобы период его развития, падающий на годы Революции, не выделялся каким-то особым своеобразием, но одновременно и свидетельствовал об определенных сдвигах. Именно наличие таких «сдвигов», а не коренную ломку (марровская концепция) констатирует в русском языке последних трех десятилетий С. Ожегов («Об основных чертах развития русского языка в советскую эпоху», стр. 33):

> «Наметились не столько новые стилистические группировки, сколько новое распределение лексических средств внутри этих группировок... В общенародный обиход влились массы слов и выражений, почитавшихся специфической принадлежностью книжно-интеллигентского словоупотребления, а многие из них отошли в пассивный запас, в разряд устарелых... Многие слова, носившие отпечаток просторечия или почитавшиеся местными, областными, пополнили состав стилистически нейтральной лексики и т. д.».

Рассматривая некоторые смещения в синтаксисе, всё же сопутствовавшие Революции, необходимо учесть, что, главным образом, они связаны с той тенденцией языка, которую можно определить как его бюрократизацию. Это явление сказалось в синтаксисе в усложнении и отяжелении предложения. Глаголы стали расщепляться на имя существительное того же смыслового ряда и как бы управляющий им глагол:

сделать попытку вместо попытаться,
вести борьбу „ бороться,

найти отражение „ отразиться,
вызвать снижение „ снизить и т. д.

Иногда фраза усложняется введением якобы усиливающих, а, по сути, только отяжеляющих ее слов: по линии, в целях, в отношении вместо простого употребления по, в, относительно или даже о[26], а также «в деле борьбы», «в вопросе защиты», «в моменте реорганизации» и т. п.

К конструкциям с «расщепленными» глаголами, предлогами и существительными непосредственно примыкают и широко распространенные плеоназмы:

целиком и полностью,
в общем и целом,
на сегодняшний день и т. д.

Конечно, тенденция к отяжеленной речи является не всеобщей, она вводится в язык, особенно через доклады, многочисленными советскими и партийными бюрократами, использующими эту речь обычно для затемнения содержания:

«В некоторых учреждениях повелось считать, что существуют как бы два языка — обычный, разговорный, и особый, канцелярский, которым только и можно излагать решения и постановления. Сказать «комбинат выпускает никуда негодную обувь» можно. Но избави Бог так написать в решении. Под рукой канцелярского деятеля эта простая и ясная мысль превращается в нечто подобное следующему: «с точки зрения носки обувь не соответствует установленным кондициям и регламентированному стандарту, преподанному ОТК». (В. Сафонов, Кукла Ирочка. Известия, 10 окт. 1945).

Наряду с отяжеленными синтагмами (в том числе и плеоназмами) в русском языке советского периода появился ряд необычно осмысляемых слов. Здесь можно встретить и неоправданную возвратность глагола, и смысловые сдвиги, и переходность деепричастия в предлог (см. выше).

Г. Винокур, осмелившийся в своей, запрещенной вскоре по выходе второго издания, книге «Культура языка» утверждать, что революционная лозунговость сыграла свою роль в начале революции, теперь же, когда «форма слов перестает ощущаться как такая, не бьет по восприятию, то перестает ощущаться и смысл», также отметил и специфичность широкоупотребляемого советского слова «извиняюсь»: «Неприятно это слово оказывается потому, что свидетельствует о невежливости говорящего».

---

[26] Это явление можно рассматривать и в ином аспекте, не только как бюрократизацию языка, но и как переход русского языка от синтетизма к аналитизму, что в данном случае является процессом «опредложивания», подобного «онаречиванию», т. е. превращением флективных имен, в слиянии с предлогами, в афлективные самостоятельные синтаксические пары, по началу пишущиеся еще раздельно, потом через дефис, и, наконец, слитно.

Вскользь об этом говорит и проф. В. Виноградов в «Введении» к «Русскому языку» (стр. 37): «Аналитические формы слова, лексикализируясь, становятся словами или идиомами (ср. напр. наречия налету, наяву и т. п.; ср. предлоги по части, по линии, в отношении и т. п.)».

В свою очередь Р. Шор в статье «О порче языка» (Новый Мир, № 5, 1928) как бы расшифровывает эту невежливость:

«Если вам в трамвае говорят «извиняюсь», то это значит только, что, толкнув вас однажды, вас толкнут дважды и трижды... Слово произнесено, но смысл в него не вложен. Как же не протестовать против него?».

И действительно, если присмотреться к этому слову, то увидим, что его возвратная форма, оттолкнувшись от просительной «извините», стала обозначать парадоксальное положение, когда виновный сам себя извиняет, делая это походя, фактически не нуждаясь в извинении «пострадавшего».

К. Федин в уже упоминавшемся «Фельетоне о языке и критике» останавливается на столь частой теперь замене глагола «мочь» глаголом «суметь»:

«...Улица говорит: «сумеешь ли ты притти ко мне?» Газета пишет: «Пароход не сумел пробиться сквозь льды». Это вовсе не значит, что на пароходе сидел неумелый капитан или была низкопробная команда. Газета хочет сказать, что у парохода не было возможности пробиться сквозь льды, что он не мог этого сделать, точно так же, как уличный вопрос означает: «можешь ли ты притти ко мне?» и ничего общего с «уменьем притти» в нем нет».

Он же пересказывает и забавный разговор писательницы Ольги Форш с курортным врачем, осведомлявшемся сумеет ли его пациентка принять нужное количество ванн, на что писательница недоуменно отвечала: «Думаю, что сумею. Разве это так трудно? Вероятно же не сложнее, чем в Москве...» (подчеркнуто К. Фединым — Ф.).

Действительно, вышеуказанная замена довольно прочно утвердилась в языке. И у А. Кожевникова в его книге «Брат океана» (Сов. Писатель, 1946, стр. 123) читаем:

Когда приехала Мариша, он уже не сумел взять племянницу на-руки, говорить еще мог...

Подобную же интерпретацию глагола «суметь» находим и в следующей фразе:

Я должен был к нему заехать, но не сумел. (Л. Ленч, Дружок, Крокодил, № 21, 1948).

Кроме появления бесчисленного множества неологизмов, как суто-лексического, так и морфологического порядка (новые суффиксальные и префиксальные агглютинации), в русском языке советского периода можно наблюдать и просто словесные сдвиги, о чем убедительно высказывается С. Ожегов («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 36):

«Почти незаметным для наблюдателя путем происходит постепенное вытеснение по тем или иным обстоятельствам устаревающих слов и выражений новыми или наличными в языке дублетами (ср., например, «читка» вместо «чтение», «учеба» вместо «учение», «пошив» вместо «шитье», «зачитать» вместо

«прочитать», «снять с работы» вместо «уволить», «учтите»[27] вместо «примите во внимание». Это движение слов по их употребляемости, передвижка в пассивном и активном запасе, как правило, не регистрируется словарями, хотя эта передвижка и является существенным нервом развития языка».

Позволим себе привести еще две цитаты из упоминавшейся выше интересной и ценной статьи К. Федина:

«Наречие «непременно» почти вышло из употребления в живом языке и изгнание его безропотно принимает литература. «Я приду к вам обязательно», говорят в обиходе. «Он обязательно хотел ее увидеть» — вторит романист. Исходные свои значения (обязанности, обязательства, обязательности) форма «обязательно» утратила, ей навязан новый смысл, прекрасно и точно выраженный словом «непременно».

«...«Благодаря» употребляется вместо «вследствие», вместо «из-за», вместо «так как», нередко вместо «в результате». Недавно редакция газеты «Известия» опубликовала протест против несвоевременной доставки очень важной телеграммы. Протест заканчивается так:

«Благодаря безобразной работе телеграфа, газета лишилась необходимой информации...»

Полемизируя с уже упоминавшимся выше Михаилом Презентом, предусматривавшим в предлоге «благодаря» «...указание на какое-то благо, на какой-то положительный результат...» (стр. 84) и протестовавшим против выражений вроде «благодаря низкому уровню», В. Гофман говорит, подтверждая, таким образом, наблюдения К. Федина:

«...ставши предлогом (в то же время оставаясь и деепричастием) слово «благодаря» вступило в новую стадию своего существования, модифицировавшую значение слова: оно стало шире в известном отношении, потеряв определенную долю своей былой знаменательности и качественно изменив характер последней». («Язык литературы», стр. 66).

Но если засилие казенщины и безответственное отношение к чистоте родного языка в Советском Союзе создают благоприятную почву для распространения неуклюжих синтаксических конструкций, то живая речь и общие тенденции современного языка дают нам такие положительные моменты, как закономерное движение от тяжелого гипотаксиса к простым, но распространенным, путем введения причастных и деепричастных оборотов, предложениям.

Краткость и собранность подобных оборотов подчеркнул и

---

[27] Так, у В. Пановой (Ясный берег, 19) это слово, именно в вышеуказанном смысле, повторяется 5 раз на одной странице:

— Учел ли товарищ Коростылев то количество кирпича, которое требуется для школы?..

Нет, Коростылев не учел этого количества...

— Учли лы вы, что ваш завод наиболее мощный в районе...

Нет, Коростылев и этого не учел...

...И тогда мы придем с заказами. Учтите.

проф. Л. Булаховский («Курс русского литературного языка», стр. 288):

«Стилистическое значение деепричастных сочетаний, как способа сжато передавать смысл временных, причинных, условных и, реже, уступительных предложений, и вносить во фразу разнообразие, заменяя параллельные по смыслу типы придаточных предложений, в русском языке велико...»

Здесь, развивающемуся русскому языку приходится, конечно, преодолевать много препятствий со стороны консерваторов, стремящихся удержать его на уровне эпохи заимствования, калькирования синтаксических форм с французских образцов. Но прав В. Гофман в своей книге «Язык литературы» (стр. 67), когда говорит, что

«...если бы пуристы были всесильны, в русском языке не возникли бы наши деепричастные формы, потому что постепенная утрата склонения и согласования причастий была признаком, симптомом образования этих деепричастных форм».

Естественно, что распространение деепричастных оборотов совпадает с другим процессом — «онаречиванием», ибо он является ничем иным, как отглагольной адвербиализацией. Динамичность деепричастий и их самодовлеющая значимость привели во время войны к тому, что для броскости газетных заголовков, деепричастные обороты стали употребляться как самостоятельные фразы:

«Заменив мужчин» — Известия, 8. III. 1942.
«Не давая врагу передышки» — Правда, 4. VIII. 1943.
«Неотступно преследуя врага, дробя и расчленяя фронт» — Правда, 12. III. 1944.

Конечно, в книжной речи подобная обособленность невозможна, но в газетных условиях, при исключительных обстоятельствах, это всего-навсего своеобразный эллипсис.

Вообще, слишком ревностным пуристам следует помнить слова замечательного лингвиста О. Иесперсена:

«...Не совсем правильно, когда порой говорят (как, например, Габеленц), что любое нововведение является нарушением нормы или законов языка». (O. Jespersen, Efficiency in Linguistic Change, p. 16; перевод наш — Ф.).

Здесь уместно будет напомнить и об интенсификации другого вида онаречивания, когда слова возникают в результате слияния предлога с управляемым им именем существительным (в предложном падеже), что влечет и перемещение ударения, о чем имеется авторитетное высказывание акад. С. Обнорского («Именное склонение», стр. 316):

«Перенос ударения на предлоги (как и на префиксы), как известно, объясняется из закона, согласно которому нисходящее ударение исконно было терпимо только на начальном слоге... вследствие этого, оказавшись в соединении с предшествующими префиксами или предлогами, слова с нисходящим

ударением на начальном слоге переносили его к началу сложения: do dömu, po lûgu переходили в dödomu, pölugu».

* * * * *

Несколько выпадают из плана орфографических и грамматических изменений языка моменты, связанные с усилением полисемии слов, идущей разнообразными и часто противоречивыми путями; по сути это есть широкая метафоризация целого ряда слов. Однако, если метафоризация в литературе является случайной образностью, т. е. образ употребляется единовременно — казуально, то при полисемии образность распространяется за пределы какого-либо случайного речения или литературного произведения — полисемия утверждает постоянное, повсеместное употребление слова в новом его значении, делает его узуальным.

В отличие от морфо-лексических новообразований, в которых наблюдается эпохальное явление — массовая интенсифицированная абревиация — в области полисемии мы находим семантические изменения. Они происходят в пределах формально старых слов, когда эти слова до- или переосмысляются. В старые меха вливается новое вино.

Проф. В. Виноградов следующим образом определяет положение со смысловой нагрузкой русских слов:

«...для современного русского языка характерно увеличение смыслового объема... имени существительного и прилагательного. Т. к. литературный язык всё шире захватывает и всё сильнее притягивает к себе сферы разных профессионально-технических диалектов, всё теснее смыкается с языком науки и техники, а также с разными профессиональными говорами и бытовыми жаргонами, то, естественно, значения многих имен обогащаются, усложняются. Смысловая емкость имен существительных возрастает (ср., напр., рост значений слов: база, квалификация, линия, лицо и т. п.). («Русский язык», стр. 56).

Разновидности этого процесса, так же как и его суть, не новы, но в послереволюционный период, по сравнению с другими эпохами, такой процесс действительно протекает более интенсивно, давая иногда внутрисемантические расширения (т. е. внутри одной и той же лексемы) на очень коротких отрезках времени. В этом можно убедиться по ряду нижеследующих примеров (после тире дается новое доосмысление):

Перемещение плана

дворник — стекловытиратель автомобиля, трамвая и т. д.
сектант — политический, партийный сектант;
тяжеловес — 1) грузовой поезд, вес которого превышает нормальный; 2) неоф. заключенный концлагеря с многолетним сроком;
вредитель — народно-хозяйственный вредитель;
треугольник — партийное, административное и профсоюзное руководство в их совмещении;
ячейка — партийная, комсомольская или какого-либо добровольного общества;
техника — оснащение; чаще военное:

Техника, техника... она шла отовсюду, двигалась по снежным полям, изрыгала огонь, сметала самые сложные, самые изощренные сооружения... (Лидин, Изгнание, 168).

Затем пришли в болотистые Потиевские леса, куда не могли бы проникнуть немцы со своей техникой... А без техники они не посмели бы наступать на нас... (Вершигора, Люди с чистой совестью, 11, 29)

и, наконец, ряд глаголов, получивших особое военное осмысление, потом обогатившее синонимические ряды общего языка:

просачиваться (о жидкости) — во враждебный лагерь;
прочесывать (о волосах) — пулеметами лес, огнем с воздуха;
обтекать (о воде или воздухе) — узлы сопротивления;
перемалывать (зерно) — технику или живую силу врага.

Переход конкретного в абстрактное

а) *Использование общих слов*

ножницы — расхождение между ценами на промышленные и сельскохозяйственные товары;
выкачать (воду) — хлеб, золото у населения;
вскрыть (письмо) — сущность, идейное содержание;
пронизать (взглядом) — материал идейным содержанием;
растить (детей) — новые победы.

Особо, пожалуй, следует отметить глагол «развязать». Его эволюция от конкретного, физического понятия «развязать узел» началась, надо полагать, давно, так, например, в русскую фразеологию задолго до Революции вошло выражение «развязать руки» (имеем в виду, конечно, его переносный смысл), но только недавно, очевидно, в военный период, и возможно под влиянием украинского языка (розв'язати питання) слово «развязать» приобрело широкое распространение в разновариантном переносном смысле, но уже без идиоматической специфики. Это слово стало множиться в пределах абстрактных значений (развязать войну, ненависть и т. д.):

...они хотят... развязать третью мировую войну. П р а в д а, 14 июня 1950).

— Попытайтесь беспристрастно решить, кто развязал эту эпопею горя и ужаса... (Г. Климов, В Берлинском Кремле, П о с е в, № 29, 1949).

— Они развязывали ненависть, а родилось сочувствие. (Гроссман, Годы войны, 158),

иногда перекликаясь со старым идиоматическим понятием «развязать руки» — освободить от чего-либо:

Близость смерти развязывала былые клятвы... (Эренбург, Буря, 589).

б) *Использование технической терминологии*

смычка — города с селом, пролетариата с крестьянством;
блокироваться — с классовым врагом и т. п.;
перестройка — идеологическая;

перековка — идейно-политическая, профессиональная;
подкованный — обладающий политическими, профессиональными знаниями.

Переход частного в общее

работник (человек, занимающийся физическим трудом) — трудящийся (преимущественно интеллигентных профессий: работник просвещения, искусства и т. д.;

пятисотница (член бригады Марии Демченко, снявшей 500 центнеров свеклы с гектара) — любая колхозница, снимающая не меньший урожай;

стахановец (последователь А. Стаханова, шахтер, повышающий добычу угля путем введения новых методов организации производства) — любой рабочий или колхозник, перевыполняющий производственные нормы при помощи стахановских методов;

кадры (военные) — партийные, комсомольские, профессиональные и т. д.

Переход общего в частное

партия — ВКП(б), позже КПСС;
актив — партийный, комсомольский, профсоюзный;
чистка — партии, профсоюза, государственного аппарата;
машина — автомобиль; реже: мотоцикл или велосипед;
район, край — районный-, краевой центр:

— Поеду в край...

— А если в крае откажут? — в упор спросил Кондратьев.

— Если откажут, поеду в Москву... (Бабаевский, Кавалер Золотой Звезды, 149).

В переходе общего в частное можно предусмотреть определенный вид эллипсиса, своеобразного сокращения, о котором речь была выше. Иногда к тому же, за тем или иным словом как бы монополизируется новое значение, фактически единственно возникающее у нас в сознании при его произношении. Так, некоторые слова и до сих пор полисемантичные, т. е. сохраняющие и свое старое значение, всё же вызывают совершенно определенную, обусловленную современностью, ассоциацию, будучи взяты без поясняющего словесного окружения. Так, например, «они зарегистрировались» вызовет конкретное представление о регистрации брака в ЗАГС'е. Услышанное внезапно слово «тревога» может вызвать теперь только одно сомнение: боевая это или учебная воздушная тревога, но никто не подумает о тревоге душевной. «Буза» ни в коем случае не будет воспринята как напиток, а только как полумеждометие, обозначающее нечто недоброкачественное или просто ерунду.

* * * * *

Заканчивая краткий обзор орфографических, грамматических и лексико-семантических особенностей русского языка советского

периода, нельзя не остановиться, хотя бы вскользь, на некоторых сдвигах в области русского литературного произношения.

В подтверждение важности этого момента находим справедливое замечание у крупнейшего советского фонетиста проф. Р. Аванесова:

> «Орфоэпия является такой же необходимой стороной литературного языка в сфере устной речи, какой в сфере письменной речи является орфография». («Вопросы современного русского литературного произношения», стр. 9).

Всё же подобный экскурс, к сожалению, может быть скорее информативным, чем инструктивным. Объясняется это рядом причин, в частности тем, что фонетические сдвиги в языке, тем более на таком коротком отрезке времени, как послереволюционный период в России, мало приметны и к тому же изучаются малым количеством ученых, среди которых, вне сомнения, виднейшим является упомянутый выше проф. Р. Аванесов, но и он обычно ограничивается констатацией тех или иных фонетических явлений. Упоминая книгу последнего «Русское литературное произношение», В. Фаворин в своей статье «К вопросу о современной произносительной норме» (Известия АН СССР, Отд-ие лит. и яз., 1953, № 1, стр. 84) пишет:

> «...Он (Аванесов — Ф.) редко отдает предпочтение тому или другому варианту, опасаясь возможной «субъективности» своих суждений. В связи с этим не всегда четко разграничиваются недопустимые, случайные отклонения от норм и новые, нарождающиеся или уже упрочившиеся нормы».

Надо полагать, что отсутствие четкой нормативности у Аванесова объясняется не только тяготением к беспристрастной объективности, но и отсутствием еще полной стабилизации орфоэпии русского литературного языка, что, очевидно, проистекает из неокончившейся борьбы отдельных элементов разных диалектов, в частности московского и ленинградского говоров.

Как известно, до революции 1917 г. русское литературное произношение оформлялось под непосредственным влиянием московского говора. Московские театры, Художественный и Малый, в значительной степени способствовали тому, что язык московской интеллигенции рассматривался как общепризнанная языковая норма. Однако, полной унификации русского произношения всё же не произошло, т. к. в некоторых крупных центрах, например, в Казани и Нижнем Новгороде, не говоря уже о Петербурге, всё же создавались и прочно удерживались собственные орфоэпические навыки.

После революции резко изменился состав населения Москвы. Исчезло купечество, старая русская интеллигенция оказалась в меньшинстве. Индустриализация и строительство Москвы способствовали интенсивному притоку рабочих разных специальностей, инженерных и технических работников. Превращение же старой русской столицы в столицу Советского Союза привело к тому, что население Москвы в огромной степени состоит из партийных

чиновников, в подавляющем большинстве переведенных в Москву «с периферии». Что касается высших учебных заведений, то и там, частично в результате чисток, частично же по возрасту, представители старой русской интеллигенции вынуждены были уступить ведущее место новой советской интеллигенции — выходцам из народа, в основном пришельцам из других областей, принесших в своем языке фонетические особенности родных диалектов.

Потому и не удивительно, что театральная речь, в свое время считавшаяся образцовой (да и не только для России, — вспомним ставший интернациональным немецкий термин Bühnenaussprache), теперь оказалась законсервированной и в какой-то степени окостенелой, о чем недвусмысленно высказался Ф. Гладков, в своей журнальной статье «О культуре речи» (стр. 231):

> «Слушая иных актеров, я чувствую себя как будто в среде иностранцев, которые старательно, по-книжному, выговаривают каждое слово, но слова эти не дышат жизнью. Мало того, театры сочинили свою орфоэпию и не считаются ни с языковедами, ни с живой речью образованных людей нашего времени».

Впрочем, Гладков не лучшего мнения и о языке рядовой советской интеллигенции (там же, стр. 232):

> «...язык многих наших интеллигентов странно пестрый, подчас далекий от грамматических и орфоэпических норм, словно люди не имеют понятия о произносительных законах русского языка и пренебрегают грамматикой».

Для описания противоречивых фонетических явлений проф. Р. Аванесов находит, так сказать, примирительную терминологию, а именно устанавливает наличие в языке фонетической (веками не меняющейся)[28] и произносительной (традиционной) систем. Произносительные системы, по Аванесову, часто меняющиеся с поколениями нации являются как бы частными проявлениями единой и обобщающей фонетической системы:

> «...Так, например, имеется группа слов, в которых на месте орфографического сочетания ч н произносится ш н: к о н е / ш н / о, с к у / ш н / о, я и / ш н / и ц а, п у с т я / ш н / ы й, с к в о р е / ш н / и к, п р а ч е / ш н / а я, Н и к и т и / ш н / а, К у з ь м и н и / ш н / а и др. В ряде случаев существует двоякое произношение — с ш н и с ч н: с л и в о / ш н / ы й и с л и в о / ч н / ы й, м о л о / ш н / ы й и м о л о / ч н / ы й и др. С точки зрения фонетической системы в русском языке одинаково возможно как сочетание ш н так и сочетание ч н: ср. п ы / ш н / ы й, р о с к о / ш н / ы й, д у / ш н / ы й и з ы / ч н / ы й, т о / ч н / ы й, т у / ч н / ы й». (Р. Аванесов, Вопросы современного русского литературного произношения, стр. 8).

Далее проф. Р. Аванесов развивает идею сосуществования в языке разновариантных произношений, относя их к однооб-

[28] «...в первой трети XVII века сформировалась фонетическая система литературного языка, причем эта система во всем существенном совпадает с фонетической системой последних эпох» (Там же, стр. 16)

разному строгому (скажем, консервативному) и свободному (скажем, компромиссно-прогрессивному) стилям:

«...Свободный стиль в равной мере допускает произношение т и́ / х ъ / й и т и́ / х' и / й, м о́ ю / с / и м о́ ю / с' /, с т р о́ / і у т / и с т р о́ / і ъ т /... и т. д.» (Там же, стр. 14)

и далее:

«...особенно широко распространяется произношение форм им. п. ед. ч. муж. рода прилагательных с мягким *к, г, х* / ш и р о́ / к' и / й, с т р о́ / г' и / й, т и́ / х' и / й.../...» (Там же, стр. 21).

При наблюдении примеров, свидетельствующих о вытеснении в литературном произношении сочетаний - ш н - = - ч н -, -о й = - и й -, твердого «*с*» (в возвратных глаголах) мягким «*съ*», а также глухого «*ъ*» выразительным «*а*» (ш ъ р ы = ш а р ы, ж ъ р а = ж а р а), напрашивается вывод, что московские фонетические стандарты вытесняются общеязыковыми, тяготеющими к ленинградскому произношению. Примечательно, что этим восстанавливается соответствие написания букв их звучанию, предначертанное еще академиком Гротом в конце прошлого века.

Трудно, конечно, с безошибочностью установить, что оказалось решающим в утверждении «орфографичных» форм[29]: закономерность ли общефонетического развития или влияние унифицирующей роли орфографии, имея под ней в виду повсеместное распространение грамотности, включающей элементарные правила правописания.

Но не следует забывать и других современных нормализующих средств языка, учитывая, что «...особенное значение в этом отношении имеет развитие радиовещания, которое делает устную речь средством в известном смысле даже более широкого общения, чем письмо». (Там же, стр. 10).

IX. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После представления посильно собранного материала, характеризующего русский язык советского периода, хочется обобщить проблематику советского языка в двойном аспекте: и как языка, несущего на себе отпечаток советской системы, и как языка, являющегося детищем нашего века. Эта проблематика связана с общими лингвистическими моментами, а также распадается на два основных комплекса: 1) взаимоотношение русского языка совет-

---

[29] Подобное явление отмечено и одним из крупнейших современных руссистов-диалектологов, проф. Ф. Филиным, одно время бывшим директором Института русского языка при Академии наук СССР:

«Отмечается тенденция к сближению норм произношения с орфографией, вытеснение старого «московского произношения», в связи с тем, что носителями литературного произношения становятся широкие массы населения, в овладении которыми литературным языком огромную роль играет печатное слово».

(«Наука о русском языке за тридцать лет», И з в е с т и я А Н С С С Р, Отделение литературы и языка, т. VI, 1947, стр. 412).

ского периода и отображаемой им жизни; 2) качественное своеобразие русского языка советского периода.

Язык, конечно, не является материальной или, скажем, зеркальной копией действительности. Как бы ни был богат язык и точен в своем отображении этой действительности, последняя богаче его и потому, что некоторые нюансы мысли, чувств и понятий не находят своих адэкватов в языке, и потому, что язык сам по себе является только частью действительности.

Нельзя также воспринимать язык, как самодовлеющий организм, имеющий только свои собственные законы развития (например, фонетические законы). К тому же часто «законы развития» переносятся в язык из тех областей науки, которые являются ведущими в данный период. Так, прошлое столетие, прошедшее под знаком дарвинизма, породило и лингвистическую эволюционную школу Шлейхера, сконструировавшего свое языковое древо, растущее из праязыка[1].

Подходя конкретно к русскому языку советского периода, следует помнить, что он является одновременно и человеческим языком вообще, и национальным, т. е. именно русским, и, наконец, в какой-то мере советским. Принадлежа к системе передовых языков современности, он имеет много тенденций, общих с другими языками западной культуры, будучи же национальным, русским языком, он сохраняет определенную традиционность и консервативность, присущие национальным языкам вообще. Являясь же русским языком советского периода он в ы н у ж д е н отображать изменения уклада жизни страны в его насильственно навязанных формах, одновременно фиксируя в своей неофициальной, но общенародной семантике подлинное отношение русского народа к советской действительности.

В своей интересной, уже упоминавшейся нами работе «Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache» (стр. 5) шведская лингвистка А. Бэклунд, отмечая исчезновение множества слов, свойственных русскому языку дореволюционного периода, укоризненно замечает:

> «...Но еще большим является количество совершенно новых слов, остающихся, как я неоднократно могла отметить, вовсе неизвестными или просто непонятными консервативным русским эмигрантам...» (перевод наш — Ф.).

Рассказывая о встрече с американским офицером русского

---

[1] Образное отображение этой теории в конкретном применении к русскому языку находим у Р. Березова в его статье «О курьезах и капризах языка в Советском Союзе», помещенной в «Новом Русском Слове», от 3 июля 1949 года:

> «Язык — не мертвая материя, а живой организм. Как вам известно, этот организм чаще всего сравнивается с деревом. Дерево всё время растет, становится всё ветвистее и густолиственнее: при Ломоносове — одно, при Пушкине — другое, при Достоевском — третье, при Чехове — четвертое, в наши дни — пятое. Как на всяком дереве, так и на языковом стволе, вырастают часто корявые ветви, а на некоторых листочках появляются черви, и эти листья свертываются, желтеют, принимают уродливую форму и преждевременно опадают с дерева. На дереве русского языка появилось много странных листьев».

происхождения, Г. Климов в своей книге «В Берлинском Кремле», выдержки из которой печатались в еженедельнике «Посев», 1949-50 гг., замечает:

«Меня удивляет, что американец говорит по-русски лучше, если так можно выразиться, чем мы сами. Видимо, он покинул Россию тридцать лет назад и его речь осталась абсолютно без изменений — такой, как говорили раньше в России. Наш же язык изменялся вместе с ломкой жизненного и социального укладов в советской России. Он засорен жаргоном и пересыпан неологизмами. Американец говорит заспиртованным языком мертвой России». (П о с е в, № 37, 1949).

Искажение языка в период Революции иногда отмечалось и в советской прессе. Так, в «Известиях» от 19 дек. 1923 г. некий Ю. Яснопольский в статье «Борьба за язык» достаточно резко высказывался по этому поводу:

«Русский язык жестоко пострадал за время Революции. Ничто не подверглось у нас такому беспощадному исковерканью, как язык».

Ровно через тридцать лет Ф. Гладков в уже цитированной статье «О культуре речи» отмечал в более спокойном тоне:

«Живая речь русского советского человека стала несколько иной, чем до Октябрьской революции, и своеобразной в стиле...»

Учитывая всю односторонность взгляда на язык, как на животный организм, следует отметить, что подобно последнему, он стремится к избавлению себя от паразитарных элементов. Это в огромной мере касается и тех «блатных» элементов, которые уже частично изживаются в пределах самой советской системы и тех собственно-советизмов, которые будут изжиты только с уничтожением режима, их породившего.

Признавая сложность взаимоотношений русского языка советского периода и самой советской действительности, учитывая перекрещение путей развития его и Революции, мы подходим ко второму вопросу: является ли русский язык при советах качественно-отличным от русского языка других исторических периодов, или его особенность заключается только в повышенном количественном обогащении неологизмами и потере некоторых семантических групп?

Конечно, интенсифицированное словотворчество в русском языке советского периода и быстрое отмирание (с довольно частыми теперь воскрешениями — «солдат», «генерал», «погон») многих, ставших ненужными, слов, могут рассматриваться как результат внешнего влияния Революции, как нечто наносное, не органичное для языка. Появление новых понятий и уход старых изменили как будто внешний — лексический облик языка. То, что характерно только для революционной эпохи или что оказывается уродливым языковым оформлением уродливых жизненных явлений, должно исчезнуть вместе с самими явлениями.

Но если бесчисленные и часто безобразные советские абре-

виатуры и обречены на исчезновение, то это отнюдь не значит, что ходом истории будет приговорена к смерти и сама категория абревиатур, ведь они являются достоянием не только русской Революции, а и нашей эпохи в целом. Это языковые молекулы современности. И отдельные абревиатуры в русском дореволюционном языке («РОПИТ», «ЮРОТАТ» и др.), и многочисленные абревиатуры в передовых современных языках — английском, французском, немецком — свидетельствуют о закономерности абревиации, как соответствующей современному образу мышления, строющемуся, согласно удачному определению Маха, на принципах экономии. Характерно, что издеваясь над потоком абревиатур, хлынувших в современный немецкий язык, некий М. Л. поместил в Die Neue Zeitung, München, от 15 февр. 1950 г., заметку под названием: «Despra — die neue deutsche Stiefmuttersprache». Приведя разговор со знакомым, автор, оглушенный изобилием в его речи абревиатур, особенно инициальных, горько сетует:

«Anscheinend beherrscht er nicht mehr die deutsche Sprache, sondern nur noch eine Schrumpfform davon, die Despra»[2].

Темпы жизни создают краткую, конденсированную речь, пытающуюся минимумом формальных средств передать максимум содержания. На новой ступени здесь повторяется синкретизм первобытной речи, вмещавшей в отдельных словах целые предложения.

Проявляя незаурядную наблюдательность, Джордж Орвелл, уже упоминавшийся выше знаменитый английский сатирик, отмечал в цитированном романе «1984» моменты, присущие советскому языку:

«...Даже в первые десятилетия двадцатого века спрессованные слова и фразы были одной из характерных черт политического языка; было замечено, что тенденция к употреблению сокращений такого рода наиболее ярко проявилась в тоталитарных странах. Примерами могут служить такие слова, как наци, гестапо, Коминтерн, инпрескор, агитпроп... Было отмечено, что такое сокращение наименования суживало и слегка изменяло его значение, исключая большинство ассоциаций, которые в противном случае, были бы связаны с ним. Например, слова К о м м у н и с т и ч е с к и й И н т е р н а ц и о н а л вызывают сложную картину всеобщего человеческого братства, красных флагов, баррикад, Карла Маркса и Парижской Коммуны. Слово К о м и н т е р н с другой стороны говорит лишь о тесно спаянной организации и о твердо установленной доктрине. Оно относится к чему-то, так же легко распознаваемому и так же ограниченному в своем назначении, как стул или стол. К о м и н т е р н — это слово, которое можно произнести, почти не думая, тогда как К о м м у н и с т и ч е с к и й И н т е р н а ц и о н а л представляет собой фразу, над кото-

[2] Очевидно, он не владеет больше немецким языком, а только его «куцой» формой — «немязом» (перевод наш — Ф.).

рой необходимо задержаться хотя бы на один момент». (Перевод наш — Ф., стр. 310).

Действительно, часто абревиатура не воспринимается аналитически, в ее отдельных компонентах, и прав проф. Л. Щерба, заявляя, что:

«...никто не раскрывает себе колхоз как коллективное хозяйство, а скорее коллективное хозяйство приходится раскрывать как колхоз». («Литературный язык и пути его развития», стр. 52).

Если характернейшей внешней особенностью современного языка является его абревиатурность, т. е. морфологически-новое оформление лексики, при котором более краткие слова несут в себе более сложное содержание, то подобный возврат к конденсации речи наблюдается и в душе языка — его строении, синтаксисе. Громоздкий гипотаксис с его многоэтажными придаточными предложениями всё больше и больше вытесняется простыми распространенными предложениями, где причастные и деепричастные обороты, не обедняя содержания предложения, детализируют основную мысль, сохраняя органическую связь общего и частного.

Отталкиваясь от, так сказать, общеэпохальных явлений в русском языке, следует несколько подробнее остановиться на его современной советской специфике, находящейся в постоянном противоречии с его национальной природой. Употребляя советскую фразеологию, мы можем сказать, что, развязав величайшую в мире революцию, русский народ развязал и свой язык. В этой буйной стихии освободились многие речевые силы. Революция разрушила средостение между языком элиты и низов, что, казалось бы, совпало со стремлениями лучших представителей русской литературы от Пушкина до Лескова, боровшихся за народность языка. Но при советах эта народность часто подменялась, да и до сих пор подменяется, нарочитой вульгаризацией, санкционированной сверху. Культивирование, особенно в первые годы Революции, вульгарного и даже «блатного» лексикона привело к сильному засорению языка. В то время как в «Тихом Доне» М. Шолохова или сельской лирике С. Есенина мы находим добротность народной речи, в поэзии Демьяна Бедного или А. Безыменского наблюдается использование худших элементов просторечия — вульгаризмов, а подчас и блатных словечек из лексики преступного мира.

Признавая, что «...небрежное, невнимательное отношение к языку, недостаточная работа над словом, неумение использовать огромную изобретательную силу слова, излишнее употребление жаргонных словечек, неумелое использование местных диалектов, необоснованное нарушение грамматического строя языка всё еще имеют место в нашей работе» (А. Чивилихин, «О языке литературных произведений», З в е з д а, № 11, 1950, стр. 166), советы с течением времени стали бить отбой как в отношении злоупотребления абревиатурами, так и в отношении засорения языка вульгаризмами, арготизмами и диалектизмами.

Еще в прошлом столетии Поль Лафарг отмечал особенность языкового развития в послереволюционные периоды:

«...после революции наступила реакция, когда шлифованный язык попытался восстановить свой авторитет среди правящих классов и вытолкнуть неологизмы, ворвавшиеся в него». (La langue française avant et après la Révolution, p. 42, перевод наш — Ф.).

В области нормирования языка так же как и в других областях, большевики руководятся отнюдь не какими-либо принципами эстетики или общеполезности, а только политическим моментом. Подобная языковая политика довольно откровенно раскрыта в нашумевшем в свое время письме Максима Горького А. Серафимовичу (цит. по сборнику М. Горького «О литературе», стр. 136-37):

«...в области словесного творчества языковая — лексическая — малограмотность всегда является признаком низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической, пора, наконец, понять это!

Ни один из наших критиков не указал литераторам, что язык, которым они пишут, или трудно доступен или совершенно невозможен для перевода на иностранные языки.

А ведь пролетариат Союза Советов завоевал и утверждает п р а в о с в о е б о л ь ш е в и з и р о в а т ь м и р[3] (подчеркивание наше — Ф.) и литература пролетариата-диктатора должна бы — пора уже — понять свое место, свое назначение в этом великом деле...

Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка...»

В то время, как М. Горький, говоря о необходимости следить за чистотой языка, имеет в виду распространение большевизма за рубежами СССР, уже упоминавшийся нами выше А. Чивилихин столь же откровенно говорит о необходимости «чистки» языка как одного из орудий влияния большевистской партии внутри Советского Союза:

«Борьба за чистоту, выразительность, изобразительную силу, красочность и богатство языка наших произведений и тем самым участие в дальнейшем совершенствовании языка — вот задача писателей, непосредственно связанная с трудами товарища Сталина о языке. Конечно, следует помнить, что совершенный язык нужен нам не вообще, а для наиболее достойного воплощения в своих произведениях образов советских людей, для наиболее совершенного выражения наших идей» (стр. 169).

---

[3] В своей книге «О языке пропагандиста» (Москва, 1951), А. Ефимов также подчеркивает, что «общественно-политическое значение его (русского языка — Ф.) поистине огромно. В русском языке не только наиболее полно отразилось социалистическое содержание советской культуры, — он является ж и в ы м и д е й с т в е н н ы м с р е д с т в о м р а с п р о с т р а н е н и я м а р к с и с т с к о - л е н и н с к и х и д е й» (подчеркивание наше — Ф.).

Однако, задолго до А. Чивилихина, выполнившего партийный заказ, о «борьбе за чистоту» довольно пессимистически, но одновременно и весьма убедительно, высказался Е. Поливанов («За марксистское языкознание», стр. 164):

«Вообще мне представляется довольно сомнительной борьба с каким-либо языковым (в коллективной языковой психике существующим, разумеется) явлением, имеющим внеязыковую причину, если борьба эта не обращена вместе с тем на искоренение этой причины данного явления».

Несомненно, что пестрота и засоренность языка в первые десятилетия после Революции в какой-то мере обусловливались и теоретическими положениями советского языкознания, возглавлявшегося тогда акад. Н. Марром. Признание классовости языка и рассмотрение местных диалектов как прямых потомков самостоятельных племенных языков способствовали укоренению взгляда на общий язык как на фикцию или, в лучшем случае, как на конгломерат разрозненных классовых, профессиональных и территориальных диалектов.

Хотя акад. Н. Марр уделял очень мало внимания проблемам современного языка, всё же в одном высказывании, посвященном языку советского периода, он уверяет в существовании сдвига «на новую ступень стадиального развития человеческой речи, на путь революционного творчества и созидания нового языка» (Избранные работы, т. II, стр. 375).

Замечание акад. Марра остается только теоретическим домыслом, ибо ни разговорный, ни литературный русский язык при советах не могли структурно так измениться, чтобы уместно было говорить о какой-либо новой стадии. Но если кое-что и изменилось в облике русского языка советского периода, то большевики, избравшие в последнее время курс ура-патриотизма, стали призывать к очищению языка от обычной для революции накипи, лицемерно ссылаясь на традиции классиков.

Как бы конкретным применением этих новых положений в научно-педагогической практике является построение грамматических работ последнего времени почти исключительно на языковом материале, не обладающем сугубо советской спецификой, — в противоположность тому, что наблюдалось раньше.

И. Сталин, принявший активное участие в очевидно им же затеянной дискуссии о языкознании, определил новый взгляд на русский язык как на о б щ е н а ц и о н а л ь н ы й, бывший таким во все времена существования Государства Российского. Вопреки взглядам своего учителя Ленина, Сталин считал язык чуждым классовой дифференциации, а потому, конечно, и вполне приемлемым для социалистического, бесклассового общества.

Желая теоретически обосновать «внеклассовость» и «нейтральность» языка, И. Сталин заявил следующее:

«...язык, как средство общения людей в обществе, одинаково обслуживает все классы общества и проявляет в этом отношении своего рода безразличие к классам. Но люди, отдельные социальные группы, классы далеко не безразличны к

языку. Они стараются использовать язык в своих интересах, навязать ему свой особый лексикон, свои особые термины, свои особые выражения». (П р а в д а, 20 июня 1950).

Вторая половина абзаца (при удивительной непредусмотрительности автора) может быть отнесена к партийно-большевистской терминологии и фразеологии, сковывающим дотоле свободный русский язык.

Объявленный теперь монолитным язык «бесклассового» общества, по сути, оказался не общим языком русского народа, а только механической смесью действительно народного языка, питающегося из неисчерпаемого источника живой воды, собранной по каплям из всех слоев, групп и профессий нации, и жалких политических и агитационных штампов — мертвой воды, вливаемой насильно в язык и отравляющей его.

Засорение языка параллельно сопровождается и обеднением его, а именно, выпадением из речевого и литературного обихода целых лексических рядов, являющихся не только самодовлеющими, но и дающими часто материал для иносказания, образного языка поэзии, сублимирующей в себе язык обыденной прозы. Здесь можно упомянуть почти полное исчезновение таких лексических комплексов, как религиозный, мифологический и многие другие.

Об этом же явлении говорит и С. Ожегов («Основные черты развития русского языка в советскую эпоху», стр. 34):

«...первые годы революции, годы борьбы со свергнутыми классами и укрепления советского строя характеризуются массовым устранением, переходом в пассивный запас лексики, связанной со старым государственным строем и буржуазным бытом. Уходит со сцены старая государственная, судебная, церковная[4], финансовая и т. д. терминология в связи с уничтожением старых учреждений, должностей, чинов, титулов (ср., например, «губернатор», «департамент», «гимназия», «городовой», «экзекутор», «столоначальник», «подать», «акциз» и т. д.). Уходит и многообразная лексика, связанная с общественными и бытовыми отношениями капиталиситческого общества (ср., например, «прошение», «проситель», «господин», «барин», «гувернер», «инородец», «прислуга» и т. д.). Выходят из употребления слова, специфические для буржуазно-дворянского жаргона (ср., например, «мезальянс», «светский», «галантный» и т. д.) или для специфически интеллигентного

[4] По поводу некоторых слов, относимых ведущим лексикологом и другими советскими языковедами в разряд якобы архаизмов, резко высказался Л. Ржевский в своей недавно появившейся статье «О культуре языка в СССР» (Вестник института по изучению истории и культуры СССР, № 11, 1954, стр. 101):

«...В словаре под редакцией Ожегова пометка «устар.» применяется довольно часто по соображениям, ничего общего с лингвистикой не имеющим. Например, — по антирелигиозным: слово п а с т в а, — устарелое. Но церкви в СССР есть, есть и священники, слово живет. В Грамматике (имеется в виду «Грамматика русского языка» Академии наук СССР, 1952) характеристика «устарелое» дана также к слову с с ы л ь н ы й, — как намек на то, что в СССР ссылки не существует».

оборота («не откажите», «благоволите сообщить», «милости прошу»)».

Наряду с исчезновением многих лексических комплексов, относящихся к дореволюционному периоду, наблюдается и переход в рубрику анахронизмов ряда слов, связанных с бытом дореволюционной деревни. Сюда можно отнести такие слова, как «десятина», «полоса», «соха» или, например, выражение «работать миром».

Очень показательна статья, появившаяся в «Комсомольской Правде» от 22 октября 1937 г. под названием «Исчезнувшие понятия». В ней сообщалось, что учащиеся младших классов пяти московских школ были опрошены, как они понимают смысл двадцати восьми слов, употреблявшихся в прошлом. Оказалось, что дети, за исключением одного-двух, и то давших неправильные ответы, не смогли объяснить, что означают слова «дворянин», «надворный советник», «кутузка» и т. д.

Что касается религиозного комплекса, то поскольку этот опрос был проведен до восстановления относительной свободы религии (со времени войны 1941-45 гг.), подавляющему большинству детей нижеприведенные слова были совершенно незнакомы. Так, слова «исповедь», и «мощи» были непонятны всем детям, кроме одного школьника, заявившего, что «мощи — это сушеный поп». В статье приводятся ответы в тех исключительных случаях, когда кто-либо из детей смог ответить на заданный вопрос:

Рай — 1) Это птичник; 2) Там, где тепло, санаторий такой.

Грех — 1) Не знаю. Грек — знаю. 2) Грех — это пугают, чтоб не баловались.

Нечистый дух — Это когда в комнате много грязных дядек и курят.

Крестный ход — Машина скорой помощи, которая возит больных.

Слово «пост» ассоциировалось во всех ответах только с пограничником или милиционером.

Об обеднении русского литературного языка из-за насильственного изгнания из него церковно-славянских элементов находим соответствующие строки у А. Л. Бема («Церковь и русский литературный язык», изд. Русского научно-исследовательского объединения в Праге, 1944, стр. 57):

«Когда в Советской России закрывали церкви и насаждали безбожие, то не думали о том, что, разрушая Церковь, не только подрывают нравственные основы народа, но в корне подрезают тот язык, на котором держатся образованность и культура. Только позже стали задумываться над тем, что наступает заметное обеднение языковой культуры, что беднеет язык и выхолащивается его сердцевина. Из языка стали исчезать слова и обороты, необходимые для выражения более сложных понятий, от чего страдала даже чисто материальная культура, не говоря уже о духовной. В современной советской литературе рассеяно немало примеров языковой беспомощно-

сти русского среднего человека во всех случаях, где ему приходится коснуться тем, выходящих за рамки обыкновенного житейского разговора...

...Насколько далеко пошло это обеднение современного русского разговорного языка, в связи с ослаблением влияния Церкви, видно также из тех примечаний, которыми вынуждены редакторы сопровождать издания памятников нашего недавнего прошлого...»

В свое время советы, опираясь на указания Ленина, утверждали, что в пределах одной национальной культуры существуют две культуры, а отсюда и два языка: буржуазный и пролетарский. Однако, в дискуссии о советском языковедении И. Сталин, в угоду новой генеральной линии, совершенно определенно отказался от формулировки Ленина, заявив, что:

«В литературе нередко эти диалекты (классовые — Ф.) и жаргоны неправильно квалифицируются как языки: «дворянский язык», «буржуазный язык» — в противоположность «пролетарский язык», «крестьянский язык». («Относительно марксизма в языкознании», П р а в д а, 20 июня 1950).

Но при рассмотрени именно советского языка становится совершенно очевидным, что никогда семантическая нагрузка слов и выражений не разнилась так у власть предержащих и народных масс, как это можно наблюдать в советский период. Термины и фразы «социализм», «бдительность», «враг народа», «добровольная подписка на заем», «энтузиазм масс» — полярно-противоположны в официальной и подлинно-народной интерпретации.

Это расхождение между официальным смыслом слов и их общенародным толкованием бросилось в глаза и Дж. Орвеллу, вне сомнения пользовавшемуся русским языком советского периода как прототипом «новоречи»:

«...Ни одно слово в «Б» словаре (т. е. партийно-массовом — Ф.) не было политически нейтральным. Многие из них были эвфемизмами. Такие слова, например, как «радостьлагерь» (концлагерь) или «Минимир» (Министерство Мира, т. е. Министерство Войны) обозначали почти точно противоположное тому, чем они, якобы, являлись». (Перевод наш — Ф., «1984», стр. 309).

Действительно, семантическое раздвоение лексики, ее двуплановость является, быть может, самой характерной особенностью советского языка. «Враг народа» воспринимается широкими массами как «враг режима», мечтающий о благе для народа, «трудовой энтузиазм масс» прикрывает безудержную эксплоатацию человека государством, заставляющего советских граждан надрываться на непосильной работе в холоде и голоде, под страхом репрессий; «советская бдительность» означает страшный террор, когда в застенках НКВД-МВД гибнут бесчисленные, ни в чем не повинные жертвы. Раскрытие подлинного смысла подобных выражений — это противоядие, выработанное народом против одурманивания его лживыми штампами.

Аналогичная судьба — переосмысление народом официальных терминов — постигла и «положительные», с точки зрения властей, слова. Для иллюстрации разрешим себе процитировать небольшой отрывок из статьи В. Александровой «Как изменяется литературный язык» (Новое Русское Слово, 20 мая 1951):

«Любопытна противоречивая репутация в послевоенной жизни маленького прилагательного «правильный». На языке писателей и литературных критиков — «правильная статья», «правильный человек» — означает похвалу. Совсем иначе оценивают это качество рядовые советские люди. Варя, героиня рассказа Б. Бедного «Государственный глаз», после окончания техникума получает работу на лесозащитной станции в качестве учетчицы. Она с жаром принимается за работу, рьяно сражается за соблюдение предписаний старшего механика. Но о ее наставлениях помощник бригадира говорит ей в сердцах: «До того ты правильный человек, что слушать тебя тошно». А другой еще «уточняет»: «Под старость из тебя такая сварливая баба выйдет, каких еще на свете не было». Толкование слова «правильный» в смысле «скучный», «бездушный» — настолько распространено в жизни, что даже критики дрогнули: в их статьях теперь не редкость встретить рассуждение о том, что хотя положительный герой безусловно высказывает «правильные мысли» — сам он скучный человек».

Здесь, по сути, смыкаются две вышеуказанные проблемы русского языка советского периода, а именно: проблема взаимоотношения языка и действительности есть необычное для языкового развития раздвоение семантики слов на официальную и неофициальную, т. е. сосуществование в одном и том же письменно-речевом оформлении намеренно-лживого отображения и правдивого восприятия советской действительности. Именно через необычность разрешения этого вопроса раскрывается и вторая проблема — качественное своеобразие русского языка советского периода.

Сложность момента заключается в том, что фразеологический штамп давно существует в развитых языках, т. е. стилистика языка, его фразеологическая идиоматика заключается не только в образном употреблении как будто не совместимых логически элементов («экзамены на носу», «он не в своей тарелке»), но и в обыкновенной стандартизации синтагм («отрицать явление», но «опровергать мысль, мнение»). В основном — это проблема синонимического подбора.

Этот синонимический подбор, по сути, является «естественным отбором», закономерность которого не всегда может быть прослежена и объяснена. Так как человек еще до сих пор не открыл подлинных пружин языкового развития, то он не в состоянии произвольно менять его структуру.

Классикам, конечно, в какой-то мере удается внести что-то свое в структуру языка, в его лексику и даже фразеологию. Но это индивидуальное творчество, по сути, является только шлифовкой того материала, тех полуфабрикатов, которые неосознанно создаются безымянными творцами, а имя им — легион.

Что же сделали большевики? Они узурпировали и монополизировали право создания фразеологических штампов. В отличие от народной многовековой чеканки слов и выражений, охватывающих всё многообразие человеческой жизни, большевики создали сотни и тысячи бездушных партийно-политических фраз, не руководствуясь и не следуя никаким другим соображениям, кроме одного — соответствия пресловутой «генеральной линии» на данный момент.

Еще задолго до написания этой книги, на пороге тридцатых годов, уже высказывалось мнение, что «нельзя десять лет подряд играть на человеческой психике одним и тем же смычком, — об этом нам конкретно расскажет история любого изживаемого образа или оборота». (Е. Поливанов, За марксистское языкознание, стр. 171)[5].

И, действительно, язык жестоко мстит за насилие над собой, за то, что в него искусственно вводят не народом-языкотворцем созданные слова и фразы, не выношенные в глубинах народного сознания и не являющиеся плотью от плоти его. «Нет в них души» — сказал бы великий русский языковед П. Потебня, нет в них следов неутомимого труда всего народа, добавим мы, следуя проникновенным словам классика русской литературы В. Короленко:

> «Слово — это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это орудие работы: оно должно подымать за собой известную тяжесть. И только потому, сколько оно захватывает и подымает за собой чужого настроения, — мы оцениваем его значение и силу».

Советская речь именно и не обладает этой весомостью, о чем убедительно свидетельствует уже упоминавшийся М. Слободской в своих сатирических стихах (цит. по Новому Русскому Слову, 30 янв. 1951):

Слова пусты — без веса, без нагрузки,
Приходят и уходят налегке —
Оратор говорит хоть и по русски,
Но всё же не на русском языке.
У речи нет ни формы, ни обличья,
Словарь — по пальцам можно перечесть,
Не «нету», а «отсутствует наличье»,
«Фактически имеем», а не «есть».
Он скажет не «сейчас», а «на сегодня»,
Не «двое», а «в количестве до двух»...

В своей очень интересной работе «Живое и мертвое слово» Л. Ржевский, на вопрос перестал ли русский язык быть «великим и могучим», справедливо отвечает:

---

[5] В близком по времени периодическом издании находим аналогичные мысли:

> ...То, что известный автоматизм речи в некоторых условиях есть факт положительный, не дает оснований превращать его во всеобщий закон языка, а самый язык обращать в сумму штампованных, автоматизированных выражений. Как никак, а штамп — болезнь языка, если хотите — камни в его печени».
>
> (М. Г. Принципы рационализации делового языка. Революция и язык, 1931, 1)

«Великим и могучим — нет, не перестал. Не успеет перестать. Будем надеяться, что никогда не перестанет, но он перестал быть свободным. И от этого все качества. Последствия этого катастрофичны». (Г р а н и, № 5, 1949, стр. 63).

Далее автор, не переоценивая засоряющую роль вульгаризмов и даже проявляя к ним излишнюю терпимость, несколько консервативно подходит к оценке многих, мы бы сказали, полезных неологизмов в русском языке советского периода.

Зато нельзя не согласиться с его утверждением, что «...несвободный язык истощается, как река в засуху — вширь и вглубь. Словарь хиреет не только за счет сдачи в архив некоторых словарных рядов, — оскудевают лексико-семантические комплексы, беднеет синонимика языка. Я хочу сказать, что вторым тягчайшим следствием давления на мысль и слово является страшная шаблонизация речи». (Там же, стр. 64-65).

Однако, даже сорокалетняя засуха не может иссушить могучую и полноводную реку русского языка. Пусть обмельчало русло, затянуло его илом, обнажились безобразные коряги, но пройдет благодатный дождь и снова забурлит, заиграет река и унесет далеко, в море забвения, тину и сор, попавший сверху. Да и на дне реки бьют неиссякаемые ключи народной мудрости и сопротивления всему наносному, уродливому, лишающему свободы и русского человека, и русский язык. Пройдут годы, и наш потомок, рассматривая издания этих лет, с недоуменной улыбкой задержится взглядом на каком-нибудь «буйном росте благосостояния трудящихся масс под солнцем сталинской конституции и под мудрым водительством любимого вождя и учителя, лучшего друга рабочих и колхозников...». Русский язык нельзя надолго заставить придерживаться навязанного партией и правительством советского штампа, ибо еще Н. В. Гоголь отметил, что

«...нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырывалось бы из под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово». («Мертвые души»).

Заканчивая наш скромный труд мы хотели бы напомнить читателю прекрасные строки И. А. Бунина:

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь Слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — Речь.

БИБЛИОГРАФИЯ*

1. ИССЛЕДОВАНИЯ

А) НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Абакумов, С. — О сложных словах в русском языке; *Русский язык в школе,* № 3-4, 1946.

Аванесов, Р. — Вопросы современного русского литературного произношения в свете учения И. В. Сталина о языке; Москва, Знание, 1953.

Аванесов, Р. — Очерки русской диалектологии; Москва, Учпедгиз, 1949.

Академия наук СССР. Институт языкознания. — Грамматика русского языка, т. 1 (ред. коллегия: В. Виноградов, Е. Истрина, С. Бархударов); Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1952.

Березний, Т. — Русский язык; Нью-Йорк, 1949.

Боровой, Л. — Новые слова; *Красная Новь,* № 2, 1938; № 4, 1939; №№ 1, 9-10, 1940.

Будагов, Р. — Устойчивые и подвижные элементы в лексике; *Известия АН СССР,* Отд. лит. и языка, т. X, вып. 2, 1951.

Булаховский, Л. — Курс русского литературного языка; Харьков, Рад. школа, 1935.

Верховской, П. — Письменная деловая речь; Москва, 1930.

Виноградов, В. — Великий русский язык; Москва, Гос. изд-во худож. лит-ры, 1945.

Виноградов, В. — Очерки по истории русского литературного языка XVII-XIX вв.; Лейден, 1949.

---

* В «Библиографию» не включены известные авторам работы, с которыми им не удалось ознакомиться. Назовем наиболее значительные из них:

Джананова, М. — Руски литературен език след революцията; *Народна Просвета,* т. III, № 4-5.

Jakobson, R. — Vliv revoluce na ruský jazyk; *Nové Atheneum,* v. III, 1921.

Klein, H. — Die Abkürzungen in der heutigen russischen Sprache (Phil. Diss.); Universität Graz, Seminar für slawische Philologie, 1949.

Никитин, В. — Изменения лексики в советский период; *Ученые записки Рязанского педагогического института,* т. VI, 1948.

Спасский, П. — Словарь советских терминов; Нижний-Новгород, 1924.

Виноградов, В. (ред.) — Современный русский язык. Морфология; Москва, Изд-во Моск. университета, 1952.

Виноградов, В. — Русский язык; Москва, Учпедгиз, 1947.

Виноградов, В. — Язык Пушкина; Academia, 1935.

Виноградов, Н. — Условный язык заключенных Соловецких Лагерей Особого Назначения; *Материалы Соловецкого о-ва краеведения,* вып. XVII, Соловки, 1927.

Винокур, Г. — Культура языка; изд. 2-ое, испр. и доп.; Москва, изд-во «Федерация», 1929.

Винокур, Г. — Маяковский — новатор языка; Москва, Сов. писатель, 1943.

Винокур, Г. — Русский язык (исторический очерк); Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1945.

Галкина-Федорук, Е. — Современный русский язык: лексика. Курс лекций; Изд-во Моск. университета, 1954.

Гвоздев, А. — Очерки по стилистике русского языка; Москва, Изд-во Акад. педагог. наук РСФСР, 1952.

Гладков, Ф. — О культуре речи; *Новый Мир,* № 6, 1953.

Горнфельд, А. — Муки слова; статьи о художественном слове; Москва, Гос. изд-во, 1927.

Горнфельд, А. — Новые словечки и старые слова; речь на Съезде преподавателей русского языка и словесности в Петербурге 5 сент. 1921 г.; Петербург, изд-во «Колос», 1922.

Горький, М. — О литературе; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1935.

Гофман, В. — Язык литературы; Ленинград, Худ. литература, 1936.

Грот, Я. — Нѣсколько разъясненій по поводу замѣчаній о книгѣ «Русское правописаніе»; Изд-во Имп. Акад. Наукъ, 1886.

Грот, Я. — Русское правописаніе; С.-Петербургъ, 1900.

Гус, М., Загорянский, Ю., Коганович, Н. — Язык газеты; Москва, Раб. просвещения, 1926.

Державин, К. — Борьба классов и партий в языке Великой Французской Революции; сб. «Язык и литература», т. II, вып. 1, Ленинград, 1927.

Евгеньева, А. — К вопросу о типе однотомного толкового словаря русского языка советской эпохи; *Вопросы языкознания,* № 3, 1953.

Ефимов, А. — История русского литературного языка; курс лекций; Изд-во Моск. университета, 1954 (лекция «Литературный язык советской эпохи»).

Ефимов, А. — О языке пропагандиста; Моск. рабочий, 1951.

Жирмунский, В. — Национальный язык и социальные диалекты; Ленинград, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1936.

Заболоцкий, Н. — Язык Пушкина и советская поэзия; *Известия,* 25 янв. 1937.

Иванов, Я., Якубинский, Л. — Классовый состав русского языка; *Литературная Учеба,* № 6, 1930.

Истрина, Е. — Нормы русского литературного языка и культура речи; Изд-во Академии наук СССР, 1948.

Карцевский, С. — Язык, война и революция; Берлин, 1923.

Кожин, А. — Некоторые вопросы морфологического словообразования в современном русском литературном языке; *Русский язык в школе,* № 2, 1953.

Кожин, А. — Переносное употребление слова; там же, № 3, 1954.

Кожин, А. — Словосложение в русском языке; там же, № 5, 1953.

Кондаков, Н. (ред.) — Язык газеты; Москва, Гизлегпром, 1943.

Крючков, С. — О спорных вопросах современной русской орфографии; Москва, Учпедгиз, 1952.

Крючков, С. — Спорные написания в современной русской орфографии; *Русский язык в школе,* № 1, 1952.

Менский, Р. — О языке; *Литературный Современник,* Мюнхен, № 2, 1951.

Миртов, А. — Из наблюдений над русским языком в эпоху Великой Отечественной войны; *Вопросы языкознания,* № 4, 1953.

Миртов, А. — Лексические заимствования в русском языке из национальных языков в Средней Азии; Ташкент—Самарканд, 1941.

Немировский, М. — Сложные слова в русском языке; *Русский язык в школе*, № 3-4, 1946.

Обнорский, С. — Культура русского языка; Изд-во Академии наук СССР, 1948.

Обнорский, С. — Правильности и неправильности современного русского литературного языка; *Известия АН СССР*, Отд. лит. и языка, т. III, вып. 6, 1944.

Ожегов, С. — Из истории слов социалистического общества; *Доклады и сообщения Института языкознания АН СССР*, т. I, 1951.

Ожегов, С. — К вопросу об изменениях словарного состава русского языка в советскую эпоху; *Вопросы языкознания*, № 2, 1953.

Ожегов, С. — Основные черты развития русского языка в советскую эпоху; *Известия АН СССР*, Отд. лит. и языка, т. X, вып. 1, 1951.

Орлов, А. — Язык русских писателей; Изд-во Академии наук СССР, 1948.

Орлов, М. — О языке и стиле поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин»; *Русский язык в школе*, № 3, 1954.

Паустовский, К. — Поэзия прозы; *Знамя*, № 9, 1953.

Поливанов, Е. — За марксистское языкознание; изд-во «Федерация», 1931.

Презент, М. — Заметки редактора; Изд-во писателей в Ленинграде, 1933.

Ржевский, Л. — Живое и мертвое слово; *Грани* (Лимбург), № 5, 1949.

Ржевский, Л. — Язык и тоталитаризм; Мюнхен, 1951.

Селищев, А. — Язык революционной эпохи (1917-1926); Москва, 1928.

Солнцев, К. — В преддверии орфографической реформы; *Новый Журнал* (Нью-Йорк), XXII, 1949.

Степанов, Н. — О словаре современной поэзии; *Литературня Учеба*, № 1, 1934.

Стратен, В. — Арго и арготизмы; *Труды комиссии по русскому языку*, т. 1, Изд-во Академии наук СССР, 1931.

Тан, Л. — Запечатленный язык; *Новый Журнал* (Нью-Йорк), XXIII, 1950.

Тимофеева, В. — О новаторстве В. Маяковского в области поэтического языка; Вопросы советской литературы, т. II, Изд-во Академии наук СССР, 1953.

Тонков, В. — Опыт исследования воровского языка; Казань, 1930.

Успенский, Л. — Русский язык после революции; *Slavia*, т. X, 1931.

Федин, К. — Фельетон о языке и критике; *Звезда*, № 9, 1929.

Филин, Ф. — Исследование о лексике русских говоров; *Труды Института языка и мышления*, Ленинград, 1936.

Филин, Ф. — Новое в лексике колхозной деревни; *Литературный Критик*, № 3, 1936.

Черных, П. — Русская диалектология; Москва, Учпедгиз, 1952.

Чивилихин, А. — О языке литературных произведений; *Звезда*, № 11, 1950.

Шапиро, А. — Русское правописание; Москва, Изд-во Академии наук СССР, 1951.

Шор, Р. — О «порче» языка; *Новый Мир*, № 5, 1928.

Щерба, Л. — Литературный язык и пути его развития; *Советская Педагогика*, № 3-4, 1942.

Щерба, Л. — Опыт общей теории лексикографии; *Известия АН СССР*, Отд. лит. и языка, № 3, 1940.

Щерба, Л. — Современный русский литературный язык; *Русский язык в школе*, № 4, 1939.

Щерба, Л. — Транскрипция иностранных слов и собственных имен и фамилий; *Труды комиссии по русскому языку*, т. 1, Изд-во Академии наук СССР, 1931.

Б) НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ

Baecklund, Astrid. — Die univerbierenden Verkürzungen der heutigen russischen Sprache; Uppsala, 1940.

Bahder, Egon von — Die russischen Neuwörter; Osteuropa, Heft 3, 1952.

Frey, Max. — Les transformations du vocabulaire français a l'époque de la révolution (1789-1800); Paris, 1925.

Jespersen, Otto. — Efficiency in Linguistic Change; Det. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, Historisk-filologiske Meddelelser, XXVII, 4, Kobenhavn, 1941.

Jespersen, Otto. — Language, its Nature, Development and Origin; London, 1934.

Lafargue, Paul. — La langue française avant et aprés la Révolution; Paris, 1920.

Matthews, W. K. — The Structure and Development of Russian; Cambridge, 1953 (Chapter XI. The Post-revolutionary Period).

Mazon, André. — Lexique de la guerre et de la révolution en Russie; Paris, 1920.

Mendras, E. — Remarques sur le vocabulaire de la Révolution russe; Paris, Institut d'Etudes Slaves, *Travaux,* II, 1925.

Mequet, G. — Recueil des abréviations usités en russe depuis la Révolution; Genève, 1928.

Paechter, H. — Nazi-deutsch — A Glossary of Contemporary German Usage; New York, 1944.

Unbegaun, B. — A Bibliographical Guide to the Russian Language; Oxford, 1953.

2. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

«*Вопросы языкознания*», орган Института языкознания АН СССР; Москва, т.т. I-III, 1952-54.

«*Известия*», орган ЦИК СССР и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (до 1936 года), позже — Советов депутатов трудящихся СССР; Москва, 1935-54.

«*Известия Академии наук СССР*». Отделение литературы и языка; М.-Л., Изд-во АН СССР, 1940-54.

«*Комсомольская Правда*», 1953-54.

«*Крокодил*», сатирический журнал; Москва, изд. газеты «Правда», 1947-54.

«*Литературная Газета*», орган Правления Союза Советских Писателей СССР; Москва, 1948-54.

«*Новое Русское Слово*», ежедневная газета; Нью-Йорк, 1949-54.

«*Посев*», еженедельник общественной и политической мысли; Лимбург, 1947-50.

«*Правда*», орган Центрального Комитета и МК ВКП(б)*; Москва, 1936-1954.

«*Рефераты научно-исследовательских работ*». Отделение литературы и языка; М.-Л., Изд-во АН СССР, 1945-47.

3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Авдеев, В. — Гурты на дорогах; Сов. писатель, 1948.

Ажаев, В. — Далеко от Москвы; *Новый Мир,* №№ 7, 8, 1948.

---

* с 1953 г.: КПСС.

** Иногда некоторые издательства не дают на титульной странице места издания книги, что обычно бывает в тех случаях, когда издательская деятельность протекает как в Москве, так и в Ленинграде.

Алексеев, М. — Солдаты; Москва, Молодая гвардия, 1953.
Бабаевский, С. — Кавалер Золотой Звезды; Москва, Молодая гвардия, 1947.
Бабель, И. — Одесские рассказы; ГИХЛ, 1931.
Багрицкий, Э. — Избранные произведения; Сов. писатель, 1940.
Бедный, Д. — Собрание сочинений; ГИХЛ, 1932.
Безыменский, А. — Стихи о комсомоле; Молодая гвардия, 1932.
Блок, А. — Стихотворения, т. I; Ленинград, 1931.
Бубеннов, М. — Белая береза; Сов. писатель, 1948.
Вершигора, П. — Люди с чистой совестью; *Роман-газета,* № 11-12, Огиз, 1946.
Вершигора, П. — Люди с чистой совестью; испр. и доп. изд., Сов. писатель, 1951.
Войтоловский, Л. — По следам войны; Изд. писателей в Ленинграде, 1934.
Галин, Б. — В одном населенном пункте; *Новый Мир,* № 11, 1947.
Гладков, Ф. — Цемент; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1941.
Грибачев, Н. — Стихотворения и поэмы; Гос. изд-во худ. лит-ры, 1951.
Гроссман, В. — Годы войны; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1945.
Есенин, С. — Стихотворения; Изд. Моск. т-ва писателей, 1933.
Есенин, С. — Москва кабацкая; Ленинград, 1924.
Зощенко, М. — Уважаемые граждане; Сов. писатель, 1940.
Ильф, И. и Петров, Е. — 12 стульев; Сов. писатель, 1938.
Казакевич, Э. — Весна на Одере; Москва, Сов. писатель, 1950.
Капусто, Ю. — Наташа; Сов. писатель, 1948.
Катаев, В. — Время, вперед! Москва, Федерация, 1932.
Кочетов, В. — Под небом родины; *Звезда,* №№ 10, 11, 1950.
Крымов, Ю. — Танкер «Дербент»; Москва, Профиздат, 1947.
Ленч, Л. — Дорогие гости; Москва, Сов. писатель, 1954.
Леонов, Л. — Избранное; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1946.
Либединский, Ю. — Неделя; Москва, Молодая гвардия, 1932.
Лидин, В. — Изгнание; Советский писатель, 1947.
Макаренко, А. — Педагогическая поэма: ГИХЛ, 1938.
Максимов, С. — Тайга; Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952.
Марголин, Ю. — Путешествие в страну зэ-ка; Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1952.
Маяковский, В. — Избранные произведения; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931.
Некрасов, В. — В окопах Сталинграда; Москва, Воен. изд-во, 1947.
Некрасов, В. — В родном городе; *Новый Мир,* №№ 10, 11, 1954.
Павленко, П. — Счастье; Москва, Воен. изд-во, 1948.
Панова, В. — Времена года; Ленинград, Советский писатель, 1954.
Панова, В. — Кружилиха; Советский писатель, 1948.
Панова, В. — Спутники; Московский рабочий, 1946.
Панова, В. — Ясный берег; Ленинград, Молодая гвардия, 1950.
Пастернак, Б. — Стихотворения; Москва, Художественная литература, 1935.
Полевой, Б. — Повесть о настоящем человеке; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1952.
Розанов, М. — Завоеватели белых пятен; Лимбург, *Посев,* 1951.
Русская советская поэзия; сборник стихов. Сост. и ред. Л. Белов, В. Перцов, А. Сурков; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1948.
Рыбаков, А. — Водители; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1952.
Сельвинский, И. — Избранные стихи; ГИХЛ, 1934.
Сельвинский, И. — Улялаевщина; Москва, изд-во «Круг», 1927.

Серафимович, А. — Железный поток; Москва, Художественная литература, 1935.

Симонов, К. — Дым отечества; *Новый Мир*, № 11, 1947.

Симонов, К. — Избранное; Сов. писатель, 1948.

Смирнов, С. — В боях за Будапешт; Москва, Воен. изд-во, 1947.

Соловьев, М. — Записки советского военного корреспондента; Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1954.

Твардовский, А. — Василий Тёркин; Москва, Сов. писатель, 1946.

Тихонов, Н. — Стихи и проза; Москва, Гос. изд-во худ. лит-ры, 1947.

Трифонов, Ю. — Студенты; Молодая гвардия, 1951.

Уткин, И. — Стихи; Библ. «Огонька», 1939.

Фадеев, А. — Молодая гвардия; Молодая гвардия, 1946.

Фадеев, А. — Разгром; Молодая гвардия, 1937.

Фронтовой фольклор (сборник); Гослитмузей, 1944.

Шолохов, М. — Поднятая целина; ГИХЛ, 1937.

Эренбург, И. — Буря; Советский писатель, 1948.

Эренбург, И. — Оттепель; *Знамя*, № 5, 1954.

4. СЛОВАРИ

Блаттнер, К. — Карманный словарь русского и немецкого языков, ч. 1; Берлин, Изд. Лангеншейдта, 1943.

Большая Советская Энциклопедия, тт. 1-65; Москва, «Советская Энциклопедия», 1926-47. Дополнительный том «Союз Советских Социалистических Республик», 1947.
То же. Изд. 2-е, тт. 1—, 1950—.

Головков, Д. — Справочный словарь русскаго языка; Одесса, 1913.

Даль, В. — Толковый словарь живаго великорусскаго языка; С.-Петербургъ, Изд. М. О. Вольфъ, 1912-14.

Капельзон, Т. (ред.) — Словарь иностранных слов; Москва, ГИС, 1933.

Краткая Советская Энциклопедия; Москва, ГИСЭ, 1948.

Лехин, И., Петров Ф. (ред.) — Краткий словарь иностранных слов; Москва, ОГИЗ, 1947, 6-ое испр. и доп. изд.; Москва, ГИС, 1951.

Лехин, И., Петров, Ф. (ред.) — Словарь иностранных слов; Москва, ГИС, 1949.

Малая Советская Энциклопедия; Москва, «Сов. Энциклопедия», 1928-31.

Мюллер, В. — Русско-английский словарь, изд. 3-ье; Нью-Йорк, 1945.

Несслер, А. — Русско-немецкий словарь; Москва, 1933.

Овсянников, В. — Литературная речь (толковый словарь современной общелитературной фразеологии); Москва, ОГИЗ, 1933.

Ожегов, С. — Словарь русского языка; Москва, ОГИЗ, 1949.
То-же. Изд. 2-ое, испр. и доп.; Москва, Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1952.

Серокузов, Н. (изд.) — Словарь вошедших в обиход сокращенных названий; Владивосток, 1924.

Словарь современного русского литературного языка, т. I; изд. АН СССР, 1948.

Сокращенные наименования советских учреждений, предприятий и прочие, вошедшие в обиход в РСФСР; Берлин, «Книга», 1923.

Ушаков, Д. (ред.) — Толковый словарь русского языка; Москва, ОГИЗ, 1935-40.

Чудинов, А. (ред.) — Словарь иностранныхъ словъ; С.-Петербургъ, 1894.

Чудинов, А. (ред.) — Справочный словарь, орфографическій, этимологическій и толковый, русскаго литературнаго языка; С.-Петербургъ, 1899-1901.

Bahder, E. — Русские сокращения; Leipzig, 1943.

Patrick, George Z. — A List of Abbreviations Commonly Used in the USSR; New York, 1937.

Rosenberg, Alexander — Russian Abbreviations; A Selective List; Washington, The Library of Congress, 1952.

Svesnikov, A., Hoch, A. — Slovníček sovětskych zkratek; Praha, "Orbis", 1948.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Лучанский, М. — «Щепки»; *Комсомолия,* № 11, 1926.

Сосновский, Л. — «Развенчайте хулиганство»; О писательской этике, литературном хулиганстве и богеме; сборник статей (ред. А. Жаров); Ленинград, Прибой.

СССР — Административно-территориальное деление союзных республик на 1 января 1947 г.; изд. 5-е, доп.; Москва, *Известия сов. деп. труд. СССР,* 1947.

Терской, А. — Этнографическая фильма (глава «Народности СССР»), 1939.

Orwell, George — Nineteen eighty-four (Appendix — The Principles of Newspeak); New York, Harcourt, Brace and Co., 1949.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Глава I. — ВВЕДЕНИЕ

Трудности систематизации материала. Скудность литературы по данному вопросу. Опасность разработки темы в условиях советского режима и несоответствие ее методологическим установкам, господствовавшей до последнего времени школы акад. Н. Марра. Возрождение в СССР интереса к изучению русского языка, но отсутствие работ, затрагивающих непосредственно проблематику советизмов. Принципы построения данной работы 7

Глава II — ПРЕДВЕСТНИКИ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА

Датские лингвисты о факторах изменения языка: смена религии, иноземные завоевания, длительные народные бедствия — причины общих сдвигов в языке. Революция — фактор изменения лексики. Попытки исследования языковых изменений, произошедших в эпоху Великой Французской революции. Синтезирующий труд Макса Фрея. Проникновение в печать революционного времени «бранной» лексики. Конструирование новых слов с употреблением старых морфологических элементов в новых комбинациях. Доосмысление старых слов. Сложение слов. Имена нарицательные как производные от имен собственных. Борьба отдельных слов за свое существование. Абревиация — новый фактор формирования современного революционного языка. Наличие абревиатур в мирной деловой жизни Запада и, в незначительной степени, дореволюционной России. Партийный жаргон и военные сокращения — прямые предвестники советского языка 15

Глава III. — НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Чуждость для народа языка большевистской прессы, изобилующего варваризмами. Бюрократизация советского языка. Политизация языка и наводнение его абревиатурами. Фразеологические штампы. Культ Сталина. Гигантомания. Комическое преломление политических штампов в народной речи.

Низкий культурный уровень как предпосылка к частым искажениям нормативного языка. Смешное от безграмотности. Словесные юморески, санкционированные советами. Сатирическая расшифровка советизмов и неофициально-бытующие слова, рожденные народом и направленные против советов.

Раскрытие специфики советского режима через лексику: примеры из области торговли и сельского хозяйства; лексика, связанная с областью террора. Эвфемизмы, употребляемые в различных областях советской жизни. Лексика из области народного образования, спорта и медицины. Производственная лексика

Стр.

и производственная фразеология. Соотношение «положительной» и «отрицательной» фразеологии. Повышение удельного веса техницизмов в общем языке и метафорическое использование их.

Наплыв диалектизмов, преимущественно территориальных, в советской литературе раннего послереволюционного периода. Использование диалектизмов классиками. Ослабление локально-диалектальных влияний в общем языке и усиление профессионально-диалектальных. Засилие узких профессионализмов, как чисто пропагандное явление. Диалектизмы как «внутренние» и варваризмы как «внешние» заимствования. Соединение русских элементов с иностранными в технических терминах. Призывы к очищению русского языка 22

Глава IV. — ЭТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ МОМЕНТЫ В СОВЕТСКОМ ЯЗЫКЕ

Тяготение к абревиатуре в географических наименованиях послереволюционного периода. Приближение этно-географических названий к их местному звучанию. Переименование городов с приданием им местно-национального характера. Изменение названий некоторых народностей Советского Союза (введение «самоназваний»). Наименование новых городов и промышленных строек. Введение элементов революционной лексики в новые названия городов. Переименование городов в честь большевистских вождей; повторные переименования как результат «развенчания» многих из них. Немногочисленные переименования в честь героев-летчиков, ученых и писателей. Возвращение к историческим названиям как следствие новых националистических тенденций большевиков. Руссификация названий аннектированных городов, равно как и собственных населенных пунктов, носивших иностранные наименования 67

Глава V. — «БЛАТНЫЕ» ЭЛЕМЕНТЫ СОВЕТСКОГО ЯЗЫКА

Засорение «сверху» — бюрократизация языка, засорение «снизу» — проникновение в язык элементов «блата». Роль беспризорных в насаждении в общем языке «блатных» словечек. Роль «бранной» лексики — легализация ее в прессе и художественной литературе. Хулиганство среди молодежи как дополнительный фактор утверждения вульгарно-блатной речи. Увлечение литераторов (в период НЭП'а) темами из жизни преступного мира и его языком. Вульгарно-блатные словечки как доосмысления общих слов, и синонимика самих арготизмов. Обеднение речи обывателя и наводнение ее якобы экспрессивными, а по сути вульгарными штампами. Элемент комического в употреблении арготизмов. «Полублат» как система иносказаний в условиях советского режима. Популярность арго как наиболее универсального жаргона, метафорически использующего общеязыковую лексику. Изживание большевиками «блата» в темах, обслуживающих область внутренней политики, и использование его для ошельмования Запада 77

Глава VI. — ЯЗЫК СОВЕТСКОЙ ПОЭЗИИ

Резкая грань между языком до- и послереволюционной поэзии. Совмещение лиризма и вульгарности у некоторых поэтов. Брань в поэзии Маяковского и, особенно, кощунственных стихах Д. Бедного. Увлечение советских поэтов просторечиями. Политизация и «технизация» поэзии — обилие в ней советизмов (абревиатур) и технических терминов, частое сведение ее

к версифицированной публицистике. Снижение поэтической образности и незначительность языкового новаторства советских поэтов 99

Глава VII. — ЯЗЫК ВОЙНЫ И ПОСЛЕВОЕННОГО ПЕРИОДА

Возрождение архаизмов и церковно-славянизмов. Возвращение к жизни слов «Россия», «Русь», «русский», а параллельно и презрительной клички «хохол». Смысловые неологизмы. Неологизмы — абревиатуры. Богатство авиационной лексики и ее локализмов. Расширение полисемии слов. «Фауна» фронта. Юмор в лексике военного времени. Отечественное вооружение, «ленд-лиз» союзников и вооружение врага — источники лексического пополнения. Германизмы, связанные с оккупацией. Бедность военной фразеологии. Общность принципов фронтового словотворчества Первой и Второй мировых войн. «Военизированная» фразеология как постоянный элемент пропаганды. Отображение военной страды как ипостаси труда в языке войны, и «военизированная» лексика послевоенного труда. Немногочисленность варваризмов послевоенного периода. Насильственная руссификация терминологии. Фальсификация происхождения иностранных слов. Обширная фразеология, связанная с ошельмованием космополитизма. Нападки на неологизмы, не имеющие политического характера. Критика взглядов акад. Н. Марра, призывавшего к коренной ломке русского языка. «Сталинская» дискуссия о советском языкознании, как подведение теоретической базы под новые практические задания большевиков. Отказ от «классовости» языка и равнение на классиков. Признание постепенности развития языка. Констатация Сталиным лексико-семантических сдвигов и стабильности основной структуры русского языка со времен Пушкина 115

Глава VIII. — ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ГРАММАТИЧЕСКИЕ, ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ И ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Значение орфографической реформы и ее характер. Проблема правописания «е» - «э», «и» - «ы», «ё» - «о». Выпадение одной из удвоенных согласных в словах иностранного происхождения. Новые флексии в просторечии и одновременное перемещение ударения.

Эмансипация женщины, отраженная в родовом окончании. Множественность имен существительных абстрактных. «Орусачивание» флексий в именах существительных среднего рода иностранного происхождения. Усиленная номинализация имен прилагательных, иногда же причастий и порядковых числительных. Обилие составных прилагательных. Вытеснение кратких форм прилагательных полными формами. Упрощение имен числительных и их производных.

Абревиатура и ее виды (слоговая, инициальная, комбинированная). Превращение некоторых слогов-сокращений в постоянные форманты, на подобие приставок с потерей непосредственной связи с сокращенным словом. Немногочисленность производных от абревиатур. Сокращение имен собственных. Совпадения абревиатур в названиях учреждений и организаций с уже существовавшими раньше именами нарицательными. Абревиатуры как зашифровки фраз антисоветского содержания. Громоздкость и уродливость некоторых абревиатур. Флективность алфавитно-слоговых абревиатур. Согласование инициальных абревиатур в роде и числе с глаголами и прилагательными по основ-

ному компоненту. Мужской род как основной род. Синтаксические абревиатуры — эллипсисы.

Продуктивность суффиксов *-к, -ик, -щин* и охват суффиксами *-ец, -ист* производных от имен собственных, связанных с различными областями советской жизни. Тенденция к сочетанию русских основ с западно-европейскими. Специфичность форманта *-аж*. Модификация глаголов в новых агглютинациях с приставками. Приобретение и потеря возвратной формы некоторыми глаголами и образование ими соответствующих существительных. Доосмысление отглагольных существительных, отображающих действие, понятиями, подчеркивающими их субстантивность. Приобретение и утрата глаголами возвратности, равно как и переходности.

Незначительность синтаксических изменений. Отрицание И. Сталиным коренных изменений в языке, как результата революции. Отяжеление синтагм путем расщепления частей речи. Плеоназмы. Категорные сдвиги частей речи и влияние их на смысл предложения. Распространение причастных и деепричастных оборотов . . . . . .
Интенсификация полисемии при советах. Фонетические сдвиги . 149

Глава IX. — ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Взаимоотношение русского языка и советской действительности в свете лингвистических теорий; совмещение общеязыковых, национальных и советских его черт в данное время. Абревиация и тенденция к простым распространенным предложениям. Вульгаризация языка; попытки его очищения как результат нового курса в политике советов. Отказ от теории «классовости» языка. Неизживаемость политических штампов в пределах советской системы. Уход из языка ряда лексических комплексов. Двойственность семантики при советах — противоположность официального и народного толкований слов и выражений. Потеря русским языком свободы развития; недолговечность этого состояния 197

БИБЛИОГРАФИЯ 211

АНДРЕЙ И ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО

От первой встречи в Варшаве
до второй в Вашингтоне
— в ожидании многих
грядущих дружеских встреч
от авторов
Вашингтон, 26 февр. 1976

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИ СОВЕТАХ

НЬЮ-ЙОРК

1955

АНДРЕЙ И ТАТЬЯНА ФЕСЕНКО

РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИ СОВЕТАХ

НЬЮ-ЙОРК
1955

Цена: $3.00